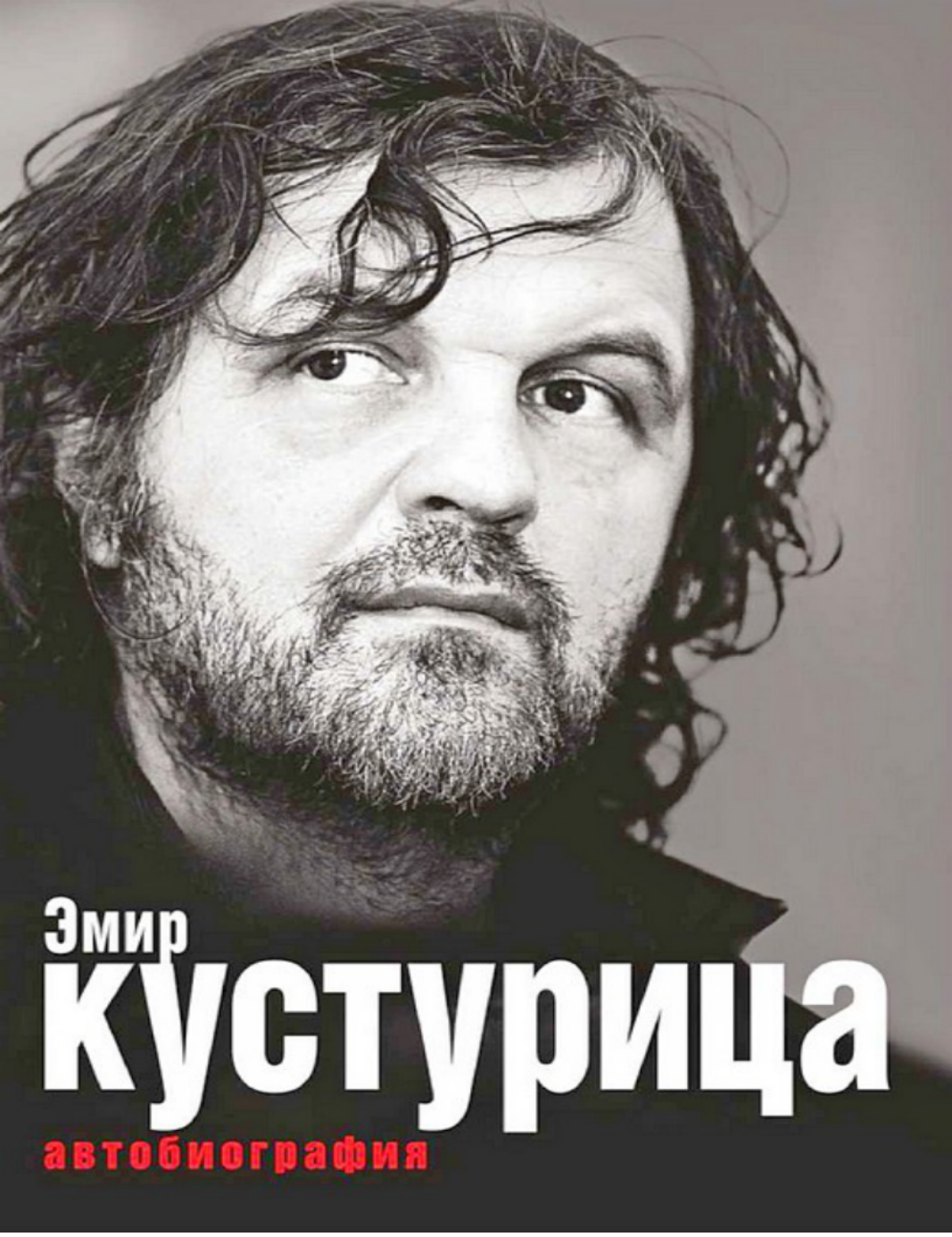
Эмир
кустурица
автобиография

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиография Эмира Кустурицы — это откровенный и колоритный рассказ режиссера о самом себе.

Кустурица словно пишет сценарий для фильма, в котором сам играет главную роль. Вот история о «Титанике», который был спасен ценой сломанной руки. Вот рассказ о первой встрече с женщиной. А вот — единственная фраза, которую он должен был сказать, получив первую крошечную роль в кино. А еще история о том, как будущий режиссер Кустурица несколько раз пытался посмотреть знаменитый «Амаркорд» Феллини и, к стыду своему, каждый раз засыпал на первых кадрах. Рассказ о дружбе с Джонни Деппом, о своих фильмах и рок-группе, о войне, навсегда изменившей родное Сараево, о друзьях и случайных знакомых, о жизни и смерти, о ненависти и любви…

Автобиография Эмира Кустурицы — книга о том, что до сих пор всегда оставалось за кадром.

- Эмир Кустурица
- Земля и слезы
- Как я впервые не увидел Тито
- Смерть — это непроверенный слух
- То, что наверху, — внизу. То, что внизу, — наверху
- Мышь делает круг почета
- Моя жизнь
- Ломоносовоговно!
- Спасибо тебе, Федерико
- Покойный был большим противником алкоголя
- Не бывает фильма без мрака
- Сладкие грезы
- До свидания, любимая страна
- Мое место в этой истории
- Tennis elbow[95]
- Заметки об «Андерграунде»
- Сын отца Диониса
- На чьей ты стороне, сынок?
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50

- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94

- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111

Эмир Кустурица
Автобиография

Человек склонен все забывать, и человеческий род со временем превратил это умение в настоящее искусство. Если бы волшебное забвение не приглушало мысли, томящиеся в плену страстей, позволяя рассудку привести их в надлежащий порядок, наш мозг представлял бы собой обычный контейнер. Разве без умения забывать мы могли бы достойно встретить завтрашний день? Что стало бы с нами, если бы нашей душе пришлось непрерывно переживать страдания, если бы забвение не скрывало трагедии нашей жизни подобно тому, как туча скрывает солнце? Выжить было бы невозможно. То же самое с острой радостью. Если бы забвение не усыпляло ее, она бы в итоге свела нас с ума. Умение забывать смягчает боль от потерянной любви. Когда наш соперник дает нам оплеуху на перемене в школьном дворе и таким образом завоевывает симпатию девочки, в которую мы оба влюблены, лишь забвение может вылечить нас от безвозвратной любовной утраты. Рана зарубцовывается подобно тому, как со временем на фотографии стирается глянец.

* * *

Как человек воспринимает масштабные кризисы истории? Как он их переживает? И до них, и после балом правит забвение. Наблюдая, как быстро народу удается забыть причины великих исторических потрясений и с какой легкостью он принимает на веру разработанную позже версию, я был вынужден исключить забвение из естественных человеческих свойств. После боснийской войны все дружно принялись превозносить религиозных националистов, словно они были главными защитниками многонациональной Боснии, тем самым потворствуя военным и стратегическим целям великих держав, тогда как жертвы всех конфликтующих сторон были признаны ничтожными, за исключением тех, что служили этим самым целям. И тогда я пришел к следующему выводу: забвение — это вентиль, открыв который сливают неудобные мысли о прошлом, а также о будущем. Так было всегда, поскольку в основных составляющих человеческой жизни мало что меняется.

* * *

После бедствий, принесенных балканскими войнами, после бомбардировок Сербии я тоже стал учиться забывать или, по крайней мере, подавлять мысли, не дававшие мне покоя. Я как раз только начал упражняться в этом нелегком умении, когда мне нанес визит один кинокритик, который в 1990-е годы делал погоду в Голливуде. Он внезапно напомнил мне, что причиной забвения может быть простая неосведомленность. Когда Джонатан во время кинофестиваля в Кустендорфе включил телевизор, чтобы посмотреть русскую программу на английском языке, он испытал глубокое потрясение. В это время показывали документальный фильм, посвященный очередной годовщине победы над фашизмом. Взволнованный Джонатан пришел ко мне и сказал:

— Я всегда был уверен, что это мы, американцы, освободили Европу от фашизма. Но судя по тому, что я увидел по телевидению русских, без них не было бы никакого освобождения?

— Да уж, русские немного потеряли в этой войне с нацизмом, всего каких-то двадцать пять миллионов человеческих жизней. Сущая безделица!

Фальшиво-непринужденным тоном я пытался донести до своего друга историческую правду, избегая при этом подливать масла в огонь.

Я опасался, как бы мой высокий гость не оскорбился, решив, что я потешаюсь над его невежеством. Было очевидно, что эти пробелы являются следствием дезинформации, но, поскольку он уже привык жить с таким представлением, исправлять что-либо было бессмысленно. Если он попытается выбраться из этой пропасти, то может начать сомневаться во всем подряд, возможно, даже в подлинности кока-колы, гамбургеров и Голливуда.

— Забудь правду, которую ты только что услышал. Если ты примешь этот факт, тебе придется отправить в починку все твои мысли и знания, а это — прямая дорога к умственному расстройству. Продолжай жить с идеями, к которым привык, — дружески посоветовал ему я.

Он посмотрел на меня с непонимающим видом, но широко улыбнулся и кивнул.

* * *

Все-таки хорошо, что я пишу эту книгу, поразмыслив, подумал я. По крайней мере, останется документальное подтверждение моей жизни. А то может произойти как у русских с их борьбой с фашизмом: в будущем кто-нибудь станет говорить обо мне как о булочнике или каком-нибудь токаре.

* * *

Мой голливудский друг направил мои размышления о вечном характере забвения в более глубокое русло. Я удивился, как, к примеру, раньше мы не замечали, что наш каймак[1] — это творение времени, поскольку плесень существовала задолго до каймака. В нашем желании пролить свет на эту тайну важно понять, почему войны обычно происходят после крупных кризисов и почему люди делают важные открытия лишь после таких страшных потрясений. Почему антибиотик не использовали до Второй мировой войны? Ведь он тоже скрывался в плесени. Сокровенная формула оставалась пленницей забвения. Память, прихожая забвения, не открыла свои двери, чтобы пропустить таинственный состав по своим лабиринтам и предоставить его в распоряжение рассудку.

* * *

Кризисы и войны изменились, и со временем умение забывать стало формой утешения. Иначе как бы человек смог свыкнуться с порочными идеями современного мира? Как он смог бы, к примеру, согласиться участвовать в войне во имя гуманизма? Когда вы принадлежите к маленькому народу, который отказывается покорно следовать идеям великих держав и в самый разгар передела мира настойчиво задается вопросом «Где наше место в этой истории?», великие державы забрасывают вас бомбами, которые называют «ангелами милосердия»[2]. После подобных событий забвение играет решающую роль в процессе адаптации. Чем быстрее вы забудете нанесенные травмы, чем быстрее заново сформулируете злополучный вопрос в первом лице единственного числа: «Где мое место в этой истории?», тем скорее вы сможете двигаться дальше. То же самое в личной жизни: чем быстрее ты забудешь оплеуху, полученную на перемене, тем скорее сможешь заново влюбиться. Но в забвении все же содержится некая доля памяти, существенная составная часть, на которую опирается история. И не только в случае со

сломанным в драке носом.

* * *

Когда я был тинейджером, подростки с больших площадей Нью-Йорка, Лондона и Парижа стояли в очереди, чтобы купить новые диски «Битлз», Брюса Спрингстина, Боба Дилана. В наши дни молодежь выстраивается в очередь за *iPhone 4*. В этой ситуации тоже приходит на помощь забвение. Дилана засовывают в дальний ящик и со спокойной душой живут в мире, где вещи, ставшие центром притяжения, заменили наших любимых героев, воспевавших любовь и свободу и боровшихся с несправедливостью. То же самое забвение заставляет нас принять элементарные принципы научных знаний, которые в итоге похоронят нашу древнюю культуру в подвалах музеев. Разумеется, изобретатели *iPhone* не предполагали, что их игрушка подтолкнет людей к забвению, но случилось именно так. И в залах ожидания, где царствует это забвение, всегда найдется свободное место, куда можно задвинуть героев, унесенных временем.

* * *

Я отношусь к тем, кто считает забвение фактором выживания, но я отказываюсь следовать сегодняшним тенденциям. В наши дни толпы людей похожи на кур с птицефабрики, память которых ограничивается последним приемом пищи. Забвение даже использовали для того, чтобы разработать теорию конца света, которая захлестнула мир в девяностых годах прошлого века. Проповедники либерального капитализма предложили нам отречься от нашей культуры и нашей личности, чтобы броситься в водоворот технологической революции, призванной направить наши судьбы в строго определенное русло и регулировать наши жизненные процессы. Это высокомерное заявление разбудило во мне желание возобновить мои связи с памятью, а также свести счеты с забвением.

* * *

Я хочу написать книгу и навести порядок в моих мозговых извилинах, по которым бродит множество воспоминаний. С

помощью ангелов-писарей, научивших меня думать и говорить, я хочу извлечь из этого нагромождения мыслей то, что может исчезнуть навсегда, как солнце за тучами. Будет неправильно, если все, что когда-то волновало мою душу, станет недоступным после моего ухода в вечность, в то время как кто-нибудь из моих любопытных потомков будет пытаться установить со мной связь, чтобы раскрыть важную тайну своего происхождения.

* * *

Я хочу избежать любых недоразумений. А также избежать судьбы телефонного абонента, которому тщетно пытаются дозвониться родственники и друзья, не зная, что его больше нет в мире живых, и после бессчетного количества звонков слышат в трубке лишь женский голос, равнодушно повторяющий: «Вызываемый абонент временно недоступен».

Земля и слезы

В 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос, а я отправился в школу. Полет первого человека в космическое пространство готовился заранее, за Гагариным стояла целая команда экспертов. Подготовка моего похода в школу легла на плечи моей матери, поскольку отец уехал по делам в Белград. Моя мать Сенка зажгла плиту, нагрела воды и посадила меня в таз. Пока она терла мне спину кухонным куском мыла, я услышал, как она плачет.

— Почему ты плачешь, Сенка? Это же мне идти завтра в школу, а не тебе.

— Я не плачу, сынок, — ответила она, вытирая слезы, — но я расстроена. С завтрашнего дня начинается новая жизнь.

Я не понимал, почему мать плачет, но по поводу новой жизни ситуация прояснилась на следующее утро.

* * *

Я шел к школе, не сводя глаз с каменных ступенек[3], которые, казалось, плавали в воде. Это напоминало интермеццо сараевского телевидения в постановке Жана Берана на музыку Комадины. Я больше ощущал себя аквалангистом, чем ребенком, идущим в первый раз в школу. Я знал, что выгляжу смешно. Слишком длинные рукава моей блузы из черного сатина не давали мне покоя. Я безуспешно пытался подвернуть их, но скользкая ткань упорно возвращала их в исходное положение. Несмотря на то что здание школы располагалось всего в трехстах метрах от нашей полуторакомнатной квартиры, путь занял целую вечность. Я подумал, что Гагарин, наверное, долетел до космоса быстрее, чем я добрался до начальной школы «Хасан Кикич».

* * *

Мы ждали во дворе начала нашего первого урока, когда какой-то большеголовый парень с рыжими волосами предупредил новых учеников об опасности нападения местных хулиганов. Он прославился тем, что остался на третий год в девятом классе. Его дальнейшее продвижение застопорило слово «разница». Когда учитель задал ему вопрос «Какая разница между курицей и коровой?», он ответил: «Я знаю, что такое курица и что такое корова, но не знаю, что такое, разница».

Стремление этого тупицы защитить учеников мне понравилось, но я никак не мог понять, почему мы должны были отдавать ему за это наш полдник.

Рыжий протянул руку, ожидая, что я положу в нее деньги, предназначенные для покупки рогалика.

— Эй ты, здоровенная башка! Ты что, идиот?

— Кто — я? — спросил я, действительно чувствуя себя идиотом.

— Видели его башку? Понадобятся все летние каникулы, чтобы ее обойти!

Все ученики засмеялись. Тогда я толкнул рыжего в кучу извести, которую рабочие приготовили для ремонта фасада школы, и бросился внутрь здания. Дрожа от страха, что в любую минуту рядом может возникнуть его большая голова, я не знал, куда податься, когда услышал голос девочки, и мой ужас тут же превратился в легкое опасение. И все стало напоминать волшебную сказку.

— Мой папа — полковник военной контрразведки Югославии.

От своего отца я знал, что такое разведка, мне также было известно значение слова «военный», но я не понимал смысла «контрразведки». Я был идиотом, как тот маленький тиран, жертвой которого мог стать с минуты на минуту.

— Мой отец присматривал за собакой Тито[4], до того как его перевели в Сараево.

— А сколько у Тито собак?

— Не знаю, папа никогда не рассказывает о своей работе. Сегодня он будет ждать меня возле школы. Я видела, что случилось, ты в опасности. Если хочешь, можешь пойти домой вместе с нами.

* * *

Меня наполнило новое чувство, похожее на то, что я ощутил утром, когда мать включила свет, чтобы разбудить меня. Мне еще хотелось спать, но я сумел превратить свой сонный взгляд в улыбающийся. Я очень быстро понял, насколько важно уметь правильно просыпаться. Я имею в виду, что лучше все же просыпаться, чем не просыпаться вовсе. И эта Снежана была похожа на мое утреннее пробуждение. Ощущение, которое вызывало во мне ее присутствие, было гораздо сильнее, чем страх снова увидеть рыжего.

* * *

Когда я стоял в очереди за рогаликами, ученики сзади меня выражали свое недовольство. Они шипели от нетерпения, но я слышал лишь, как бьется мое сердце. Я видел перед собой два темных глаза и длинные светлые волосы. У Снежаны были такие же золотистые волосы, как у ее матери-словенки, которая быстро передвигалась по извилистым улочкам квартала Горица. Именно она являлась объектом вдохновения для старших ребят в их любовных теориях.

— Женщины, которые быстро ходят, в постели лучше, чем медлительные!

— Полная чушь: женщины, неторопливые в жизни, в постели гораздо шустрее!

— Как будто скорость — это главное! Качество, техника — вот что важно, братишка! — отрезал третий выразитель мнения лоботрясов Горицы.

Споры раскалялись донельзя, и часто оппонентам по вопросам секса с трудом удавалось избежать драки. Я понял, что правоту той или иной теории доказать практически невозможно. Мне было невдомек, почему кто-то должен быть шустрым в постели и неторопливым на улице или наоборот. В воображении возникал тигр, медленно подкрадывающийся к своей жертве, чтобы сначала оглушить ее лапой, а потом сожрать. Но в данном случае речь шла не о еде. Казалось, я принял сторону тех, кто предпочитает медленную походку вне постели. Но это было не так.

Слово «секс» звучало как название бисквита «кекс», его было легко запомнить, но смысл от меня ускользал. Ребята пускали слюни, глядя на мать Снежаны, и свистели ей вслед, но боялись ее мужа. Когда этот черногорский офицер двухметрового роста возвращался с работы, хулиганы растворялись в пространстве, спрятавшись в подъездах домов. Казалось, он сошел прямо с экрана, из телевизионных новостей, где проводил смотр полка, ожидая с минуты на минуту прибытия в аэропорт товарища Тито. Когда я смотрел, как он прокладывает себе путь среди простыней, висящих на веревках между нашим домом и акацией в глубине двора, мне казалось, что стоит ему чихнуть — и все листья разом упадут с деревьев и преждевременно наступит осень. Настолько папа Снежаны был сильным.

* * *

Постепенно мои походы из дома в школу стали более быстрыми, чем полет Гагарина в космос. Я стрелой взлетал по склону вверх и от нетерпения отбивал чечетку, ожидая звука колокола, предвещающего появление Снежаны. Мое представление о времени носило неустойчивый характер: дорогу к школе можно было сравнить со скоростью Гагарина, но возвращение домой больше походило на замедленную съемку. Отец Снежаны держал меня за руку. Его брови напоминали жестяные навесы на фасадах бедных домов квартала Горица. Чтобы скрыть свою робость, я отмеривал наш путь по улицам, считая свои шаги. Таким способом мне удавалось не встречаться взглядом с отцом Снежаны. Когда я поднимал голову, мне казалось, что он разговаривает со мной с крыши небоскреба *JAT*[5] на улице Васе Мискина, настолько он был высоким.

— Никто не имеет права обижать тебя, малыш! — говорил он мне, а я молча улыбался, мечтая о том, чтобы дорога домой заняла больше времени, чем полет Гагарина.

* * *

Снежана училась в 1«Д», на третьем этаже, так что я мог видеть ее только на большой перемене. В маленьких перерывах учительница не выпускала нас в коридор. Я компенсировал отсутствие Снежаны долгими мечтами по ночам, когда мне не удавалось заснуть, и при одной мысли о ней мое сердце начинало биться быстрее.

* * *

Моя мать, обеспокоенная тем, что учеба не вызывает во мне никакого интереса, регулярно отправлялась на родительские собрания. Чтобы ей не было стыдно перед другими матерями, учительница оставляла беседу с ней на самый конец.

— Я не знаю, что вам сказать, товарищ Сенка, — говорила Ремац Славица. — Если бы он был идиотом, мне было бы легче. Но в данном случае нужно как-то пробудить его интерес.

— Я тоже не знаю, что делать. Одной мне не справиться. А его отец слишком импульсивен, чтобы я ему об этом говорила. Он испортил себе нервы у партизан. Лучше мне молчать.

* * *

Иногда отец продлевал свои деловые поездки и возвращался домой позже, чем было предусмотрено. После этого ему приходилось снова адаптироваться к реалиям семейной жизни. Именно в это время Сенка сообщала ему все важные новости, включая то, что я был далеко не лучшим учеником в классе.

— Он исправится, у него вся жизнь впереди, — отвечал отец, прежде чем погрузиться в сон, пытаясь наверстать бессонные ночи.

* * *

Для меня в школе многое было непонятным. Например, для чего был нужен урок труда. До того самого дня, пока учительница не объявила:

— Дети, вы можете мастерить все, что вам захочется! На любую тему.

И тогда я решил сделать трансатлантический корабль «Титаник», который видел в фильме с одноименным названием. Фильм, отнесенный к жанру драматической комедии, стал для меня настоящей трагедией.

Когда я уютно устраивался в скрипящем кресле кинозала Дома культуры полиции, мать показывала на свои часы, шепотом предупреждая, что придет за мной за пять минут до окончания киносеанса. В главном зале демонстрировали приключенческие, а также исторические фильмы. Однажды показали «Диктатора» Чарли Чаплина, а вместо новостей — короткую комедию «Шарло потерялся в революции». Пока я смотрел фильмы, Сенка отправлялась проведать своих родителей, которые жили в большом доме номер два по улице Мустафы Голубича, чтобы помочь им по хозяйству. От Дома культуры полиции этот дом отделяли двор, заросший сорной травой и крапивой, и фонтан, где никогда не было воды. Мать моей мамы звали Ханифой, у нее был рак нёба, а дедушка Хакия не любил, когда его дочь уделяла столько внимания вопросам гигиены.

— Тебе бы, дочка, — говорил он ей, — лучше развлечься и сходить в кино, чем надрываться здесь. У тебя что, дома работы мало?!

В то время как она скребла пол на кухне, он неподвижно смотрел на таз с водой и ворчал:

— Другие занимаются сексом, а ты, Хакия, киснешь в ванной!

Никто не понимал, что он имеет в виду, но это было прелюдией к рассказу о его приключениях. Маму моей мамы мы все называли Матерью, а не бабушкой, как другие. Пока дочь

мыла и расчесывала волосы больной матери, отец начинал рассказывать свою любимую историю. Речь шла о похищении, реально произошедшем в городе Доньи-Вакуф. Дедушка Хакия, в ту пору молодой парень, вооруженный маузером, вместе со своими братьями выкрал мою бабушку. Он был беден, и его тесть, богатый торговец, и слышать ничего не хотел о свадьбе. Моя бабушка Ханифа всегда смеялась, слушая эту историю, где она была главной героиней, несмотря на боль, которую причинял ей этот смех, поскольку врачи удалили ей мягкое нёбо. Мой дед, высокий и крупный мужчина, в свое время чудом избежал смерти. Я был уверен, что, когда вырасту, стану похож на него. На моей любимой фотографии он был запечатлен в форме полицейского Королевства Югославия накануне Второй мировой войны. Когда я как-то спросил его, что это за костюм, он мне ответил:

— В тысяча девятьсот сорок первом году я чуть не лишился головы из-за этой формы. Накануне облавы в Вакуфе один усташ[6] который был моим школьным товарищем, предупредил меня: «Хакия, хватай ноги в руки и беги отсюда, я получил приказ завтра тебя ликвидировать».

— И что ты сделал?

— Сбежал в Сараево. И остался в живых!

* * *

На «Геркулеса» со Стивом Ривзом в главной роли мать приводила меня в Дом культуры полиции не менее одиннадцати раз. Каждый раз, возвращаясь домой, я изображал сцену разрушения греческого храма. Я связывал веревкой ножки двух кресел. Дерганье за веревку приводило к обрушению кастрюль, котелков и прочих кухонных принадлежностей, которые были предварительно разложены на спинках кресел. Подразумевалось, что так я воспроизвожу сцену, когда Геркулес, прикованный к колоннам храма, в своем желании освободиться неистово тянет за цепи и разрушает храм. Однажды, по случаю какого-то праздника, я показал этот номер во дворе нашего дома. От усилия и волнения я неожиданно пукнул. Мне стало стыдно, поскольку все начали смеяться, но мой отец, у которого было хорошее настроение после полуденной сиесты на диване, меня утешил:

— Не переживай, в Англии они делают это постоянно, только потом всегда извиняются.

* * *

Больше всего меня впечатлил фильм о катастрофе самого крупного судна в мире. Придя в ужас от трагедии всех этих людей, умирающих на корабле, что было равносильно для меня концу света, я решил построить свой собственный «Титаник». В фильме меня особенно напугали сцены тонущего корабля: вода, хлынувшая повсюду, в каюты, на кухню, в коридоры, в ресторанные залы. Я подумал, что, случись такая катастрофа в нашей квартире, нас смыло бы в мгновение ока. Если бы наша полуторакомнатная квартира в доме номер 16Д по улице Ябушицы Авдо была «Титаником», вода ворвалась бы через окно столовой, где я спал, затем через коридор заполнила бы комнату, где спали отец с матерью, и на этом бы все закончилось. Подобно большинству детей, я боялся катаклизмов и Страшного суда, связанных с «концом света», и придумывал планы спасения. Я даже представил, как для того, чтобы выбраться из затопленной водой квартиры, мы превращаемся в рыб. Когда я поделился этой идеей со своим отцом, он со смехом ответил:

— Превратиться в рыб — отличная мысль! Нам больше не придется разговаривать, мы станем немы как рыбы, которые молчат, потому что им и так все ясно.

* * *

Мне понадобилось много времени, чтобы собрать необходимые материалы для моего корабля. Я оторвал одну ножку от табурета, который мой дед сделал своими руками в Травнике для того, чтобы женщины могли пить свой кофе сидя, и соорудил из нее мачту. Впоследствии на этот табурет села наша соседка Велинка, собираясь выпить с моей матерью по чашечке кофе, и грохнулась на пол. Немного расстроенная синяком на ягодице, она сказала:

— Вот видишь, Сенка, стоит убрать одну ножку у трехногого боснийского табурета, как все летит к чертям!

Я купил в магазине лист клееной фанеры и вырезал паруса для моего корабля из отцовской рубашки, которую он привез из Англии в 1957 году. Если бы я решил построить более крупный корабль, наша квартира стала бы такой же пустой, как муниципальное помещение Горицы, где я учился играть в пинг-понг и шахматы. Наибольшую сложность для меня составила сборка основания. Однажды я обнаружил фотографию «Титаника» в школьной энциклопедии. Не знаю почему, но я представлял себе «Титаник» с одним парусом, что не соответствовало действительности. И тогда я решил, что мой «Титаник» будет как

настоящий.

* * *

Отец снова был в отъезде, и поэтому я не мог рассчитывать на его помощь. Он занимался серьезными делами и часто уезжал в Белград. После школы я бежал прямиком домой, чтобы продолжить создание моего «Титаника», я даже перестал играть в футбол. Именно в этот момент мое ощущение времени изменилось. Я больше не сравнивал свой путь с полетом Гагарина. Мое сердцебиение учащалось, когда я был рядом со Снежаной Видович, и время летело слишком быстро. Только мы оказывались вместе, как тут же приходилось расставаться, будь то на перемене или по дороге домой. Но когда я посвящал себя «Титанику», время останавливалось. Для меня это было так странно. Я словно оказывался в другом месте, в стране, где со всех часов сняли стрелки. Как только я садился за свой «Титаник», то моментально перемещался в мир, где больше не слышался скрип креплений бельевой веревки, где деревья не гнулись от ветра, где я не ощущал голода и мог долгое время обходиться без сна. Гагарин наверняка чувствовал то же самое в космосе.

— Именно так живут творческие люди, им плевать, который час, полночь на дворе или рассвет, и есть ли у них какая-нибудь еда. Художники поглощены своей жизнью, они замыкаются в своем мире, и ничего другого для них не существует! — объяснял мой отец, большой знаток по этой части.

* * *

Я любил время, посвященное созданию «Титаника», почти так же сильно, как те минуты, что проводил со Снежаной. Каждый вечер я прерывал свою работу ровно в половине седьмого и выходил на улицу. В это время Снежана Видович возвращалась домой. Спрятавшись у нижних ступенек, я кричал:

— Эй!

— А! — отвечала она, останавливаясь.

Не говоря ни слова, я целовал ее и пулей бросался к дому. Я ходил целовать ее каждый вечер, как взрослые по утрам ходят на работу.

* * *

Сооружение моего корабля заняло у меня много времени. В конце у меня возникли проблемы с клеем. Я соединил лист фанеры и деревянные детали при помощи клея *UNU*, но поскольку он был дорогой, мне пришлось приклеивать картонную палубу другим составом: смесью муки и кипятка. Моя затея превзошла все мои ожидания: «Титаник» вызвал всеобщий восторг.

По дороге в школу я снова вспомнил о скорости полета Гагарина в космосе. В тот день, торжественно держа своего «Титаника», я думал о том, что скоро увижу Снежану Видович. Когда мы выложили свои работы на стол, я был невероятно возбужден.

— Если бы у меня был еще день в запасе, мой «Титаник» был бы еще красивее, — объяснил я учительнице.

— Куда же еще красивее, — ответила она с улыбкой, — он — само совершенство!

* * *

На перемене Снежана пришла в наш класс. Она посмотрела работы и поздравила меня:

— Твой корабль замечательный. Остальные работы по сравнению с ним — полная ерунда!

Я получил высший балл. Ремац Славица легонько дернула меня за ухо и сказала:

— Вот видишь, малыш, стоит только захотеть. Можешь передать своей матери: твой интерес пробудился.

* * *

Я со всех ног бежал по улице, спускавшейся от школы к нашему дому. На самом деле это была не совсем обычная улица. Улицу Горуса посередине преграждали каменные лестницы. Квартал, где я жил, был типичен для Сараева — крутые тропинки и рытвины, преобразованные в улочки. Все прилегающие улицы выходили на улицу Тито. Я гордо размахивал своим макетом. Моя оценка и мой «Титаник» вызывали во мне чувство, которое взрослые называют гордостью. Минута была торжественной. Впервые в жизни никто меня не одергивал, не велел держать голову прямо, расправить плечи — все, что обычно у меня не получалось. В Сараеве люди очень рано привыкали сутулиться. Поскольку здесь всегда было либо слишком жарко, либо слишком

холодно. Складывалось ощущение, что жители города чувствовали себя униженными из-за всех этих метеорологических перепадов. Зимой я съеживал плечи, чтобы оставить меньше шансов холоду, а в летнюю жару пробирался по улице Горуса и ее переулкам, словно мышка. Возможно, из-за этого искривления позвоночника или по каким-то другим причинам жители Сараева частенько называли друг друга крысами.

* * *

По дороге домой, которую я знал как свои пять пальцев, я мчался с такой скоростью, что позавидовал бы сам Юрий Гагарин. Влюбленный в Снежану Видович, гордый своим «Титаником», я торопился скорее вернуться, чтобы доставить удовольствие матери. Отец был еще в отъезде. Время от времени я останавливался, чтобы перевести дух. В моих руках «Титаник» казался больше, чем я сам. Полметра в ширину, столько же в высоту. Я заметил свою мать, развешивающую белье на веревке между окном и акацией. Как только она возвращалась с работы, сразу же снимала с веревки сухое белье и развешивала мокрое. Она работала бухгалтером на факультете гражданского строительства. Когда кто-то ее спрашивал «Как дела?», она отвечала: «Нормально, работаю как вол». Я помахал ей рукой, но она меня не видела. Ее скрывали простыни, надувшиеся на ветру, словно паруса невидимого судна, на котором она плыла.

* * *

Поравнявшись с лестницей, я свернул с дороги и, решив срезать путь, стал карабкаться по склону, не подумав о том, что моя гордость и высоко поднятая голова были не совсем уместны на этой неровной земле. Я споткнулся о камень и упал прямо на правую руку, в то время как левая крепко сжимала «Титаник». Я вскрикнул и сморщился от боли. Через паруса своего «Титаника» я увидел небо. Именно тогда я впервые сказал:

— Чертово небо!

* * *

Последние сто метров пути были самыми длинными и самыми трудными. Я плакал и стонал от боли и напряжения. Мой

«Титаник» казался тяжелее, чем настоящий, поскольку его вес оттягивал мою левую руку. Я ощущал во рту привкус пыли, смешанный со слезами, словно я целовал землю, и тогда я пробормотал:

— Чертова земля!

Когда соседка Велинка, смакующая кофе на своем балконе на четвертом этаже, заметила меня, она предупредила мою мать:

— Сенка, твой ребенок плачет, ему больно. Он еле тащится, размахивая над головой огромным куском дерева!

* * *

Когда подошла мать, я принялся рыдать еще громче. Она присела, чтобы осмотреть мою распухшую руку.

— С ним что-нибудь случилось? — спросил я.

— С кем?

— С «Титаником»!

— Нет, сынок, не волнуйся, с ним все в порядке.

* * *

По дороге в больницу, несмотря на тревогу о моем здоровье, мать несла «Титаник» с той же торжественностью, что и я. Беседуя с доктором, который диагностировал перелом запястья, она продолжала крепко держать корабль в руках. Я не хотел, чтобы она выпускала его из рук, опасаясь, что он тоже может сломаться. Врач наложил мне гипс, и мать отвела меня домой. Боль не стихала, но я ни о чем не жалел. Теперь я мог не ходить в школу.

После того как учительница сообщила, что я должен сдавать все свои домашние задания, было решено, что ко мне будет приходить Снежана и помогать их делать. И тогда мне захотелось, чтобы моя рука никогда не зажила. Особенно когда Снежана время от времени просовывала под гипс вязальную спицу, чтобы осторожно почесать зудящее место. Мы с ней условились, что я буду диктовать, а она записывать. Я смотрел на нее и мечтал, чтобы моя вторая рука тоже оказалась сломанной. А заодно и обе ноги. Чтобы Снежана могла писать за меня все мои домашние задания… Никогда еще мой почерк не был таким красивым.

* * *

Папа вернулся из командировки и очень расстроился из-за моего перелома. Он расцеловал меня и пообещал отвезти купаться в Илиджу[7], как только наступит купальный сезон. Он знал, что мне это доставит удовольствие, поскольку я уже как-то ездил без разрешения в Илиджу, прицепившись к трамваю, за что получил неплохую взбучку.

* * *

Перед тем как лечь отдыхать после обеда, отец внимательно изучил макет «Титаника». Разглядывая его со всех сторон, он покачивал головой.

— Отличная работа! — сказал он мне. — Только, мне кажется, каркас немного тяжеловат. Когда будешь переставлять его на другое место, будь осторожнее. Не знаю, выдержит ли клей. Мне это напоминает конструкцию нашего социалистического общества!

* * *

Когда мне сняли гипс, у меня возникло ощущение, что моя зажившая рука стала невесомой. Отец вернулся домой поздно ночью в приподнятом настроении и, как обычно, когда он был в таком состоянии, привел с собой подвыпившего друга. Я закрыл глаза и притворился, что сплю. Отец прошел в спальню и разбудил мать:

— Сенка, просыпайся, сегодня вечером Насер[8] бросил русских и подался к американцам!

Мать встала. Ей показалось, что она видит перед собой бочонок с белым вином, а не своего мужа. Она всегда отказывалась принимать всерьез интерес маленьких людей к большой истории и старалась оградить от этого меня.

— Тише ты, горлопан! — прошептала она. — Разбудишь ребенка. Ему завтра рано вставать в школу!

Друг моего отца, мужчина с остроконечной козлиной бородкой, сел на табурет рядом с моим кораблем и после каждой фразы отца, прикрыв веки, монотонно спрашивал:

— Ну и что ты предлагаешь?

— Ничего не предлагаю, — ответил мой отец, — но это удар не только по международному рабочему движению, но и по всей Югославии.

— Разве все в жизни сводится к политике? — вмешалась моя

мать. — От этого что, мир рухнет?

— Мне кажется, что равновесие в мире уже серьезно пошатнулось, — ответил отец, — дай мне выпить!

— Идите отсюда оба, вы разбудите малыша!

— Ну и что ты предлагаешь? — спросил мужчина с бородкой.

— Поскольку мы не можем изменить мир, предлагаю поменять кабак, — заявил отец.

— Убирайтесь! — тихо проворчала мать, оскорбленная тем, что отец сравнил наш дом с кабаком.

* * *

Отец подошел ко мне и поцеловал, думая, что я сплю, затем пошел за Сенкой в спальню. Его друг продолжал повторять сам себе:

— И что ты предлагаешь, Мурат?

Поскольку отец ничего не отвечал, мужчина встал с табурета и, с трудом удерживая равновесие, принялся вальсировать, как Чарли Чаплин в «Золотой лихорадке». Он покачивался то вперед, то назад, а в это время из спальни доносились приглушенные голоса моих родителей, спорящих о Насере. Естественно, друг моего отца в итоге потерял устойчивость и схватился за мачту моего «Титаника». Я смотрел на это сквозь прикрытые веки, готовый броситься к своему кораблю подобно Муфтику, вратарю футбольного клуба «Сараево», чтобы предотвратить возможную катастрофу. Корабль накренился, готовый упасть, но мужчина упал раньше его. Ему, тем не менее, удалось удержать мой корабль за корпус.

— Избави нас Бог от второго крушения «Титаника», — произнес он, поставив корабль обратно на радиоприемник.

Лежа в своем углу на диване, я облегченно вздохнул и быстро спрятался под одеяло, чтобы мужчина с бородкой меня не заметил. Казалось, в комнате вновь воцарился покой, когда вдруг приятель моего отца решил поставить финальную точку в приключениях моего «Титаника». Выходя, он так сильно хлопнул дверью столовой, что вибрации хлипкой социалистической постройки добрались до радиоприемника, а от него — до «Титаника». От ударной волны мой корабль опрокинулся, сломав при падении свою мачту, — и клей из муки оказался неспособным удержать палубу. Мой мир рухнул на моих глазах.

Я долго плакал той ночью, прежде чем сделать окончательный вывод:

— Чертова социалистическая конструкция!

Как я впервые не увидел Тито

В 1963 году я в первый раз пересек границу Социалистической Федеративной Республики Югославия. Мы с Сенкой отправились в длительную поездку в Польшу, где жила моя тетя Биба Кустурица. Ее муж, Любомир Райнвайн Бубо, был корреспондентом югославского информационного агентства ТАНЮГ[9] в Варшаве, а сама она работала в Институте международного рабочего движения. Для моей тети это был второй переезд за границу, со вторым мужем. Она снова вышла замуж после развода со Славко Комарицей, который был генеральным консулом Югославии в Берне.

— Это означает, что тетя Биба пересела с лошади на осла? — простодушно спросил я своего отца.

Отец любил, когда я ему подражал, делая логические выводы, но этот новый муж моей тети ему совсем не нравился.

— Ты, малыш, слишком любопытен для своего возраста!

* * *

Не только друзья моего отца были мучениками, пострадавшими за любовь к матушке-России. Среди моих приятелей тоже были такие. Поскольку я изучал русский язык, ученики, с которыми я ежедневно встречался на уроках, были в большинстве своем детьми политзаключенных из «Голи-Оток»[10].

— Я хотел бы работать на почте, чтобы каждый день ставить штемпели на марки с изображением Тито, — однажды признался мне Дуско Радович, сидевший за партой впереди меня.

Радович мечтал о работе простого почтового служащего вовсе не потому, что был плохим учеником. Он был лучшим в школе по математике и разрешал нам списывать свои домашние задания. Проставляя штемпели на лицо Тито, мой товарищ хотел отомстить за своего отца, который получил восемь лет исправительных работ в лагере «Голи-Оток». Рассказывая мне по секрету свою мечту о почтовых марках, он незаметно для себя принялся стучать кулаком по столу, сначала тихо, затем все громче и громче. Он был похож на танцора из фольклорного коллектива косовских албанцев, которые впадают в транс, подчиняясь ритму. Я попытался его успокоить, опасаясь, что его выгонят с урока.

* * *

Для меня товарищ Тито был сравним с сигнальным дорожным столбиком на улице Горуса: он маячил везде, через каждые десять шагов. Один из друзей моего отца, инженер-электрик Сулейман Пипич, считал, что нужно принимать Тито как судьбу. Однажды после барбекю в доме Сулеймана снова зашел спор о Тито.

— Это всего лишь обычный австро-венгерский проходимец! — заявил мой отец.

— Тито — это наша неизбежность, — ответил Пипич.

— Ты смотришь на вещи с исламской точки зрения. У вас все — неизбежность. Может, Тито еще и святой? Или что-нибудь в этом роде? — спросил отец.

Являясь представителем нашей страны в Судане в сфере технологического развития, Сулейман в полной мере воспользовался политикой неприсоединения Тито. Он заработал много денег и построил себе дом над Баскарсией[11]. Оставшиеся деньги он дал нам в долг на покупку нашего «Фольксвагена-1300».

— Говорю тебе, Пипич, этот официант[12] еще всех нас поимеет, — бросил отец, в то время как испуганная мать дернула его за рукав.

— Мурат, у стен есть уши! — сказала она.

— Ну и пусть! Я свободный человек! А он — обыкновенный диктатор!

— Ты перегибаешь палку, Мурат, — тихо произнес инженер Пипич.

— В сорок восьмом году он сказал «да» Сталину, тогда как все были уверены, что он скажет ему «нет». В реальности же в ялтинских договоренностях его «нет» оказалось «да». Все решилось на месте, пока здесь он строил из себя героя. Оказалось, он просто рисовался! — возразил отец тоном, не терпящим возражений.

Я не знал, что означало «рисовался», но слово «диктатор» я понял, благодаря фильму Чарли Чаплина.

— Папа, он как Чарли Чаплин! — вмешался я в беседу, надеясь, что моя реплика понравится отцу. Я с волнением ждал его ответа.

— Намного забавнее, сынок, и гораздо хуже!

* * *

Мой отец не любил Тито, потому что большинство его друзей, бывших товарищей по партизанской войне, закончили свои дни в тюрьме «Голи-Оток», сосланные туда под предлогом чрезмерной симпатии к русским и Советскому Союзу.

— В этом он весь, — рассказывал отец. — Отправлял невиновных в «Голи-Оток», чтобы смыть с себя позор. Сначала он сам научил их любить Сталина и Россию, а потом сослал в концлагерь, чтобы отучить от этой любви. Он знал, что это наилучший метод перевоспитания, поскольку перенял его у самого Сталина.

Мой отец не стал прямой жертвой Коминформа[13], но его перевели из Белграда в Сараево. В действительности все выглядело так, словно его переместили по службе совсем по другой причине. Одних отстранили из-за Коминформа, других — из-за их чересчур активной жизненной позиции. Высылка из Белграда являлась обычным наказанием для государственных чиновников. Мне отец сказал, что причиной его перевода стала дружба с его сводным братом, которого тоже внесли в черный список, когда Тито перестал любить Сталина.

— Мой Мурат — добрая душа! И если он предается излишествам, то лишь для того, чтобы хоть немного отдохнуть от своей доброты, — обычно говорила моя мать.

Это, бесспорно, было самое лучшее мнение о моем отце.

Он работал в государственном аппарате и не был доволен своей жизнью. Вначале он занимал пост заведующего канцелярией Информационного бюро Социалистической Республики Босния и Герцеговина, затем был понижен до помощника секретаря. Он хорошо говорил по-английски, но предпочитал русские песни.

* * *

В тот вечер, после дискуссии о Тито, я уснул на руках у матери, а отец затянул песню «На Байкале». Тут же в моем сне появилась Снежана Видович. Русские песни вызывали ее образ и раньше, но в саду инженера Пипича она предстала в очень странном виде. На ней было свадебное платье, и она держала в руках маленькую ореховую ветку. Я узнал жезл Тито, который пионеры, молодежь, крестьяне и рабочие вручали ему на день его рождения.

— Это жезл Тито, — сказала Снежана, — нас с тобой выбрали, чтобы вручить его Тито на день рождения!

— Почему на тебе свадебное платье?

— Потому что мы с тобой станем мужем и женой!

— Я согласен пожениться, но ветку вручать не буду! — возразил я, — Во-первых, я не отличник, а во-вторых, я не знаком лично с товарищем Тито. Я видел его только на фотографии.

— Значит, ты не хочешь на мне жениться?! — спросила меня Снежана.

— Как это не хочу? Я готов все сделать для нас двоих!

— Тогда решай: если хочешь получить мою руку и сердце, бери жезл и иди со мной, иначе я пойду туда одна, а тебе придется искать себе другую жену!

Я взял в одну руку жезл, в другую — руку Снежаны, и мы бросились бежать по улице Логавина. Взволнованная толпа скандировала: «Тито! Тито!» Совсем как в жизни. Я был ошеломлен, как Шарло, потерявшийся в революции, и озирался, размахивая ореховой веткой. В конце концов я примкнул к народному празднеству, всеобщему ликованию, которое перенеслось из реальности в мой сон. Мы пошли по главному проспекту, ведущему к стадиону «Косево». Там мы не обнаружили ни малейших следов пребывания Тито.

Папа Снежаны, полковник Видович, с бровями, похожими на жестяные навесы, вышел из толпы и сказал:

— В целях безопасности мы были вынуждены изменить маршрут товарища Тито, чтобы не повторилась история Франца Фердинанда![14] — И добавил специально для меня: — Старик остановился в отеле «Загреб», в Марьином дворе[15]. Он ждет вас там, дети мои, поторопитесь!

* * *

В конце концов мы обнаружили Тито в прокуренном номере отеля, где он играл в покер, пыхтя гаванской сигарой. Рядом с ним сидел маленький человечек с белой скатертью на голове. Там был еще один, весь в белом, в колпаке, как у нашего булочника Кесича, а также высокий араб. Мы остановились около стола Тито, возбужденные и запыхавшиеся.

— А вот и малыш Кустурица! Боже мой, как ты вырос! — сказал он мне.

— Славный малыш, славный малыш! — эхом откликнулись остальные: мужчина со скатертью на голове и араб.

Третий промолчал. Вместо того чтобы прочесть текст о любви, который я знал наизусть, я со всей силы ударил Тито по голове ореховым жезлом и закричал:

— Разве мы не договаривались, что ты будешь ждать нас на

стадионе «Косево»? Отвечай, мерзкий диктатор!

Я ударил его во второй и в третий раз, продолжая вопить:

— На, получай: это за Сибу Краваца, а это за Зульфу Бостандьича, за всех товарищей папы, проклятый диктатор!

Снежана Видович внезапно сняла свое платье невесты и принялась мутузить Тито ногами, в то время как он пытался защититься от ударов.

— Почему ты не подождал нас, гадкий диктатор, а?! Говори! Отвечай, отвечай!

Я проснулся от собственного крика.

— Что случилось, сынок? — спросила меня мать.

— Ничего. Мне приснился Чарли Чаплин!

Я не осмелился рассказать свой сон никому, даже отцу.

Когда мы возвращались на машине домой, отец бросал на меня короткие взгляды в зеркало заднего вида. Внезапно он подмигнул мне.

— Ты и правда весь в меня! — сказал он.

Для меня это был очень важный момент.

* * *

Я не знал, что означает «половое созревание», и сожалел, что еще не вступил в этот загадочный возраст, как мои кузены: Эдо, Дуня, Сабина и Аида. Все они жили в большом доме моего деда под номером два на улице Мустафы Голубича. Он купил это жилье на собственные сбережения, добавив приданое моей бабушки, которое они в конце концов получили, через много лет после своей тайной свадьбы. Но я никак не мог понять, на какие средства дед содержит это величественное здание, построенное для какого-то барона, о чем свидетельствовали фонтан, ныне заросший сорняками, и широкая мраморная терраса.

— Это благодаря квартирантам, сынок, — объяснила мне мать.

Я по-прежнему ничего не понимал, но заметил, что в доме живут две семьи с другими фамилиями. Первая, по фамилии Котник, проживала на верхнем этаже при входе в большой коридор, а вторая, Бегич, занимала первый этаж. Это и были квартиранты. Несмотря на свой обветшалый вид, этот дом остался в моей памяти как самый красивый дом моего детства.

* * *

Мой отец не был против, чтобы я проводил уик-энд в этом доме, но тем не менее любил повторять моей матери:

— Повсюду в мире люди женятся и уходят от родителей, чтобы вести свою собственную жизнь. Тогда как твоя семья, Сенка, живет, как в Средневековье. Ничто не заставит их оторваться от юбки своей матери!

Это был один из тех редких случаев, когда отец и мать были согласны друг с другом.

— Что за жизнь в коммуналке, — повторяла она, гордясь нашей полуторакомнатной квартирой.

* * *

Поскольку у меня не было ни брата, ни сестры, я как раз хотел бы жить в такой «коммуналке». Когда я ночевал у Эдо, Дуни, Сабины и Аиды, мне казалось, что они и вправду становились моими родными братьями и сестрами.

Несмотря на свою болезнь, мать Сенки готовила кромпирусу, слоеный картофельный пирог из гречишной муки. Ни один слоеный пирог в мире не мог сравниться с пирогом нашей Матери. Сенка утверждала, что все это благодаря железной печи, в которой он выпекался и которую топили деревом или углем.

Пока я ел, Мать гладила меня по волосам, а я просил ее рассказать, что она хранит под кроватью в чемодане, который мы прозвали волшебным сундуком. Я теребил ключ, висевший у нее на шее, словно медальон, и слушал ее.

— Ничего, кроме бриллиантов и сапфиров! — отвечала она, тихонько посмеиваясь, насколько ей позволяла болезнь. — Когда я уйду в мир иной, то оставлю все это своим детям.

Мы, дети, не хотели, чтобы она умирала, но Эдо, Дуня, Аида, Сабина и я частенько ложились на пол и пытались угадать, что было спрятано в волшебном сундуке нашей Матери. Мы играли в эту игру, придумывая, что сделаем с сокровищами, когда они достанутся нам по наследству. Эдо говорил, что обменяет бриллианты на деньги и отправится в Лувр смотреть картины величайших художников мира. Как-то он сказал мне, что одна только улыбка Моны Лизы стоит того, чтобы съездить в Париж. Что касается меня, я хотел купить «улицу грёз» — так мы называли улицу Стросмайер, которая каждый Новый год превращалась в рай для детей. Дуня собиралась оставить сбережения на потом, когда она вырастет и создаст свою семью. Аида мечтала стать Элизабет Тейлор, поскольку у той были фиалковые глаза, а ее сестра Сабина просто хотела, чтобы ее отец

перестал пить!

Дядя Адо, отец Аиды и Сабины, был офицером авиации и имел обыкновение начинать свои фразы со слов; «Несмотря на весь мой ум». И только потом следовало продолжение.

— Кем ты работаешь, дядя Адо? — как-то спросил его я.

— Несмотря на весь мой ум… я — пилот, мой мальчик.

— Чтобы стать пилотом, много ума не надо…

— О! Для этого, конечно. Но если бы мне повезло, я мог бы управлять космическим кораблем.

— Как Гагарин?

— К сожалению, мы живем в маленькой стране, и у нас недостаточно возможностей для космических разработок, здесь нужны крупные инвестиции.

* * *

Дедушка терпеть не мог дядю Адо.

— Кто пилот — он? Да он работает журналистом в казарме Райловаца![16] — рассказал он мне однажды.

Дядюшка Адо, насколько я понял, не был обычным лгуном. Поскольку он носил синий костюм, то ответил так на мой вопрос, чтобы доставить мне удовольствие: он знал, что, как и все мальчишки, я обожаю самолеты. Адо прилагал все усилия, чтобы сделать счастливым моего кузена Эдо, заменив ему, насколько возможно, его отца Акифа. Когда на прилавках рынков Сараева появлялись первые бананы и апельсины, он покупал их, возвращаясь из казармы Райловаца, и выкладывал на стол в комнате, где жили Эдо, Дуня и их мать Биба. Его собственные дети всегда были на втором месте. Адо отправлялся на работу в безукоризненно чистом костюме, а возвращался обычно со следами штукатурки и земли на синей форме. Однажды он принял решение раз и навсегда покончить с алкоголем, что несказанно обрадовало мою тетю Изу.

— Я не выпью больше ни капли, а ты сядешь на диету, — объявил он.

Моя тетя, пришедшая было в восторг от того, что ее муж собирается бросить пить, моментально встревожилась при мысли, что отныне ей придется следить за своим питанием:

— Ты же знаешь, Адо, я ем как воробышек!

Дядюшка Ад о остался непреклонен:

— Значит, не будешь есть вообще, даже как воробышек, посмотри, какая ты толстая. Отнеси все деньги в банк, положи их на сберегательный счет на два года, пока кризис не минует.

Моя тетя сделала все так, как велел ее муж. Но уже на следующей неделе Аида и Сабина с воплем ворвались в комнату дедушки:

— Папа бьет маму и требует, чтобы она забрала деньги из банка!

Дедушка утихомирил эту ссору, как и множество других в доме номер два по улице Мустафы Голубича.

* * *

Когда дедушка возвращался с работы, мы всегда радостно бросались ему навстречу. Он приносил нам сливы, инжир, все эти маленькие гостинцы, которые мог себе позволить государственный адвокат. Я был не так близок с дедушкой, как Эдо, и испытывал по этому поводу ревность. Но их особые отношения объяснялись тем, что они жили под одной крышей. Я сблизился с дедом в тот период, когда он научил меня свистеть. Все считали, что его любимая песня — «Муйо подковывает коня под луной», тогда как в действительности он обожал песню «Битлз» *«When the saints go marching in…»*. Но он быстро заметил, что я не на шутку разошелся и мог насвистывать до поздней ночи.

— Не свисти ночью в доме, разбудишь дьявола! — одернул он меня.

Чтобы хоть немного развеселить нашу больную Мать, он говорил ей:

— Старушка моя, я побрился, сегодня вечером колоться не буду.

Однажды мы с Эдо обнаружили его неподвижно лежащим на балконе и разглядывающим фотографии обнаженных женщин из журнала «Старт». Вся странность состояла в том, что выдранные из журнала страницы были развешаны на веревках посреди белья, сохнущего на солнце.

— Ты спишь, дедушка? — спросил я.

Он поспешно спрятал порнографический журнал под матрац и снял страницы с бельевой веревки.

— Смерть, мои дети, похожа на рубашку — всегда висит на спине! — заявил он.

Я не улавливал связи между обнаженными женщинами и смертью, похожей на рубашку, но добавил:

— А еще больше — на майку, которая прилипает к спине.

— Малыш, у тебя правильные мысли, и что еще важнее, ты делаешь правильные выводы.

Это была шутливая сторона моего дедушки.

* * *

Его серьезная сторона проявлялась каждый вечер ровно в десять часов. В это время Акиф, брат моей матери, возвращался домой. За полчаса до этого дедушка входил в комнату детей, снимал пластинку «Битлз» со старого граммофона, который остался у нас после отъезда господина Фишера, бывшего владельца.

— Так, всем на горшок и спать! — объявлял он.

Когда я хвастался, что уже сходил в туалет, он отвечал:

— Сходи еще разок, это бесплатно.

Оберегать ночной сон своего сына Акифа, отца Дуни и Эдо, было для деда самым строгим правилом в доме. С опаской и почтением мы смотрели, как наш дедушка проверяет, все ли готово к приходу его сына. Акиф, работавший представителем фирмы *«Philips»* в Боснии и Герцеговине, был лично знаком с королевой Голландии. После войны он выпал из своего джипа и с тех пор страдал эпилепсией. Это была официальная версия. Мой отец не верил ни слову из этой истории с аварией. Он считал, что скрывать такие вещи от своих близких недостойно цивилизованного человека.

— Достоевский тоже страдал эпилепсией, и что с того? О подобных рисках следует знать заранее. Какие еще автомобильные аварии и прочая чушь?! Эпилепсия передается по наследству! — гневно говорил он, повторяя моей матери, что лишь чудом Эдо и Дуне не передалась эта тяжелая болезнь.

Кровать дедушки стояла рядом с дверью, соединяющей две комнаты: столовую, служащую спальней моим бабушке с дедушкой, и комнату их сына. Часто я тайком наблюдал за дядей Акифом, когда он направлялся в свою спальню. Однажды, спрятавшись за дверью комнаты, где жили Эдо, его сестра Дуня и их мать, я принялся подглядывать в замочную скважину. Я не заметил, что ручка двери опустилась и язычок уже не держит ее. Когда дверь открылась, я вывалился в коридор. Дядя, увидев меня распластанным на полу, приподнял свою шляпу, чтобы придать пикантности этой странной встрече, словно он приветствовал важную персону.

— Как дела, мой Эмир? — спросил он, погладив меня по волосам.

Я пожал плечами, он снова надел шляпу и вошел в свою комнату. Когда я спросил Эдо, почему его родители не разговаривают друг с другом, он ответил:

— Он считает, что она ему изменила, но она тоже знает, что он ей изменял. В итоге расплачиваемся мы с Дуней. Перед тобой,

по крайней мере, он снял шляпу, меня он вообще в упор не видит, когда проходит мимо!

Теперь я понимал, что означала фраза дедушки: «Другие занимаются сексом, а я кисну в ванной!»

* * *

Граммофон господина Фишера находился в маленькой комнате, где Сабина и Аида проводили почти все свое время. Они слушали «Битлз» часами напролет и не пропускали ни одного концерта Джорджа Марьяновича. Однажды они взяли меня с собой на его выступление в Дом культуры полиции. Как они мне объяснили, Джордж доходил до экстаза к концу песни Адриано Челентано *«Venti quarto mille baci!»*.

— Стриптиз! Стриптиз! — кричала толпа.

Джордж снимал свой пиджак, раскручивал его над головой и бросал в зал. Это и был «стриптиз».

* * *

Вернувшись домой после концерта, Аида и Сабина исполнили специальный номер. Они вертелись на месте и жевали свою жевательную резинку. Они танцевали твист, наклоняясь вперед, выпячивая ягодицы, и обменивались жевательной резинкой, растягивая ее.

— Эти «Битлз» просто супер, песня «Мишель» — настоящий Тито! — восторгалась Аида.

— Господи, Аида, как ты можешь говорить такие глупости! — упрекнула ее Дуня.

— Почему глупости? Я просто говорю, что песня мне нравится. Как Тито.

— Но как ты можешь оскорблять Тито?

— Я его не оскорбляю, я говорю что песня — классная, совсем как Тито!

— Тито — это табу, о нем нельзя спорить, — вмешался один из квартирантов, так называемый Котник, который тоже находился в «возрасте полового созревания».

Он был партийным секретарем второго лицея Сараева и явно питал нежные чувства к Дуне. Я видел это по его очкам, которые запотевали, когда он смотрел на нее. Эдо недолюбливал его. Когда я позже спросил об этом свою мать, она не задумываясь ответила:

— Братья не любят, когда их сестры интересуются другими мальчиками.

— Но ведь сестра все равно не может выйти замуж за своего брата, так не принято! — воскликнул я, и мать посмотрела на меня с удивлением.

* * *

Но Эдо, читавший книги, заткнул рот Котнику:

— При социализме не может быть табу. Табу — удел религий, а не продвинутого общества. Поэтому следует разрушать все табу!

Котник недовольно замолчал. А Эдо после этой короткой тирады удалился в свою комнату, чтобы рисовать портреты. Тогда Котник вновь осмелел и вернулся к своему первоначальному мнению о Тито и социализме.

Я сгорал от желания принять участие в дискуссии о Тито и рок-н-ролле, но не знал как. И тогда мне пришла в голову мысль рассказать свой сон о жезле Тито. С первых же слов Котник уставился на меня такими круглыми глазами, что я поспешил изменить главное действующее лицо своей истории. Я принялся рассказывать свой сон от имени одного из моих школьных товарищей. В конце моего рассказа, когда я дошел до эпизода, где мой воображаемый герой бьет Тито жезлом, он со вздохом покачал головой.

— Это ерунда, — заявил он. — Вот я слышал, что в нашем колледже есть один черногорец, отец которого хотел бы работать на почте. Чтобы ставить штемпели на лицо Тито всякий раз, когда нужно погашать марки! Вот таких следует расстреливать. К стенке — и пулю в голову!

Я похолодел.

И тогда я осознал, что мои сны были опасны. Все согласились с Котником, лишь Златко Бежич, жилец с первого этажа, сидел молча. Его отец был религиозным мужчиной, практикующим мусульманином, и сын не высказывал своего мнения ни о Тито, ни о «Битлз». После этой сцены я решил называть Снежану Видович «Тито», чтобы избежать неприятных последствий своего сна и ничем не выделяться среди других. В этом решении не было ничего необычного. На нашей улице, когда какой-нибудь парень восхищался красотой девочки, он говорил: «Дружище, она красива, как Тито!»

А когда кто-нибудь забивал удачный гол на футбольном матче, раздавались возгласы: «Какой гол! Настоящий Тито!»

Так же как я иногда любил сбегать из дому, Эдо каждые две

недели приходил ночевать к нам. Он появился на свет в 1948 году. Перед моим рождением он поспорил с моим отцом, что родится мальчик. Отец был уверен, что будет девочка. Когда 24 ноября 1954 года я с криком вошел в этот мир, Эдо выиграл пари, к великой радости моего отца, который совершенно не жалел о проигранных ста динарах. Хотя его зарплата составляла всего восемь тысяч динар, притом что маленький «фиат» стоил целых шестьдесят тысяч. Когда Эдо было всего три года, моя мать отвела его купаться в Дариву, на речку Миляцка. И Эдо там чуть не утонул. Каким-то чудом он ухватился за мою мать, и она его спасла. Она вошла в воду, не подозревая, что маленький Эдо последует за ней и тут же начнет тонуть. Пока он шел ко дну в мутной воде Миляцки, словно слепой в темноте, одному Богу известно, как он уцепился за ногу моей матери. И это спасло ему жизнь.

* * *

Эдо Нуманкадич мечтал стать художником, но все члены его семьи хотели, чтобы его будущее было связано с электроникой. С моим отцом Эдо много разговаривал, обо всем и ни о чем. Чаще всего о политике, но и об искусстве тоже. Вмешательство Мурата стало решающим в будущем образовании моего кузена.

— Друзья мои, вы сошли с ума? Зачем вы мучаете этого мальчика? Вы когда-нибудь видели, чтобы художник изучал электронику?!

Позже Эдо увлекся литературой и начал писать абстрактные картины. Он был благодарен моему отцу, поскольку тот выражал свои мысли со всей прямотой, как принято у герцеговинцев. К тому же Эдо переживал, что не может нормально общаться со своим отцом.

* * *

Эдо и Мурат постоянно спорили по поводу живописи. Папа считал, что современные картины похожи на кухонный линолеум.

— Нет, они выражают спонтанность, особое выражение свободы. Так же, как рок-н-ролл стал передовым движением современной молодежи. Один из способов бросить вызов старшему поколению!

Отец был с ним не согласен. И когда позже рок-н-ролл проник в партию Тито, он спросил моего кузена:

— Ну, что скажешь теперь? На Западе длинноволосые юнцы презирают Джонсона, а наши играют для Тито на Новый год.

— Дядя, это оригинальность нашего экспериментального поиска, — объяснял Эдо.

Но отец не сдавал позиций:

— Да плевать я хотел на твою экспериментальную оригинальность! Если выбирать между «Королем Лиром» и твоей «Лысой певицей»[17], я всегда выберу «Короля Лира».

Папа читал Шекспира в оригинале, и мы этим очень гордились. Особенно моя мать, когда соседки говорили ей:

— Как тебе повезло с Муратом — он говорит по-английски почти без акцента, а мой едва мямлит на сербохорватском.

Когда мой отец слышал это, он не мог удержаться, чтобы снова не вспомнить о Тито:

— Это нормально, что он еле мямлит, поскольку сам президент разговаривает на своем родном языке с иностранным акцентом.

* * *

Часто я слышал, как простые люди говорили в трамвае:

— Тито еще не всех наказал. Дай мне власть на пять минут, и я превращу всю страну в «Голи-Оток»!

Какой все-таки замечательный у нас народ, думал я. Они все хотят, чтобы в нашей стране был порядок, и при этом так любят слова песни: «Кто скажет иное, тот лжет и клевещет, и будет наказан, и будет повешен!»

Однажды, когда я пел эту песню в хоре, я спросил у своей учительницы:

— Если мой папа считает, что Тито плохой, значит, он лжет и клевещет?

— Именно так, — ответила она, — но поскольку твой папа так не считает, все в порядке. А что касается тебя, ты здесь для того, чтобы петь, а не задавать глупые вопросы.

Все засмеялись надо мной. Лишь Снежана Видович осталась серьезной.

* * *

Среди «врагов государства», приходивших в нашу квартиру, самым известным был Хайрудин Сиба Крвавац, автор фильмов о нашем народно-освободительном движении. Сиба впал в

немилость за то, что назвал некого Йову хорошим человеком, когда тот уже находился в «Голи-Оток». Поскольку дядя Сиба был мужчиной, он не мог отказаться от своих слов. Тогда он даже не догадывался, что его мнение о человеческих качествах товарища Йовы отправит его на исправительные работы.

— Хуже этих исправительных работ в новейшей истории ничего не было, — заявил мой отец.

Однажды на пляже Заострога нам с Сенкой с трудом удалось отговорить его от драки с неким Брацо, так называемым «горцем». Этот Брацо ненавидел русских и бросил моему отцу:

— Всех вас, кто так любит русских, я бы отправил в лагерь, а оттуда — прямиком в Россию! Свора подонков!

Однажды вечером, когда отец разговаривал с Сибой в столовой, я снова притворился, что сплю. Этот диван быстро стал местом, откуда я с закрытыми глазами слушал великие уроки жизни и истории. Моя мать отправилась спать. Она не скрывала своей радости видеть отца дома, это слышалось в интонациях ее голоса.

— Хорошенько запри дверь, проверь плиту… и поменьше шумите!

Отец откупорил бутылку рислинга, и я понял, что ночь будет долгой.

— Все это однажды рухнет, — произнес он. — Во всем мире врачи и адвокаты живут на собственных виллах, у нас же все наоборот. Адвокаты и врачи плесневеют в многоэтажках, а неучи строят себе виллы. Не крестьяне, не рабочие. Так долго продолжаться не может!

— Да здравствует Бельведер! — сказал Сиба моему отцу.

Они пили, говорил в основном мой отец. Дядя Сиба отмалчивался и пытался перевести тему с политики на кино, но безуспешно. Отец говорил без остановки, даже когда отправился в туалет. Он кричал оттуда, и его голос из-за акустики звучал более торжественно:

— Какая демократия? Что за чушь? Здесь нет никакой демократии и быть не может!

— Ну конечно же есть, Мурат!

— В нищей стране не может быть демократии, дорогой мой Бельведер!

Я смотрел на дядю Сибу, который вскочил со стула, показал на люстру, приложил палец к губам, всей своей мимикой пытаясь помешать моему отцу вынести приговор товарищу Тито. Отец вернулся в комнату, застегивая ширинку, в то время как Сиба своей пантомимой старался донести до него, что их могут слышать.

— Одни проходимцы и преступники, а Тито — самый главный из них! — подвел итог отец.

* * *

Папа никогда не запрещал мне носить длинные волосы. Мать, напротив, говорила, что волосы следует стричь в целях гигиены. Я слушал «Битлз» и «Роллинг Стоунз» по люксембургскому радио и, тряся головой, представлял, что у меня волосы до плеч. Позже отец купил нам в кредит проигрыватель и водные лыжи. Лыжи долгое время лежали без дела, зато проигрыватель жил недолго. Поскольку игла была не алмазной, она быстро сломалась. Я слушал в основном «Стоунз». Их жесткое звучание нравилось мне больше, чем песня «Мишель», «которая была как Тито».

* * *

В один прекрасный день мне надоело встречать Снежану Видович у ворот школы, кричать ей «Эй!» и слушать ее «А!». Я не раз слышал разговоры взрослых ребят о том, как в сливовом саду возле старого мусульманского кладбища мужчины и женщины занимаются сексом. Я твердо решил стать взрослым.

Мать собиралась к своим родителям:

— Скоро приду, на улицу играть не ходи.

Как только Сенка исчезла внизу лестницы, затем скрылась за акацией, я помчался к дому Снежаны, чтобы предложить ей пойти ко мне и вместе сделать упражнения по алгебре.

— Где твои родители? — спросила она, войдя в квартиру с тетрадкой в руке.

Когда она увидела, что я дома один, то тут же собралась уходить. Я поставил диск «Стоунз», и Снежана не смогла устоять перед голосом Мика Джаггера, которого я называл Маниту[18] Большая Пасть. Я принялся танцевать твист и задохнулся, выкуривая свою первую сигарету. Клубы крепкого табака обжигали мне горло. Это была «Герцеговина» без фильтра, которую я стащил из пачки у своей матери. Снежана встала передо мной, глядя на меня глазами ярмарочного гипнотизера. Я замер на месте, а она вдруг начала танцевать с невероятной скоростью. Мои глаза стали размером с бильярдные шары. Я положил в рот жевательную резинку и продолжил свой танец, наклоняясь к ней, как это делали мои кузины Аида и Сабина. Она засмеялась, включилась в игру и приблизилась ко мне. В момент

обмена жевательной резинкой я сказал:

— Хочешь заняться сексом?

Она резко остановилась и выключила проигрыватель. Я почувствовал, что происходит что-то непредвиденное.

— Я слышал, как взрослые говорят, что это совсем несложно и очень приятно, — попробовал объяснить я. — Надо просто обняться и доставить друг другу удовольствие.

Снежана влепила мне звучную пощечину, взяла свою тетрадь и ушла, хлопнув дверью.

* * *

Время шло, а я до сих пор так и не видел Тито. Только на портрете. И во сне. Как вдруг по нашему классу пронеслась новость: «Завтра Тито приезжает в Сараево».

* * *

Это был хмурый и холодный ноябрьский день. Нас, учеников начальной школы «Хасан Кикич», повели встречать Тито. Мы остановились в Марьином дворе, возле христианской церкви, построенной в неороманском стиле. В нашей стране не было социальных классов, люди не делились на богатых и бедных. У нас существовала довольно оригинальная иерархия — против которой имел обыкновение выступать мой отец, — имеющая силу закона. Если для встречи товарища Тито школе предписывалось занять место в центре города, на улице, которая, разумеется, носила его имя, — а такая улица имелась во всех городах, — все сразу понимали, что это хорошая школа. Если же учеников размещали в отдалении, на периферии — как было в моем случае, — значит, школа не считалась хорошей.

* * *

Заледеневшими руками мы толкали девчонок, дергали их за волосы, пинали друг друга, как обычные мальчишки. Взглядом я искал Снежану, которая была моим Тито. Мне больше не было стыдно. Я был готов обсудить с ней все проблемы, которые возникли у нас в отношениях. Наша учительница, метившая на место директрисы школы, привела наш класс первым на предназначенное ему место. Поэтому мы первыми выстроились в

шеренгу. Я дернул за волосы некую Амру, которая заплела их словно крендели булочника Кесича. Когда я сказал ей, что она похожа на дочь булочника, она возразила:

— Мой папа — журналист. Не тот, кто продает журналы, а кто пишет в них статьи.

В этот самый момент мимо нас прошествовал 1«Д» класс. Снежана Видович видела, как я дернул за волосы Амру. Она посмотрела на меня с легкой улыбкой, и издали мне показалось, что она что-то прошептала, прежде чем исчезнуть в толпе. Мне показалось, что она сказала «Я тебя люблю», но я не был до конца в этом уверен. В тот день дул сильный ветер, и возможно, мне просто все привиделось. Позже начался дождь, перешедший в мокрый снег, прежде чем превратиться в привычную сараевскую изморось.

* * *

Внезапно напряжение, вызванное неминуемым появлением товарища Тито, усилилось еще больше. Перед нами пронеслась вереница гудящих «мерседесов» и обрызгала нас водой. Я ошеломленно озирался по сторонам, в то время как толпа аплодировала и размахивала руками.

— Но где же Тито? — спросил я учительницу.

Она дала мне подзатыльник.

— Там, глупый, ты что, его не видишь?! — прошептала она с затуманенным взором.

Моя учительница рассердилась, что я задал ей такой глупый вопрос в тот момент, когда ее экстаз достиг апогея. Тщетно я вставал на цыпочки, пытаясь разглядеть маршала Иосипа Броз Тито, в то время как последний автомобиль удалялся в сторону Баскарсии. Так я впервые не увидел Тито.

* * *

Некоторое время спустя полковник Видович, брови которого напоминали жестяные навесы, получил приказ о переводе в Словению. И моя первая любовь, Снежана Видович, так и осталась, на языке квартала Торица, «незавершенной любовью».

* * *

Поездка к тете Бибе и путешествие на поезде до Варшавы были для меня не только первой вылазкой за пределы Югославии, но также грандиозным зрелищем, сцены которого, за окном нашего купе, сводились к бесконечным въездам в туннели и выездам из них. Свет и тьма, сон и пробуждение, жизнь и смерть.

— Ты слишком много думаешь для своего возраста! — сказала мне мать, когда я поведал ей о своих ощущениях.

В итоге я так утомился наблюдать за борьбой света и тьмы, что мать устроила меня в багажной сетке вместо чемодана, чтобы я мог отдохнуть и поспать. Именно так я и прибыл в Варшаву, лежа в багажной сетке над полкой, в то время как моя мать дремала, опираясь на чемодан, стоящий на ее коленях.

* * *

Тетя Биба была не просто сестрой моего отца. Она оставалась самым влиятельным человеком в его жизни. Когда-то он последовал за ней к партизанам, и после войны она продолжала быть его путеводной звездой. Он не раз гулял в ресторанах Белграда с ее первым мужем, Славко Комарицей, и никак не мог свыкнуться с мыслью, что она вышла замуж за Любомира Райнвайна. В первом браке у моей тети родилась дочь Славенка. Супруги развелись по взаимному согласию после своего возвращения из Берна, где Славко был консулом. Они сохранили дружеские отношения. Славко был очень красивым мужчиной, рассказывали, что мало кому из женщин удавалось перед ним устоять. По возвращении из Швейцарии его обвинили в какой-то финансовой афере.

— На самом деле причиной стал его отказ отречься от матушки-России. С административной точки зрения они не могли его отправить в «Голи-Оток», — объяснил мой отец, считавший, что это дело было сфабриковано.

Комарица был моментально исключен из коммунистической партии. Если бы он не был хорватом, то непременно угодил бы в тюрьму.

* * *

Самым большим удовольствием для тети Бибы было принимать у себя не только близких родственников, но и незнакомых гостей. Подобно большинству людей из нашей среды, она обожала тратить деньги на других, показывая таким образом,

что у нее доброе сердце.

— Приглашать людей к себе и оказывать им гостеприимство — это для моей сестры психологическая подпитка, — говорил мой отец, провожая нас с матерью на вокзал, откуда мы отправлялись в Польшу, где новый муж тети Бибы, Любомир Райнвайн, работал корреспондентом официального югославского информационного агентства ТАНЮГ в Варшаве.

* * *

Дядя Любомир, семья которого была родом из Австрии, хвастался, что его дед заведовал протокольным отделом в Цетине, при дворе черногорского короля Николы.

— Это чистый вымысел, он был поваром при королевском дворе! Бог мой, как же Любомир любит все приукрашивать! — говорила тетя Биба, чтобы у нас сложилось верное представление о предках Райнвайна.

Мы поселились в их квартире в Варшаве. Моя тетя радостно щебетала, а Райнвайн, независимо от того, смотрели на него или нет, старался выглядеть изысканно. Аромат его одеколона навсегда отпечатался в моей обонятельной памяти. Он хохотал во все горло, и смех у него был заразительным. Если во время обеда у него возникала отрыжка, которой он на манер древних римлян отдавал должное вкусной стряпне своей жены, даже в этом случае я ощущал лишь запах одеколона. Со своими аккуратно постриженными усиками, безупречной прической, походкой он сам был похож на заведующего протокольным отделом при королевском дворе.

* * *

Единственной вещью, которая вызывала во мне большее восхищение, чем личность моего дяди, был аппарат под названием «телетайп». Эта волшебная машина могла отправлять письма из Варшавы в Белград. В целях безопасности мой дядя никогда не разрешал мне присутствовать при отправке своих текстов во время работы аппарата.

* * *

Однажды я сидел, словно собачонка, под дверью рабочего

кабинета Райнвайна и ждал, когда он закончит отправлять свои сообщения в Белград, поскольку дядя пообещал отвезти меня в большой магазин игрушек. Отправка текста заняла много времени, и я уснул прямо на полу, устав смотреть на полоску света, пробивающуюся из-под двери. В итоге дяде пришлось поехать на непредвиденный теннисный матч с послом Франции в Варшаве, и в магазин игрушек меня повезла тетя Биба.

* * *

Когда я увидел тысячи кукол, маленьких поездов и самолетов, выставленных на прилавках четырех этажей самого крупного магазина игрушек в Варшаве, я чуть не лишился чувств.

— Ну что, малыш, выбрал, что тебе купить? — спросила меня тетя.

А я с разинутым ртом озирался по сторонам. И, забыв о наставлениях матери и своих твердых намерениях быть скромным, воскликнул:

— Всё, тетушка! Я хочу, чтобы ты купила мне всё!

Смерть — это непроверенный слух

В 1963 году я сделал свои первые шаги в мире кино, разгрузив полтонны угля в подвал одной из югославских фильмотек.

Для обогрева храма кинематографического искусства было приготовлено две с половиной тонны угля. Паша, Ньего, Труман и я вместе выполнили эту работу. Несмотря на то что Паша был самым сильным, он работал меньше всех, что не помешало ему забрать самую большую долю нашего общего заработка. Удивившись, я спросил своего отца, как такое возможно.

— Закон природы, сынок, — объяснил он. — Крупная рыба поедает мелкую рыбешку. Это называют дарвинизмом.

Получив деньги, Паша, Труман и Ньего отправились играть в покер, а я остался в фильмотеке, чтобы посмотреть фильм Жана Виго «Аталанта». Поскольку я сидел на самом краю первого ряда, домой я вернулся с сильнейшей болью в шее.

— Что с тобой? — забеспокоилась мать.

А я думал о Мишеле Симоне, который на корабле показывал главной героине фото обнаженной женщины со словами:

— Это я в детстве!

В том же году мой отец купил в кредит телевизор *«Philips»*. Это приобретение стало настоящим прорывом в общественной жизни обитателей дома номер 16Д по улице Ябушицы Авдо. Тем же вечером в новостях мы увидели кадры убийства Джона Фицджералда Кеннеди.

— Ужас! Такой красивый мужчина! — воскликнула моя мать.

Реакция отца была более сдержанной:

— Все они друг друга стоят. Нет ни одного американского президента, который не развязал бы войну.

— Он-то как раз и не развязал! — возразила мать, встав на защиту Кеннеди.

— Потому что не успел. Говорю тебе, женщина, они все одинаковые.

Соседи, собравшиеся у нас, молча пялились в экран. Сложно было понять, что их больше впечатлило: новость о покушении или то, что они впервые смотрели телевизор.

— Господи, Мурат, есть в тебе хоть что-нибудь, не связанное с политикой? — взорвалась моя мать.

— Во мне — есть, а вот в них — нет!

Отец не любил телевидение.

— Конечно, хорошо вовремя узнавать новости, но каждый вечер впускать к себе непрошеных гостей — это уже слишком…

Разумеется, он имел в виду дикторов и прочих журналистов, которых называл башковитыми. Мне казалось странным, что мой отец злится на гостей, поскольку он всегда любил компанию. Впоследствии я понял, что телепередачи стали для него удобным предлогом, чтобы вспылить, вырваться из дому и закончить вечер где-нибудь в кафе.

* * *

Квартал Горица расположен на холме, возвышающемся над Сараевом. Здесь живут в основном цыгане, которых в городе называют индейцами или черными. С высоты горы Требевич кажется, что Горица лежит на земле. С улицы Тито ее не видно вообще. Если смотреть с Центрального вокзала, создается ощущение, что она парит в воздухе. На этот вокзал мы с Ньего и Пашей ходили курить. Мы дожидались момента, когда поезд трогался с места, и стопкой газет шлепали по голове печальных пассажиров, которые высовывались из окон для последнего прощания со своими родственниками и друзьями. Раздавался забавный звук, и их настроение тут же менялось. Родственники и друзья не могли нас поймать, потому что мы были быстрыми как молния. Пока поезд набирал ход, мы с ближайшего холма со смехом показывали им поднятый вверх средний палец руки. Еще смешнее было рассказывать все это остальным приятелям возле старой бакалеи.

* * *

Что касается меня, в Горице я не нуждался ни в чем. Лишь в первый год я сожалел, что там не было игровой площадки рядом с мостом Гаврило Принципа. Мне нравилось находиться на том самом месте, откуда Таврило выстрелил в австрийского эрцгерцога, — как раз за комнатушкой на улице Войводы Степы, где я родился. Позже я отдалился от Таврило Принципа, чтобы взобраться на вершину Горицы, которую называют Черной горой. Оттуда город виден как на ладони. От места, где стрелял Таврило — которое взрослые прозвали «могилой старика», — до ограды военного госпиталя я насчитал три тысячи тридцать шагов. С другой стороны, от вилл генералов до улицы Дюро Дьяковича, где ездили автобусы и роскошные автомобили, шагов было пять тысяч пятьсот шестьдесят.

* * *

Я всегда останавливался на последней ступеньке улицы Клюцка, поскольку осознавал, что нахожусь на границе, где заканчиваются пригороды и начинается город. Я был похож на каменную статую, нависавшую над вкладчиками с фасада Народного банка. Я с опаской смотрел на город, не осмеливаясь перейти на другую сторону. И вовсе не потому, что боялся нарушить наказ моей матери: «Ты не должен туда ходить, это опасно для жизни. Ты попадешь под машину».

Я не испытывал страха перед смертью, поскольку не знал, что происходит, когда люди умирают. Но какая-то сила удерживала меня по эту сторону границы. Если кто-то из города приходил к нам в гости и называл меня цыганом, я не считал это оскорблением. Все в центре города боялись цыган. Большинство живущих в центре не понимали, почему жители Горицы болеют за футбольный клуб «Сараево». Так называемые индейцы, по логике вещей, должны были поддерживать футбольный клуб «Железникар», расположенный в их квартале.

* * *

Квартал Торица плавно спускался к городу со своими домами, которые выглядели так, словно их разбросали сверху с самолета. С Черной горы взгляд скользил по крышам, тянущимся в сторону города. Там жили бедные люди и горожане, по-прежнему считающие себя крестьянами. Лишь в одной части квартала — где как раз располагался наш дом — жили офицеры *JNA*[19] и служащие.

* * *

С наступлением темноты, когда я торопился домой, из-за изгороди доносилась громкая музыка и совершенно непонятные фразы:

— Мама, достань мне сигареты из холодильника!

Или:

— Брось мне зажигалку из водонагревателя!

Так жители Горицы пытались через забор донести до сведения своих соседей, что уровень их жизни улучшился, несмотря на нищенскую зарплату. Они работали сверхурочно или возделывали клочок земли за пределами города, который все

называли «ранчо». На эти деньги они питались, а на зарплату, когда им удавалось накопить нужную сумму, покупали холодильники и водонагреватели.

* * *

С точностью швейцарских часов каждый вечер мимо старой бакалеи Горицы нетвердой походкой проходил тот, кого Паша называл «рабом любви», — Алия-тряпка. Он был известен в квартале тем, что стирал нижнее белье своей жены Самки и любил пятидесятиградусную ракию[20].

— Алия-тряпка у своей жены под пяткой! — бросал Паша, в последнюю секунду уворачиваясь от кулаков захмелевшего великана.

* * *

Алия-тряпка жил за оградой, на которой висел голубой ржавый номер «54», на улице Краиска. Для мужчины из Горицы стирать белье своей жены означало настоящее унижение. Никто в этом не сомневался, особенно мы, пацаны квартала. На вокзале Алия носил фуражку с номером «14» и таскал в руках чемоданы и прочий багаж. В это время Самка принимала у себя любовников. Алия пил и ничего об этом не знал или прикидывался идиотом.

— Когда хлещешь пятидесятиградусную водку, получаешь то, что заслужил! — говорили соседи.

А мы, мальчишки, бегали за ним и кричали:

— Алия-тряпка у своей жены под пяткой!

Шел ли дождь, падал ли снег, светило ли солнце или свистел ветер, ответ всегда был неизменным:

— Алия имеет вашу мать!

Гигант возвращался с вокзала, держа в руках воображаемый багаж, и, пошатываясь, поднимался по улице Краиска, уверенный, что пятидесятиградусная водка и погодные неприятности ему нипочем.

— Дождь на Алию поливает, солнце его обжигает, ветер стегает, но он ничего не замечает, — бормотал он.

* * *

Прислонившись спиной к ограде дома номер 54 по улице

Краиска, мы встречали осень. Алия отправился на вокзал, и мы со всех ног бросились к дырке в заборе, через которую обычно подглядывали за Самкой. До нас доносилась песня: «Этим вечером сердце рыдает, этим вечером грусть на душе».

Мы толкали друг друга, пока Харо, брат Паши, наблюдал за Самкой.

— Хорошо, милашка. Бог наградил тебя здоровьем! — комментировал он.

Харо держал руку в кармане, и мы слышали его прерывистое дыхание.

— Что она там возится, словно с собственным братом! — Затем он добавил: — Еще, малышка, еще!

Он вращал рукой в своем кармане. Я спросил у Паши, что такое делает его брат.

— Это карманный бильярд, придурок! — ответил он мне.

Когда подошла моя очередь, я приник к дыре в заборе и засунул руку в карман. Я смотрел на Самку, которая, на мой взгляд, не делала ничего особенного, и шарил рукой в кармане, чтобы не выглядеть идиотом. Она сидела в большой ванне, наполненной водой, которая стояла посередине сада, и методичными движениями сплющивала свою грудь ладонями, опуская ее вниз. Она смеялась, довольная своей грудью, которая после этого сама подскакивала вверх.

Мне вспомнился урок истории о Копернике: сколько у него было проблем с Церковью, когда он доказывал существование закона гравитации. И как ему досталось от этой самой Церкви, утверждавшей, что такого явления не существует!

Мои мысли от Коперника вернулись к тому, что происходило в саду. Самка взяла со столика горшок с ветвью, усеянной мелкими помидорами. Она сорвала один, затем второй и так далее. Она клала их между грудями и раздавливала один за другим, брызгая струей томатного сока. Она была похожа одновременно на актрису цирка, репетирующую свой номер, и на обычную домохозяйку. Этот номер сводил ее клиентуру с ума. И сейчас клиент не мог больше терпеть. Его крик раздался над Горицей, как вопль Тарзана в джунглях:

— Аааааа!!!

Затем он прыгнул в облупившуюся ванну, наполненную водой. Теперь настала очередь Самки кричать от наслаждения.

— Это и есть оргазм? — осведомился я.

— Нет, придурок, это приступ астмы, разве не видишь? О-о-о! — ответил Харо.

* * *

Мы наблюдали за садом Алии, словно это был лучший из фильмов. Мы собственными глазами видели, как великан стирает нижнее белье Самки. Никто из нас не сомневался, что однажды Алия застанет свою жену на месте преступления и убьет ее. И мы сможем непосредственно наблюдать за этим убийством. Мы терпеливо ждали этого момента.

* * *

Обычно Алия ничего не говорил. Он также никогда не улыбался. Одни считали его умственно отсталым, другие, наоборот, мудрым. Мы были уверены, что помимо водки и своей кошки Аиды он любил Самку, которая его не любила. Алия гладил кошку, глядя ей прямо в глаза. Кошка млела от восторга. Это могло продолжаться бесконечно, если бы Алия не сумел справиться с избытком своих эмоций.

Однажды, когда кошка лежала на спине и он гладил ее обеими руками, он внезапно схватил ее за шею и задушил двумя пальцами. Мы с Пашей прижались к забору, испуганно глядя друг на друга. Мы слышали, как кошка пищит и задыхается. За изгородью послышался плач Алии, затем над нашими головами пролетел труп задушенной кошки. Пока покойная Аида летела над садами Горицы, над забором показалось лицо Алии. Он плюнул через наши головы вслед животному.

— Алия имеет твою мать! — крикнул он.

Я почувствовал на себе плевок Алии. И почему-то вспомнил, как когда-то меня укусила немецкая овчарка, сбежавшая из военного госпиталя.

* * *

Шокирующая сцена убийства кошки не помешала нам на следующий день снова бежать по улице Краиска и кричать вслед Алие:

— Алия-тряпка у своей жены под пяткой!

Опасность угодить в лапы Алии заставляла нас дрожать от страха, но нас неудержимо тянуло к нему невидимым магнитом, заставляя ходить по лезвию ножа. Словно мы сами были готовы попасть к нему в руки и кончить так же, как кошка Аида.

* * *

В 1963 году зима обрушила на Сараево полтора метра снега. Стояли каникулы, и Паша хвастался перед всеми своей отличной оценкой по математике. В это сложно было поверить, но в его школьном дневнике действительно красовалась запись: «Хаджиосманович Фахрудин, математика — отлично». Ходили слухи, будто он застал учителя математики с Самкой. Последний оказался ее клиентом, и в тот день Паша стоял, приникнув к дыре в заборе. Когда он увидел, как в сад входит учитель Кураица, то не поверил своим глазам. Ведь учитель был женат и имел троих детей. Паша посмотрел, как Самка исполняет свой обычный номер. А когда дело было кончено, подстерег Кураицу у выхода:

— Сечешь, почему ты должен мне поставить «отлично» по математике?

Кураица кивнул.

— Если вздумаешь обмануть, — предупредил Паша, — у меня есть еще два совершеннолетних свидетеля. Все понял?

— Да.

Это вмешательство Паши не понравилось Самке.

— Ах ты, поганец! Не смей трогать моих клиентов, мать твою так-то! — кричала она, пытаясь ударить его ржавой ручкой сковороды, попавшейся ей под руку.

В конце семестра Кураица больше не преподавал математику в школе «Хасан Кикич». Его перевели на соседний холм, где он продолжил свою деятельность в школе «Миленко Цвиткович».

* * *

Однажды я пересек невидимую границу между периферией и городом и отправился на фильм «Птицы» Альфреда Хичкока в кинотеатр «Рабочий». Фильм не казался таким уж страшным, но время от времени в зале раздавались комментарии:

— Ну что, наложил в штаны, братишка?

— Да, но только не в штаны, а под окном твоей матери!

Бимбо по прозвищу Спрей положил конец перебранке, включив свет. Показ остановился, затем охранники кинотеатра отработанными движениями схватили нарушителей, чтобы передать их полиции. Бимбо сначала опрыскал Силью своим дезинсекционным спреем, после чего выпроводил из зала вместе с тремя остальными «индейцами». Когда появились полицейские, публика перестала свистеть, и можно было услышать, как летит муха. Затем свет погас, и все зааплодировали. Как только показ продолжился, кто-то в глубине зала смачно выпустил воздух. С первого ряда Ибро Зулич бросил:

— Молись, чтобы такую музыку сыграли на твоей могиле!

Первые кадры произвели такой эффект, которого не смогли добиться ни Бимбо Спрей, ни полиция. Тишина воцарилась в зале в тот самый момент, когда на экране женщина остановилась возле школы, расположенной где-то в американском пригороде. Ее взгляд устремился к электрическим проводам. Она увидела сначала одну птицу, потом нескольких. Их становилось все больше и больше. И когда они начали резко снижаться над школой, в зале установилась мертвая тишина. На экране испуганные школьники бежали к школе, преследуемые птицами. Именно этот момент выбрал Харо, младший брат Паши, чтобы вытащить из-за пазухи своего пальто двух голубей, которых он бросил в зал, издав безумный вопль Тарзана. Пока люди с криками бежали к выходу, Паша орал изо всех сил, стараясь перекричать стук деревянных кресел:

— Ну что, уроды, сдрейфили?

* * *

В этом году зима была такой суровой, что мать не уставала повторять:

— Вот это, сынок, принято называть собачьим холодом!

Для фильмотеки была заказана дополнительная тонна угля.

Паша больше не хотел заниматься грязной работой. Ньего подстраховывал уличных торговцев возле рынка в Марьином дворе. Эту тонну угля перебросал в подвал фильмотеки за рекордно короткое время Алия-тряпка, и благодаря ей он пережил настоящее любовное потрясение, став жертвой мирового кинематографа. Алия посмотрел фильм с Клодетт Кольбер и Кларком Гейблом в главных ролях под названием «Это случилось однажды ночью». Любовь между Клодетт и Кларком наполнила его сердце теплом. Некоторые утверждают, что в тот момент на его лице впервые появилась улыбка. Счастливая любовь, восторжествовавшая, несмотря на все перипетии, наконец согрела его душу. Больше всего ему нравился момент, когда Кларк Гейбл улыбался и целовал Клодетт. Она не возражала, и Алия подумал, что целовал свою жену всего два раза в жизни. Первый раз — на свадьбе, второй — когда умерла Седья, мать Самки. Когда он вышел из кинотеатра, все смешалось в его голове. Теперь он знал, что ему нужно отрастить усы. Тонкие и изящные, от носа до уголков губ. Но больше всего он думал об улыбке Кларка Гейбла.

* * *

Отныне мы смотрели, как он взбирается по заледеневшей улице с неизменной улыбкой на губах.

— Он похож на бабуина, которому дали орехов в Долине пионеров, — усмехался Паша.

Алия-тряпка ходил в фильмотеку еще два раза, поскольку у него оставались билеты за разгрузку тонны угля. В другом фильме Кларк Гейбл целовал вовсе не Клодетт Кольбер, а совершенно незнакомую актрису. Не в силах вынести измену Кларка Клодетт, Алия решил больше не ходить в кино.

* * *

Той же зимой на большое сердце и маленький мозг Алии-тряпки обрушились великие события. Сначала Самка сбежала в Загреб вместе с коммивояжером Михальо Джорджевичем. Несчастье и суровая зима заставили Алию пить больше обычного. Единственной вещью, согревавшей ему сердце, помимо пятидесятиградусной водки, был образ Кларка Гейбла с его усиками, который напоминал ему счастливый конец фильма «Это случилось однажды ночью». Размышляя о невзгодах, преследующих его всю жизнь, Алия задавался вопросом, почему Господь не дал ему умного и богатого тестя, как в этом знаменитом фильме. Там, в хеппи-энде, богатый отец призывает свою дочь убежать с собственной свадьбы, чтобы воссоединиться со своим любимым. В реальной жизни Алии жена оставила его, даже не попрощавшись.

На вокзале, где мы с Ньего и Пашей подстраховывали незаконных перекупщиков — Томислава из квартала Ковацица и Деду с торговой площади, — пассажиры обходили Алию стороной. На его лице сияла привычная улыбка, и от него за версту несло водкой.

* * *

Вечерами мы продолжали его преследовать на улице Краиска, крича:

— Кларк Гейбл стирает трусы своей Клодетт!

— Дождь на Алию поливает, солнце его обжигает, ветер стегает, но он ничего не замечает, — неизменно отвечал он.

Мы шли за ним по пятам и орали:

— Алия-тряпка у своей жены под пяткой!

Он оборачивался и бросал:

— Кларк Гейбл имеет вашу мать!

Той ночью выпал снег.

Затем пошел дождь, и наконец выглянуло солнце. Обманчивое мартовское солнце, быстро скрывшееся за огромной тучей, вернувшей зиму назад.

* * *

Пока жизненные невзгоды преследовали Алию-тряпку, в кинотеатре «Радник» шли новые фильмы, с более легким содержанием. В пятницу, в одиннадцать часов вечера, молодежь из кварталов Коваца, Марьин двор и Хрид хлынула в кинотеатр. После показа фильма «Убей всех и беги» между Пашей и Кенаном с Косевского холма возникла потасовка. Несмотря на сомнительный исход драки, мы считали, что Паша как следует поквитался с Кенаном.

* * *

Алия-тряпка провел лето в центральной тюрьме за нанесение побоев знаменосцу первого класса в отставке. Это случилось в вокзальном буфете, где обвиняемый и пострадавший пили ракию. Все шло хорошо до того момента, пока знаменосец не заподозрил Алию в том, что тот над ним насмехается, чего военный человек его положения стерпеть не мог. Сначала знаменосец сказал, что не любит, когда всякие уроды строят ему гримасы. И еще больше оскорбил Алию, заявив, что тот похож на бабуина, который улыбается, когда ему дают орехи. Алия отсидел свой срок без инцидентов, затем его брат, как сказал Кроха, забрал его к себе в Високо. Этот Кроха прославился тем, что остался в живых после падения с вертолета. Брат увез к себе Алию, чтобы тот скорее восстановился. Там Алия довольно быстро пришел в себя, но вскоре снова принялся за старое. Позже он вернулся в Сараево, где его состояние настолько ухудшилось, что даже мы молча смотрели ему вслед, когда он зигзагами поднимался по улице Краиска. В то время кинотеатры Сараева перестали демонстрировать фильмы с участием Кларка Гейбла. С Ритой Хейворт — тем более. А с Клодетт и Кларком — больше никогда. От Самки не было никаких вестей…

* * *

Мы возвращались из кинотеатра «Радник», где показывали фильм «Самый длинный день». Фильм шел три с половиной часа. Мы решили, что это также самый длинный фильм за всю историю кинематографа. Когда мы проходили мимо кинотеатра «Сутьеска» на улице Горуса, я остановился, чтобы затем измерить эту улицу, поднимающуюся к Черной горе. От начала улицы до адвентистской церкви я насчитал триста тридцать шесть шагов. Слабый свет падал на каменные ступеньки, на которых я различил чье-то лицо. В темноте лежал мужчина.

Он не шевелился. Охваченный паникой, я помчался за Пашей. Он прибежал, приник ухом к сердцу мужчины и сообщил:

— Замерз наш Кларк Гейбл!

Стояла зима, и Алия сохранил свою улыбку. Пока мы несли его легкое холодное тело к дому номер 54 по улице Краиска, меня обдало жаркой волной. Я думал об Алии, которого поливал дождь, обжигало солнце, стегал ветер, но он ничего не замечал. От разорванного плаща несло водкой. В кармане я нашел фотографию Кларка Гейбла, улыбающегося Клодетт. Черно-белая фотография была смята. Лишь вернувшись домой, я принялся плакать и не мог объяснить матери причину своих слез. Она настояла на том, чтобы я закрыл глаза и начал считать овец, надеясь, что так я усну. Но мои глаза отказывались закрываться, они смотрели на акацию, гнущуюся под ветром, на ее шелестящую листву, в то время как крепления бельевой веревки скрипели с монотонным звуком, который усиливал мой страх смерти.

* * *

Перед рассветом из Белграда на скором поезде «Босна» приехал отец. Он разобрал чемодан и положил свои брюки возле меня на диван. Он поцеловал меня, и я притворился, что сплю, несмотря на то что мое сердце билось так сильно, словно я пробежал стометровку. Отец развязал галстук, снял пиджак и направился к холодильнику. Пока он доставал оттуда кастрюлю с остатками холодной еды, я произнес сквозь слезы:

— Я видел мертвого человека!

Поставив на плиту кастрюлю с фаршированными виноградными листьями, он подошел к дивану, сел рядом со мной и тихо сказал:

— Смерть — это непроверенный слух, сынок.

Я взволнованно смотрел на отца, а он улыбался.

— Никто еще не умирал для того, чтобы проверить, что там

на самом деле происходит, и никто не вернулся сюда, чтобы все нам рассказать. Не думай больше об этом. Тетя Биба приехала из Варшавы. Она передает тебе привет и джинсы *«Levis Strauss»*.

Я во все глаза смотрел на отца, держа в руках свои первые джинсы. И со скоростью Гагарина, несущегося через космическое пространство, принял мысль о том, что смерть — это непроверенный слух.

— Как поживает тетя Биба? — спросил я отца, в то время как он вытирал мне слезы тряпкой.

— Как она может поживать? Они вернулись из Варшавы и, представь себе, застали семейство Райнвайнов в своей квартире на площади Теразие! Была договоренность, что они присмотрят за квартирой в их отсутствие, но по возвращении хозяев из Варшавы тут же вернутся к себе. Но, судя по всему им очень понравилось жить на площади Теразие, и Биба опасается, что не сможет их выселить даже при помощи бульдозера!

— Как это — не сможет выселить? А дядя Любомир что говорит?

— Да ему на это плевать. Он целыми днями играет в теннис с генералами в престижном квартале Динье, тогда как моя сестра вся извелась. Бедняжка поселилась в отеле «Балкан» и плачет днями напролет, ожидая пока шайка Райнвайнов освободит ее квартиру.

— А что они говорят, у них есть какое-то объяснение?

— Что говорят? Заводилой у них его мать: «Любомир все равно получил новое назначение в Прагу корреспондентом ТАНЮГ, и нам опять придется присматривать за квартирой. Поэтому им проще провести месяц в гостинице, чем нам бесконечно переезжать с места на место!» У меня возникает непреодолимое желание сломать нос этому Любомиру и вырвать ему усы! Он женился на моей сестре только из-за выгоды!

— А почему мужчины женятся на женщинах, когда нет никакой выгоды? — спросил я, сделав вид, что понимаю проблемы взрослых.

— Из-за любви, разумеется!

— Получается, что дядя Любомир не любит тетю Бибу?

— Любомир Райнвайн? Да он любит только свою собственную физиономию!

* * *

Мне было трудно поверить в то, что мой отец говорит о дяде Любомире. Поскольку в моем воспоминании по-прежнему

присутствовал запах одеколона дяди, а также потому, что он умел выразительно молчать, создавая впечатление серьезного мужчины, постоянно размышляющего о чем-то важном. Я не держал на него зла за то, что от долгого ожидания уснул под его дверью, ни за то, что он так и не свозил меня в самый крупный магазин игрушек Варшавы. Я понимал, что информация, циркулирующая между Варшавой и Белградом, была намного важнее. И потом, мой дядя обладал искусством превращать самые простые действия в деяния чрезвычайной важности.

* * *

В то утро, когда моему отцу удалось изгнать мой страх смерти, я понял, что в жизни мальчика отец играет первостепенную роль. Что бы ни говорили ребята Горицы, любившие клясться «своим покойным отцом», чтобы придать себе значимости. В своей погоне за авторитетом многие произносили эту клятву, несмотря на то что их отцы были живы и здоровы.

То, что наверху, — внизу. То, что внизу, — наверху

В 1967 году Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе. Год спустя футбольный клуб «Сараево» стал чемпионом Югославии. В том же году песня Тома Джонса «Дилайла» стала настоящим хитом[21]. Когда парень хотел сказать девушке: «Ты сводишь меня с ума, ты — супер», он говорил ей: «Малышка, ты — Дилайла!»

Вся молодежь мечтала обуться в *«Madras»* и *«Brooks»*. Повсюду в мире стали модными ботинки *«Brooks»*. Ребята носили их, чтобы танцевать и кадрить девчонок. У нас они пользовались популярностью совсем по другим причинам: если хорошенько врезать заостренным мысом ботинка *«Brooks»* по голени противника, исход драки решался в первую же минуту. После такого удара ему оставалось лишь прыгать на своей здоровой ноге и стонать:

— Остановись, ради твоей матери, хватит!

Однако в банде остались типы старой закалки, которые хранили верность «сантьягам»[22] Ньего, самый маленький из нас, безошибочно целился в голень своими «сантьягами». Удар был настолько болезненным для противника, что он тут же выходил из игры.

— Ну и что ваши дерьмовые «бруксы»? Сплошная показуха! Вот когда острый мыс моего «сантьяга» впивается в ногу, искры из глаз сыплются!

* * *

В том году я играл в футбольной команде «Пионеры Сараева» в матче, предшествующем встрече «Сараево» — «Олимпиакос» на чемпионате Европы по футболу. Два моих маневра вызвали аплодисменты зрителей, которые заполнили стадион «Косево», не оставив ни одного свободного места, как любил говорить спортивный комментатор Мирко Каменьясевич. В первый раз я провел мяч между ног защитника команды противника, а во второй раз осуществил двойной пас пяткой вместе с Бркой Ферхатовичем, племянником знаменитого футболиста Асима Ферхатовича. После окончания матча тренер Младлен Стипич попросил меня обратиться к нему весной, когда я немного окрепну.

Весной я не стал напоминать ему о себе, поскольку знал, что

дело вовсе не в моей силе.

— Ты хорошо играешь, у тебя есть мозги, ты сообразителен, но ты — мальчик из хорошей семьи, а не парень с улицы. Для тебя футбол — всего лишь развлечение, ты не вкладываешь в него душу, лучше посвяти себя учебе, — ласково посоветовал мне помощник тренера Срболюб Маркусевич.

* * *

Это было время, когда студенты всего мира выступали против несправедливости. В Сараеве молодежь тоже старалась не отставать от своих ровесников с Запада. На экономическом факультете, следуя примеру коллег из Колумбийского университета, студенты организовывали акции протеста, распевая: *«All we are saying, is give peace a chance»* и раскачиваясь вперед, назад, вправо, влево. Загвоздка состояла в том, что они не знали текста всей песни, поэтому продолжали так: «О! Лола, Лола, тебе известно, что я не миллионер…» — словами из песни Владимира Савчича по прозвищу Чоби[23].

* * *

Армандо Морено был невысоким мужчиной, сварливым, но привлекательным. У него были крупные глаза, большой нос, широкий рот и несколько редких волосинок на лысом черепе в форме яйца. Он работал в филиале югославской авиакомпании *JAT*. Армандо часто бывал у нас в гостях. Он играл неаполитанские мелодии на своей гитаре, и, что удивительно, на обеих руках у него были татуировки. Мне казалось немыслимым, что человек, не относящийся к цыганам, может носить татуировки.

— Понимаешь, сынок, он — еврей, он был в концлагере Дахау, — объяснила мне мать.

Однажды в воскресенье, когда Морено был у нас дома и пел песни Адриано Челентано, я ввалился в коридор, преследуемый тремя ребятами из клана Сейдичей, которые собирались задать мне взбучку. Я отвязал их трехколесный мотороллер и пустил вниз по улице Горуса. На моих глазах он разбился о стену Военного госпиталя. Я сделал это в отместку за то, что члены шайки Сейдичей вымогали у меня плату за вход в старую бакалею.

Неожиданно Армандо схватил меня за руку, вывел на

лестничную клетку и быстро уладил конфликт своим громовым голосом. Чтобы прогнать Сейдичей, он орал так, что в серванте звякала посуда. После этого он привел меня обратно в столовую, погладил по волосам и усадил к себе на колени, хотя я был выше его ростом. Затем он затянул песню. Все принялись хлопать в ладоши в такт песне *«Venti quatro mille baci!»*. Даже мои отец с матерью обнялись и раскачивались влево и вправо. Морено взял в руки гитару. Всякий раз, когда он брал новый аккорд, на его левой руке показывался вытатуированный номер. На другой руке была изображена татуировка в виде двух наложенных друг на друга треугольников.

— Куда ты все время смотришь? Это звезда Давида, — пояснил он, когда заметил, с каким интересом я ее рассматриваю. — Давид был еврейским царем, — уточнил он, заметив мое удивление.

Я спросил его, что означают эти треугольники.

— Вставай, я тебе объясню, — ответил он.

Когда я встал, он указал пальцем на ширинку моих брюк.

— То, что внизу…

Я быстро опустил голову и покраснел как помидор, потому что все смотрели на меня.

—…также находится наверху, — сказал он, показав на верхнюю часть моей головы.

Я взволнованно переводил взгляд с его ширинки на голову и обратно, в то время как он повторял:

— Стало быть, то, что наверху, также находится внизу.

Смутившись, я не стал дожидаться окончания и с горящими щеками бросился прочь из дому под всеобщий взрыв смеха. И помчался на самый верх Горицы.

* * *

Я отправился туда той же дорогой, какую однажды выбрал просвещенный воитель Мустафа Мадьяр, чтобы спуститься в Сараево. Там, на турецком базаре, он был убит неизвестным мерзавцем, что только подтвердило мнение Мустафы о том, что мир полон зла.

* * *

Примчавшись на Черную гору, я остановился и прислушался. Все мое тело содрогалось от ударов сердца и древней еврейской

мудрости: «Что внизу — то наверху, что наверху — то внизу». Я сел и принялся разглядывать Сараево, который был внизу, и небо над ним. Вскоре опустилась ночь, и постепенно в городе зажглись огни. Несколько влюбленных парочек из Торицы попали в поле моего зрения. Это было похоже на любовную туристическую экскурсию к «могиле старика». После таких экскурсий женщин называли «несчастными».

Я взобрался на самую вершину, прямо над могилой. Я не мог четко видеть, что было наверху, а что внизу. Хотя вокруг не было ни души, я убедился, что никто на меня не смотрит, и опустил голову вниз. Теперь Сараево был наверху, а небо — внизу. Я оставался в такой позе, пока у меня не заболела шея. Затем, когда я выпрямил голову и она заняла свое привычное положение, все вернулось на свои места: Сараево был внизу, а небо — наверху. Бросив взгляд на «могилу старика», я увидел, как одна «несчастная» удаляется в компании более взрослого парня. Я со всех ног бросился к могиле, решив и там опробовать свой метод. Мне очень понравилось разглядывать так церковь в Марьином дворе и поезда, плывущие высоко над землей, в то время как бездонное небо расстилалось внизу. Впервые в своей жизни я понял, что еврейская мудрость звезды Давида воплотилась в образе моего родного города. Почему мне пришлось перевернуть все вверх ногами, чтобы эти вещи предстали передо мной так отчетливо? То, что было внизу, также находилось наверху, то, что было наверху, также было и внизу. Стояла ночь, и мой мозг переполнился кровью.

* * *

Паша, Харо, Ньего и я сидели, прислонившись к «могиле старика». Было очень жарко, и мы решили наконец перестать быть детьми. Перед нами стоял бидон красного вина. Мы курили сигареты «Герцеговина» без фильтра. Бидон переходил из рук в руки. Солнце было в зените, и Паша спросил нас, пьяные ли мы. Когда мы ему ответили, что нет, он ухмыльнулся.

— Тогда будем пить вино маленькими глотками, мой брат так пробовал, — сказал он. — Так быстрее захмелеешь.

Мы принялись медленно потягивать дешевое вино. Очень быстро нас одолел неудержимый смех, а затем закружилась голова. Мы двигались по заросшей травой тропинке, как три сомнамбулы, пошатываясь каждый в свою сторону. В итоге мы упали, сраженные плохим вином и обжигающим солнцем, и погрузились в сон. Глубокий мужской сон. Мы больше не хотели

быть детьми.

Мы проснулись целую вечность спустя, когда девочки из Банья-Луки[24] высадились в Сараеве. Их дома и школы разрушило землетрясение, и они приехали в наш колледж, чтобы наверстать школьную программу.

Пока они высаживались из автобусов и перетаскивали свои вещи в дом отдыха, мы наблюдали за ними, чтобы заранее выбрать ту, которую каждый из нас поведет к «могиле старика». У Паши уже была своя Мирсада, для него она значила столько же, сколько для меня Снежана Видович, только у них была так называемая завершенная любовь. С немалой долей осложняющих обстоятельств. Все эти девочки, только что прибывшие из Банья-Луки, были потенциальными «несчастными». Мне понравилась Невенка, а Харо — Мелиха.

* * *

Вьекослав Сепаревич, отвечавший за социальную помощь, пришел на урок сербохорватского языка, чтобы прочитать нам лекцию о том, что мы должны проявить человеческое сочувствие к нашим гостям из Баньи-Луки:

— Эти семьи лишились крова, их дома были разрушены сильнейшим землетрясением. Наше государство решило вопрос с их временным жильем. Со своей стороны постарайтесь протянуть им дружескую руку помощи. Как настоящие товарищи. Протяните им руку, чтобы я не сломал вам ноги, — в штуку добавил он, несмотря на свой серьезный вид.

Что касается последней фразы, мы поверили ему на слово. Прежде чем уйти, ответственный социальный работник сказал тоном, не терпящим возражений:

— И прошу вас, никакой близости между мальчиками и девочками, вы уже не дети. Одно бесконтрольное прикосновение может привести к более тесному контакту, который может закончиться преждевременной эякуляцией и, не дай бог, положить начало новой жизни.

Месяц спустя мы узнали, что его арестовали за расхищение казны скаутов подразделения Саво Ковацевича, которым он заведовал. И тогда нам стало понятно, что отныне близость разрешена, так же как и «эякуляция», хотя не совсем понимали значение этого слова.

* * *

То, что наверху, — внизу, то, что внизу, — наверху! Я сидел на «могиле старика», тщательно сосредоточившись, поскольку ждал Невенку. Я размышлял над тем, что мужчина и женщина могут рассказывать друг другу, когда остаются наедине. Мне никак не удавалось придумать, с чего начать разговор… Спросить, есть ли у нее брат? Интересно, ее родные живы? Сколько ей лет? Или сменить тему разговора? Я опасался, что плохо разглядел ее. Что она показалась мне красивее, чем была на самом деле.

* * *

Внезапно показалась она. Оцепенев, я не сводил с нее глаз и сразу увидел, что она была не так красива, как я себе представлял. Но и дурнушкой ее нельзя было назвать. Ее грудь была больше, чем мне показалось вначале, когда я стащил у нее рогалик на перемене. Она спросила, сколько мне лет, и я ответил:

— Четырнадцать.

— Ты выглядишь старше, — удивилась она.

Я промолчал.

Она посмотрела в сторону города. Я чувствовал, как мое волнение нарастает.

— У тебя красивые глаза, — произнесла она.

Я смотрел на нее, открыв рот, как Белин, вратарь «Динамо», когда Асим Ферхатович неожиданно оказался в его воротах на стадионе «Максимир» в Загребе и «Сараево» выиграл у «Динамо» со счетом 3:1.

Я не мог выдавить из себя ни слова. Ответить ей комплиментом? Если я скажу: «У тебя тоже красивые глаза», она решит, что я над ней издеваюсь. Ее лицо было повернуто к городу. А я бы сейчас предпочел оказаться где-нибудь в Гренландии, но не на «могиле старика».

Первая фраза, которую я произнес по собственной инициативе, прозвучала жалко. У меня пересохло в горле, поэтому я решился:

— Что-то так пить хочется! Не знаю, что со мной.

Она на секунду обернулась ко мне:

— Так странно, у вас здесь нет реки, а вы пьете лучшую воду в мире. У нас, в Банье-Луке, рядом протекает Врбас, но мы почему-то пьем плохую воду.

Невенка подошла ко мне, взяла мою руку и посмотрела мне прямо в глаза. По ее взгляду я понял, что она намного старше меня. Я слегка отодвинулся, сделав вид, что страдаю

близорукостью.

— Я тебя лучше вижу, когда ты не так близко.

Она продолжала держать меня за руку и улыбаться. Я прислонился к могиле и ощутил короткое облегчение от прикосновения к прохладному камню. Невенка снова приблизилась и поцеловала меня в уголок рта. Я отработанным движением опустил голову вниз, словно собирался встать на руки, опираясь на камень. Она рассмеялась и спросила:

— Что с тобой, дурачок?

* * *

В этом положении я смотрел на свой любимый пейзаж, в котором все было наоборот. Сараево плыл в небе, а небо — на месте Сараева. Ночь была полна звезд, и картинка получилась очень красивой. И внизу, и вверху все блестело. Я ощутил невероятную легкость. Впервые в жизни я больше не чувствовал своих мышц, что придавало мне непривычное ощущение невесомости. Подобно индейцам, танцующим вокруг костра, я твердил:

— Что внизу — то вверху, что вверху — то внизу.

Я больше не пытался постичь еврейскую мудрость. Я стоял вниз головой и слушал Невенку.

— Что ты там бормочешь? Иди ко мне!

Город полностью растаял в звездной глубине неба. Словно два треугольника слились в звезде Давида. Я перестал осознавать происходящее, меня больше ничего не беспокоило. Я почувствовал, как кровь разливается по всему моему телу. Сверху вниз, снизу вверх. В своих руках я держал зрелую грудь женщины. Сосок был похож на конфитюр на сдобной булочке. Я смотрел то налево, то направо, как в игре в пинг-понг. Тогда Невенка взяла мою руку и опустила ее вниз. Моя кровь устремилась кверху. Я посмотрел вниз и вспомнил Армандо Морено и песню *«Venti quatro mille baci»!*

Через год после того, как я узнал тайну звезды Давида, первый человек ступил на поверхность Луны. В Горице утверждали, что это был обычный голливудский трюк. Говорили, что все было снято в Сахаре и что Армстронг никак не мог побывать на Луне. Так считали те, кто поддерживал русских в оппозиции блоков в разгар «холодной войны».

— Можно подумать, что Гагарин, первый побывавший наверху, не мог бы пройтись по Луне!

Один из соседей, родом из черногорского карстового региона,

презрительно комментировал это событие:

— Что, так необходимо было лететь за камнями на Луну? У нас в Даниловграде этих камней столько, что девать некуда!

* * *

Я принадлежал к меньшинству Горицы, верившему в то, что человек действительно побывал на Луне. Не потому, что я был умнее других, просто меня не привлекали простые решения — я всегда предпочитал сложные пути. После трагической гибели Юрия Гагарина мой интерес к Вселенной резко упал. В ту пору меня гораздо больше привлекало то, что находится внизу, чем то, что было наверху.

* * *

— Мурат, — вздыхала мать, глядя по телевизору на двух американцев, прогуливающихся по Луне, — люди уже на Луну полетели. А мы когда переедем на новую квартиру?

Отец делал вид, что спит, и это побуждало мать настаивать и приводить доказательства тягот жизни в Горице.

— Никогда ты не добьешься того, что тебе положено, попомни мои слова! Только подумать, помощник министра информации живет в полуторакомнатной квартире!

Мурат конечно же не спал. Вытянувшись на диване, он одним глазом смотрел на прогулку по Луне, а другой держал закрытым. Так он надеялся избежать очередного нравоучения Сенки.

— Господи, Мурат, неужели я обречена до конца своей жизни кипятить воду, чтобы принять ванну, и разжигать печь, чтобы согреть квартиру? Кто-нибудь надо мной сжалится, наконец? — причитала Сенка. — Разве я не имею право на центральное отопление?

— Право имеешь. Осталось лишь его применить! — возразил отец, который устал прищуривать один глаз и молчать.

— Мало тебе моих мучений, еще и издеваешься надо мной?!

— Не гневи небеса, Сенка, нужно уметь довольствоваться тем, что имеешь. Представь, что однажды кто-нибудь нам скажет, подобно евреям, посылающим кому-нибудь проклятия: «Чтобы Бог дал тебе все и забрал у тебя все!» Поскольку у нас ничего нет, нам и терять нечего.

Было сложно вести подобные беседы с моим отцом. Для него обсуждение крупных исторических событий значило куда больше,

чем все эти ничтожные пустяки: квартира, отопление и прочие бытовые проблемы. Когда они накапливались, он отправлялся в мыслях и словах далеко, на другие континенты:

— Ты, Сенка, без конца говоришь, что нам трудно живется, но подумай о тех, кто живет в Африке, подумай о Патрисе Лумумбе и его бедняках!

— Твой сын уже учится в лицее, разве он не имеет права на свою комнату? Вот что меня интересует, а не жизнь этого Румумбы!

* * *

В итоге мы все-таки переехали на улицу Каты Говорусич, в дом номер 9 А. Переезд с окраины в центр города, из полуторакомнатной квартиры в квартиру, состоящую из двух с половиной комнат, произошел, когда у Мурата больше не осталось сил слушать вечные упреки Сенки. Он обратился к своему министру Мирко Петриничу, который помог ему получить социальную квартиру большей площади. На решение моего отца о новой квартире повлияло также то, что он любил готовить и приглашать к себе толпы гостей. Теперь он мог готовить им мясо с овощами огромными кастрюлями, а у меня появился свой уголок — та самая половина комнаты. Нам никогда не удавалось получить квартиру без этого дополнительного довеска в полкомнаты. Думаю, что эта формулировка появилась благодаря ловкости экономистов Тито. Они называли вещи своими именами. Две с половиной комнаты вместо двух, тогда как по общей площади выходило то же самое, выглядели более привлекательно. Только было невозможно понять, из чего складывалась эта половина комнаты. Так же, как не представлялось возможным увидеть разницу между тремя комнатами и двумя с половиной. Но судя по всему, она все-таки была. Как бы то ни было, я снова унаследовал эту самую половину. Моя комната была отделена от коридора застекленной стеной, похожей на большой дверной проем. Сенка сшила плиссированные шторы, которые больше подошли бы дворцу, чем квартире из двух с половиной комнат. Она повесила их над проемом из матового стекла, чтобы, как она выразилась, создать мне условия интимной жизни.

— Только посмотри на эти шторы! Они светятся как лампа, правда?

— Да, совсем как лампа!

Я не имел ничего против комнаты или против штор, которые,

к слову сказать, смотрелись неуместно в нашей маленькой квартире. Мне смущало слово «лампа». Какая еще лампа? Как можно сравнивать шторы с лампой? Лампа висит на потолке, а шторы свисают вдоль стены! Но я счел нужным промолчать, чтобы не испортить редкие моменты счастья моей матери.

* * *

Тем не менее эта новая комната не обладала достаточной притягательностью. Отныне чаще, чем обычно, я бегал в Горицу к Паше, Труману, Ньего и Харису. Вместе мы проводили большую часть своего времени у старой бакалеи, поскольку одним из преимуществ улицы Каты Говорусич была ее небольшая удаленность от моего бывшего квартала. Я проходил перед небоскребом, пересекал улицу Дюро Дьяковича, поднимался по улице Клюцка и через секунду был уже в Горице.

В один прекрасный день Паша переехал в Свракино Село, и вся компания решила перебраться в кафе «Сеталист», которое стало нашей новой штаб-квартирой. Ему тоже было проще приходить на улицу Дюро Дьяковича, где располагалось кафе, чем подниматься к Горице.

Так «Сеталист» стал нашим салуном. Один из нас заказывал кофе, другой — яйцо всмятку. После этого мы могли сидеть в кафе целый день, и официанты не ворчали, что мы ничего не заказываем. Довольно быстро мы подружились с Зораном Биланом, Сладьей, Златаном Мулабдичем и Покой, которые называли нас индейцами, поскольку мы пришли из Торицы. В итоге «Сеталист» стал хорошим решением. Кафе располагалось прямо под Торицей, там, где начинался город, благодаря чему нам не нужно было пересекать границу между центром и так называемой цыганской трущобой. К тому же близость Второго лицея позволяла нам незаметно наблюдать за девчонками, словно они были нам безразличны.

* * *

Наша новая квартира стала великим творением жизни моей матери. Она взяла кредит, заняла немного денег в кассе взаимопомощи на факультете гражданского строительства и купила мебель. Трехместный диван с бархатной обивкой и два гармонирующих с ним кресла, комод для телевизора и стол в столовую: на нем она расстелила кружевную скатерть, которую

сшила уже давно. Предел давних тайных мечтаний Сенки.

— Наконец-то! В своем уютном гнездышке! — воскликнула она, когда ее желания воплотились в реальность.

Она прикрыла китайский тканый ковер, самый дорогой предмет обстановки, большим куском прозрачного целлофана, чтобы, как она говорила, не испачкать его.

— Мы садимся, едим, что-нибудь всегда падает на пол. Зачем платить за сухую чистку, когда можно прикрыть его пленкой? Мой Мурат, когда ест, разбрасывает еду повсюду. А уж когда готовит, это настоящая катастрофа, даже балкон оказывается замызганным, такой он неаккуратный, — рассказывала она своим новым соседкам, когда они вместе пили кофе.

Я назвал это изобретение Сенки «борьбой с быстрым и неумолимым разрушением дорогих ее сердцу вещей».

В день переезда нас ждал другой сюрприз от Сенки. Предчувствуя, что ее мечты о «человеческих условиях проживания» все же сбудутся, мать уже больше года вышивала большой гобелен фирмы *«Villeroy»*. Поэтому первое, что мы сделали, вселившись в квартиру, это повесили большой тяжелый гобелен, вышитый мелкими стежками, на котором был изображен фиакр, удаляющийся по лесной дороге.

— Посмотри, Эмир, вот тропа жизни, указывающая путь. А в этом фиакре сидим мы, путешествуя по жизни, и кто знает, куда нас выведет эта тропа. Настоящий символизм! — сказал мне отец, прежде чем добавить в адрес матери: — Сенка, снимаю шляпу, ты создала прекрасное произведение.

Мелодраматичный тон моего отца, подобно гобелену моей матери, свидетельствовал о романтической жилке Мурата, которую он так старательно скрывал от наших глаз.

* * *

В 1969 году дом моего деда на улице Мустафы Голубича был продан. Некоторое время спустя его снесли, чтобы расширить Дом культуры полиции. Так навсегда исчезла обветшалая вилла барона, замок, в котором разворачивались важные события моего детства. Все, что было связано с жилищем семьи Нуманкадичей, отныне стало неотъемлемой частью нашей памяти, и наши души навсегда остались пропитаны ее благородной атмосферой.

После сноса семейного гнезда первые эпизоды моей жизни начали забываться, в то время как новые уже давали о себе знать.

* * *

Деньги от продажи дома были поделены на четыре равные части: двум сестрам, брату и моим бабушке с дедушкой. На эту сумму они купили себе квартиры в квартале Храсни. Хуже всех перенес переезд дедушка. Не склонный к суете, угнетенный всеми этими хлопотами, он отказывался ходить.

— Эдо, отвези меня в Горний Вакуф, я хочу умереть там, где родился! — сказал он моему кузену Эдо.

Пытаясь поднять ему настроение, Эдо обернул все в шутку:

— Не умирай, пока я не получу свой диплом. Тебе сначала придется отправить меня в Париж, чтобы я увидел Мону Лизу, а потом подождать еще десяток лет, только тогда мы сможем с тобой расстаться.

— Что касается Парижа, я отложил деньги, можешь ехать хоть завтра, если хочешь. А с учебой ты должен немного поторопиться. Если будешь продолжать в том же духе, мне придется послать Создателю наверх новую просьбу об отсрочке. И если Он смилостивится, у меня будет надежда, что я доживу до получения твоего диплома.

Дедушка был счастлив, что деньги от продажи дома пойдут на благое дело. Его дочь сделала то же самое: Сенка открыла валютный счет в «Привредна банка» и положила на него свою долю наследства.

— Кто знает, что нам может понадобиться! Эмир растет. И если, дай бог, наш мальчик остепенится и будет хорошо учиться в школе, мы отправим его в лучшее учебное заведение!

Мышь делает круг почета

В 1972 году режиссер приключенческих фильмов Хайрудин Сиба Крвавац открыл мне дверь в национальный кинематограф. Впервые мое имя появилось в титрах югославского фильма благодаря этим словам: «Нам повезло, там всего один часовой, мы всех их взорвем!» Это была моя единственная реплика в фильме «Вальтер защищает Сараево», благодаря которому о Крваваце узнали даже в перенаселенном Китае. Едва я успевал произнести эту фразу, как наступала моя первая кинематографическая смерть. На полном ходу я натыкался на отряд немецких солдат, которые скашивали меня автоматной очередью. Падая, я издавал последний крик: «Аааааа…» В наших рядах был шпион, который передал немцам информацию о планируемой акции по уничтожению вражеского отряда.

Моя актерская роль не имела никакого отношения к истинному интересу, который я питал к кинематографическому искусству. Родители не очень понимали, что со мной делать, и тогда Сиба Крвавац, из педагогических соображений, предложил мне эту небольшую роль в своем фильме.

* * *

В четверг 4 ноября 1971 года, ровно в 18 часов 15 минут, когда моя мать Сенка пришла в Пятый лицей Сараева, она никак не ожидала услышать то, что ей скажут на родительском собрании. После десяти лет школьного обучения моя мать столкнулась с отзывом, достойным ученика начальных классов. Классный руководитель решил вводить ее в курс дела постепенно, рассказывая о новом этапе в моей школьной жизни. Не зная, с чего лучше начать — с единиц или с прогулов, он выбрал второе. Поскольку родителям обычно проще смириться с непоседливостью ребенка, чем с его глупостью.

— Его ничего не интересует в школе, он целыми днями играет в баскетбол в *FIS*[25]. А мы лишь любуемся на него из окна. Никакая сила в мире не может заставить Эмира вернуться в класс после большой перемены.

Классный руководитель также был учителем физкультуры и не скрывал своей симпатии ко мне. Когда он выходил из кабинета вместе с Сенкой, то тихо сказал ей:

— Сенка, попробуйте придумать хорошее обоснование его прогулам, у него их накопилось тридцать девять за семестр!

* * *

В баскетболе я мечтал превзойти своего сараевского кумира Даворина Поповича, Пимпека. Со скоростью молнии он проводил мяч между ногами противников, пресекал их маневры, совершал великолепные пасы из-за спины в два шага. Ему удавалось быть лучшим, несмотря на свой маленький рост, из-за которого он был похож на малыша среди гигантов. Он играл почти так же хорошо, как негры из Гарлема. Во время тайм-аута он закуривал сигарету. У Паши, который был самым сильным из нас — а это означало, что и самым умным, — имелось собственное толкование поведения Пимпека.

— Вот так и надо, братцы: он это делает, чтобы набрать в легкие воздуха. Это все равно как давить на газ в машине: давление выталкивает дым из выхлопной трубы. Я тоже так делаю: глубоко затягиваюсь, до самого паха, и выпускаю дым обратно. Знаешь, какие при этом ощущения?

Когда я ответил: «Понятия не имею», он решил, что я над ним насмехаюсь, и помчался за мной на запасное поле. Чаще всего в таких ситуациях мы напоминали молодых медведей, которые оттачивают свои когти и борются, чтобы размять мышцы. Даже если удары были жестокими, мы все равно продолжали улыбаться.

* * *

Когда по случаю 8 Марта Пимпек выступал с группой *«Index»* в зале *FIS*, я стоял в первом ряду и вместе с ним пел свою любимую песню «Кем-то стать в этой жизни». Слова полностью соответствовали моим ощущениям. Я сам хотел стать в этой жизни *Кем-то*. Я восхищался героем сараевских улиц и искренне ему завидовал: он играет в баскетбол, пьет, курит в свое удовольствие посреди матча и поет в группе, похожей на «Битлз»! А самое главное, он не обязан ходить в школу! Чтобы максимально точно походить на свой идеал, я изменил свою манеру говорить, стараясь подражать хриплому голосу своего кумира. Вечерами, когда меня никто не видел, я подносил ко рту невидимый микрофон и пел перед зеркалом: «Я протягиваю к тебе руки». Однажды меня услышал один цыган, когда я стоял перед старой бакалеей Горицы, и не одобрил ни голос, ни исполнение.

— Если ты решишь зарабатывать себе на жизнь пением, будешь жить впроголодь, — сказал он мне.

Этот вердикт меня расстроил, но я тут же нашел другой выход. Я и без него понимал, что меня ждет вовсе не карьера певца. Я дошел до этого сам, прислушиваясь к себе. Тем не менее замечание цыгана радикально повлияло на мое решение полностью посвятить себя баскетболу.

* * *

В том же году была одержана самая важная победа команды «Молодая Босния» — над белградской «Красной звездой» на чемпионате Югославии. Весь *FIS* скандировал прозвище Даворина: «Пимпек, Пимпек, Пимпек!» Мы с Пашей, Ньего и Бели сидели в первом ряду трибуны, под платанами. На этот раз вновь самый умный из нас ощутил потребность высказаться:

— Знаешь, что означает «Пимпек»?

— Нет.

— Однажды, когда Осмо дремал в зале ожидания на вокзале Загреба, к нему подошла проститутка и спросила: «Не хочешь выгулять свой пимпек?»

— Врешь.

— Клянусь своим покойным отцом! В Загребе они называют пимпеком то, что находится внизу.

— К Давору это не имеет никакого отношения. У него небольшой нарост на мочке уха, это называют пимпеком. Мне мой старик рассказал.

Я защищал своего героя сараевских улиц. По правде говоря, словарный состав Загреба и Сараева действительно различался. Хорваты всегда придерживались собственного диалекта. «Пимпек» в Загребе и «куна» в Сараеве. Эта небольшая языковая гимнастика плавно перевела мои мысли от баскетбола к гандболу. Пока Давор сбивал с толку игроков «Красной звезды», ловко ведя мяч и забивая его в корзину, я принялся размышлять о гандболе. Из-за слова «пимпек».

Нашим самым известным гандболистом был Мемнун Идьякович. Все называли его Куна. Это означало, что, если бы он жил в Загребе, его звали бы Пимпек. Не знаю, чем он заслужил это прозвище, но мне был известен его мощный бросок. Я любил присутствовать на соревнованиях по гандболу прежде всего из-за представления, которое устраивала публика. Игра Идьяковича двояко вдохновляла болельщиков команды «Молодая Босния». Их ободряющие лозунги выкрикивались в два такта: сначала они скандировали «Куна босс», затем, во второй раз, кричали «Куна». Начало самого спокойного матча происходило под крики «Куна

босс». Но когда требовалось, чтобы Идьякович оторвал голову вратарю команды противников, они активировали свое секретное оружие. «Целься ему в морду!» — вопил Паша. А я задавался вопросом, что подумал бы непосвященный, которому известно значение слова «куна», когда восемьсот человек орут хором: «Куна, Куна!» Думаю, мало найдется в мире мест, где вот так открыто люди скандируют хором название мужского полового органа. На самом деле речь шла о закодированном сообщении, о молчаливой договоренности между болельщиками и игроком. Слыша его, Идьякович целился в голову вратаря противника. И в случае, если промахивался, снова повторял свой маневр. Как только цель была достигнута, публика моментально успокаивалась и больше не настаивала на мужском достоинстве Идьяковича. Болельщики вновь начинали скандировать: «Куна босс!»

* * *

Даворин Попович, Пимпек, быстро положил конец своей карьере баскетболиста. Не было ни слез расставания, ни прощального ужина. Ему просто захотелось вести более спокойный образ жизни. Поэтому он перестал играть в баскетбол. Однажды вечером, когда он сидел за картами в своем недавно открытом ресторане «Кварнер», к нему примчался его друг Хайро:

— Даворин, ты в своем уме? Матч уже начался, а ты здесь в карты играешь?!

— Я в своем уме, — ответил Пимпек. — Садись выпей со мной.

— Некогда распивать, бежим на матч, я принес твои вещи.

— Начиная с сегодняшнего вечера певец больше не играет в баскетбол.

И действительно, с этого дня Даворин забросил баскетбол и все вечера проводил в «Кварнере», играя в карты. Этот новый ресторан появился на месте прежнего бистро «Требевич», откуда в стельку пьяный Алия-тряпка, он же Кларк Гейбл, отправился в мир иной. Играя в карты, Даворин выполнял четыре дела одновременно. Он сидел, пил вино, разбавленное сельтерской водой, играл в карты и получал прибыль от своего заведения. Он дружил с моим отцом, и они частенько засиживались вместе до утра. Поэтому мы были приглашены на торжественное открытие его ресторана. Здесь собралось много известных персон. Речь произнес товарищ Любо Койо, мэр Сараева. При социализме было не принято поощрять частную собственность, но Даворин являлся

исключением.

— Даворин, главное, чтобы твое дело преуспевало! Неважно, что говорят вокруг. Успехов твоему заведению! Только следи за тем, чтобы усташи и прочие враги нашей системы и товарища Тито не собирались у тебя в ресторане.

Аплодисменты! Товарищ Койо не упомянул о четниках[26] хотя обычай требовал называть их тоже. Койо уже был знаменитостью и живой легендой Сараева. Однажды ему пришлось общаться с представителем австрийской фирмы, реализующей крупный строительный проект в Сараеве, и он был вынужден как-то выкручиваться, так как не знал ни одного иностранного языка. Поскольку поблизости не оказалось ни одного переводчика, он сам ответил на телефонный звонок из Вены:

— Это Любо Койо, Сараево, Гаврило Принцип, бум-бум-бум!

* * *

После ухода Даворина Поповича из баскетбола на его небосклоне взошла новая звезда. Это был Ранко Вукович Златни, парень моей кузины Дуни Нуманкадич. Что касается меня, то я вернулся к футболу, своей первой спортивной любви. Мой школьный приятель Маца Малюканович привел меня в футбольный клуб «Босна», входивший в районную лигу. После первой тренировки я провел в постели два дня с сильнейшим растяжением. Отныне футбол стал моим новым наваждением. Я проигрывал во сне различные ситуации матча, постоянно прокручивая их в голове. Надо сказать, что эти встречи на щебневом поле «Косево» были настоящим зрелищем. Все, что было запрещено на главном стадионе, где играла команда «Сараево», здесь было разрешено. Районные турниры собирали не только пьянчужек и мелких местных тузов, но и взыскательных интеллектуалов, которые отказывались посещать матчи премьер-лиги, утверждая, что на них все подтасовано. Здесь же зрители горланили, ругались, пели, а также наслаждались сливовой водкой и барбекю. Порой интереснее было наблюдать за публикой, чем за игрой. В этой лиге играть на поле противника было небезопасно. Самыми тяжелыми для меня были матчи против команды «Романия» из Пале.

Первый раз, когда автобус ФК «Босна» подъехал к стадиону ФК «Романия», я едва поверил своим глазам. Поле имело явный наклон с южной стороны, а когда мы вышли из автобуса и направились к раздевалке, небольшая группа палевских

болельщиков принялась жестикулировать и оскорблять нас:

— Эй, уроды, не приближайтесь к нашим воротам, если не хотите стать фаршем для котлет!

Не собираясь спускать им это с рук, я остановился. Маца тут же схватил меня за куртку и потянул к раздевалке:

— Куста, здесь не играют в героев, это опасно!

Я знал, что ребята из «Романии» — не наивные дети, но всегда с трудом выносил подобные ситуации.

«Заткни уши и закрой рот» — таково было негласное правило.

Матч начался с десятого номера, который красовался у меня на спине.

— Десятый, готовь свою задницу! Десятый, мы отымеем твою сестру по очереди! — раздались крики.

Задача игрока под номером два состояла в том, чтобы меня блокировать. У этого типа были ноги, подтверждавшие тот факт, что орды Чингисхана все-таки добрались до Балканского полуострова. Кривые, но толстые, они больше напоминали стволы деревьев, чем человеческие ноги. Гибкие, как у гимнаста Мирослава Церара, вертевшегося на своем коне, они очерчивали большой круг, закрывая мне обзор. Лицо защитника постоянно озаряла улыбка монгольского всадника. Как только мяч летел ко мне, он его останавливал. Если я подбирался к мячу и начинал его вести, он неизменно оказывался в ногах моего противника. Болельщики продолжали настаивать на сестре десятого номера. Несмотря на то что у меня не было сестры, это оскорбление выводило меня из себя.

— Десятый, мы отымели твою сестру! Теперь твоя очередь!

* * *

Лишь на сороковой минуте первого тайма я понял, как можно решить эту проблему. Это не имело никакого отношения к теории футбола. Решение основывалось на законах улицы. Я воспользовался криками болельщиков о моей гипотетической сестре, чтобы изменить ход матча в нашу пользу. Когда я поведал своему «стражу», правому защитнику, о тяжелых условиях своей жизни, он не остался равнодушным к моей грустной судьбе. Это чем-то напоминало народные песенки на сентиментальную тему братьев и сестер. Утверждают, что в нашей поэзии, как и в реальной жизни, это были единственные отношения, в которых никогда не случалось убийств. Сестра не убьет брата. Брат не убьет сестру.

— Мы с сестрой остались одни. Отец с матерью погибли в автокатастрофе. Просто дай мне подойти на шестнадцать метров, и если мне удастся забить гол, я получу гонорар, на который мы с сестрой сможем жить. Я никогда этого не забуду, дружище, я тебя отблагодарю.

Он смотрел на меня разинув рот. Минуту спустя он зарычал от злости, но было уже поздно. Развернувшись, я перехватил мяч на средней высоте и остановил его грудью. Я прибавил скорости и послал мяч за спину вратаря, который отчаянно пытался парировать мой удар.

* * *

На этом стадионе исход матча никогда не определялся в первом тайме. Выигрывала та команда, которой во втором тайме выпадала удача играть на покатой части поля. Ни один арбитр не осмеливался предоставить эту выгодную позицию команде гостей. В итоге мы проиграли матч со счетом 2:1.

* * *

Лишь поездка в Войковичи представляла собой более рискованное приключение, чем встреча с палевцами. Там все защитники местной команды носили с собой иголки, зашитые в рукава футболок. Как только ты переходил на их половину поля, они набрасывались на тебя и кололи своими иголками. И ты отскакивал от мяча и ворот противника, как от ядовитой змеи. Если ты жаловался судье, тот испуганно смотрел на тебя круглыми глазами, тогда как защитники с невинным видом задирали рукава своих футболок и показывали их арбитру: жены игроков искусно пришили им двойные манжеты.

* * *

В этой лиге никто не получал наград. Мы играли исключительно за вкусный обед. Победы отмечались в кафе «У Пирии» пиршествами, состоявшими из двух блюд: ягненка и молодого лука. Хлеб предлагался в любых количествах дирекцией ФК «Босна». Пирия открыл свой ресторан напротив запасного поля, чтобы можно было одновременно есть и смотреть матч. В рядовые дни Пирия знал, как развлечь своих клиентов, а заодно

увеличить прибыль. Он принимался рассказывать, как люди, ничего не смыслящие в футболе, считают, что могут забить мяч в ворота с середины поля.

— Что? С середины поля и без вратаря? Да если хочешь, я прямо сейчас забью пять голов из пяти попыток! — поддавался клиент на провокацию.

Пирия изо всех сил убеждал его в обратном. И когда новоиспеченный футболист заявлял, что желает доказать свои способности, Пирия спокойно отвечал:

— Выкладывай тысячу динар, я ставлю две тысячи, что ты не забьешь ни одного гола! Самир, малыш, сходи за мячом!

Возбужденный клиент уже мчался с мячом к центру поля. Пять раз он бил по мячу, и пять раз мяч не достигал даже штрафной площадки.

— Если бы футбол был таким простым занятием, в него играла бы моя бабушка! — подводил итог Пирия. И тут же заключал пари с другим клиентом, который тоже хотел попытать счастья, в то время как первый не мог понять, как игроки по телевизору с такой легкостью бросают мяч.

А Пирия подливал масла в огонь:

— Я знаю, что тебя беспокоит, дружище: тебе не дает покоя вопрос, как профессионалы делают то, чего не можешь ты, мое солнце? А ответ очень прост: они тренируются и оттачивают свой удар годами, тогда как ты всего пару раз за всю жизнь побывал на настоящем поле!

— Ладно, попробую еще разок, даже если мне придется оставить здесь зарплату! — настаивал клиент.

— Клади сюда купюру, дружище, я ставлю две!

* * *

Мой дедушка часто говорил, что март — несчастливый месяц, и именно в марте он умер. Это случилось 9 марта 1972 года. Внезапно. Как принято говорить, его хватил удар. Смерть унесла его ночью. Он не страдал, и это самое главное. Покинув нас, дедушка нарушил предполагаемый порядок смертей в семье Нуманкадичей. Его жена, наша бабушка, давно болела, и мы думали, что она уйдет первой. Но судьба распорядилась так, что дедушка умер раньше нашей Матери.

* * *

Жизнь Хакни Нуманкадича потеряла смысл гораздо раньше, с тех пор как продажа семейного дома по улице Мустафы Голубича положила конец его ежедневным прогулкам: дом, Баскарсия, возвращение домой. Он спускался по улице Далматинска к базарной площади, а возвращался через большой парк, мимо лавок с хиппи. Он ходил, как он сам утверждал, чтобы заставлять работать свое сердце. Поскольку его внуки выросли, в большом парке он продолжал угощать незнакомых ребятишек сливами, а иногда — и каплей рома. Он доставал из карманов игрушки, приводившие в восторг ребятню. Теперь же, переехав в квартал Храсни, он целыми днями сидел дома и вспоминал те дни, когда его семья жила вся вместе.

Дедушка заботился обо всех членах семьи. Все любили его и охотно обращались к нему за поддержкой. Он всегда защищал своих детей и внуков, словно маленьких медвежат. Особенно своего сына Акифа Нуманкадича, представителя фирмы *«Philips»* в Боснии и Герцеговине, личного друга королевы Голландии. Но в последнее время нашему дедушке оставалось лишь ворчать в своей берлоге, как он называл свою маленькую квартиру в доме номер 45 на улице Браче Рибара.

Его смерть больше всего огорчила мою мать. Дедушка умер с обидой на Сенку. Накануне его смерти она выбросила на помойку его калоши. Потому что не могла больше смотреть, как ее отец ходит в обуви двадцатилетней давности, износившейся в прогулках между Белавой и Баскарсией. А ему как раз нравилось, что калоши были разношенными. Они стали такими широкими, что он мог свободно надевать их на свои ботинки.

Потрясенная этой ссорой и внезапным уходом своего отца, Сенка растерянно стояла на кухне, держа в руках пару новых калош. Она протягивала руки вперед, к иному миру, словно хотела помириться со своим покойным отцом. На самом деле дедушка умер гораздо раньше. Его сердце так и не смогло покинуть дом барона в Белаве, а того, что осталось от этого сердца в его груди, было недостаточно, чтобы заставить его жить и ухаживать за больной женой.

* * *

После смерти дедушки мой отец продемонстрировал, что мужчина с Балкан может быть предупредительным. Когда я поделился с Сенкой своим удивлением по поводу внимания, которое он начал ей уделять, она ответила:

— Ты не знал его отца. Он был готов все сделать для своей

жены. Об этом знали все вокруг. Попроси она птичьего молока, и он его отыскал бы.

Мой отец, который не мог полностью отказаться от своего белого вина, разбавленного сельтерской водой, не уходил из дому так часто, как раньше. Для моей матери это стало самым большим утешением. К нам в гости приходили его друзья. А я больше не имел права ходить в *FIS*. Мне вообще запретили играть в футбол.

— Пока не исправишь свои единицы, никуда не пойдешь, и больше никакого бесконтрольного спорта, — заявил мой отец.

Он потребовал от матери, чтобы она отвела меня на легкую атлетику, поскольку «лишь король спорта может способствовать гармоничному развитию молодежи». Таким образом отец убивал двух зайцев: душевная рана Сенки заживала быстрее, поскольку мы проводили вместе больше времени, а я многому учился у именитых гостей, которые приходили к нам в дом.

* * *

У меня не было ни малейшего желания заниматься легкой атлетикой, но никто не спрашивал моего мнения. Это был самый плохой период моей спортивной карьеры. Полуразвалившийся дом рядом со стадионом «Косево» служил одновременно сторожкой, раздевалкой и офисом клуба «АК Босна». И все это на тридцати квадратных метрах. Каждый раз, переодеваясь в раздевалке, я не сводил глаз с потолка. Он находился под наклоном и удерживался тонкой балкой, и мне казалось, что он вот-вот рухнет мне на голову. Так называемый сторож исполнял также роль тренера. Во время тренировок он постоянно донимал меня, требуя, чтобы я поднимал выше колени:

— Ноги вверх, ноги вверх!

Его жена, прикладывая их ребенка к груди, время от времени выглядывала в окно, чтобы проверить, кого это ее муж с такой страстью просит поднять ноги вверх. Заметив меня, она понимала, что ее браку ничто не угрожает. Тренер настаивал, чтобы я поднимал выше колени, потому что думал, что я смогу стать хорошим бегу ном на двести метров с барьером. Я тренировался в спринтерских шиповках, которые были велики мне на два размера. На самом деле я делил эти шиповки с офицером *JNA* в отставке и еще двумя студентами физкультурного института. Мы были единственными членами этого легкоатлетического клуба. Я скоординировал расписание своих тренировок со школьными уроками и был счастлив, когда

мне удавалось оставлять у себя шиповки на время всей тренировки.

* * *

Однажды я прибыл на беговую дорожку чуть раньше, поскольку мой последний урок в школе отменили. Я решил раз и навсегда уладить проблему с обувью:

— Можно найти для меня шиповки поменьше, необязательно новые, просто на два размера меньше? Мне трудно в этих бегать!

— Тебе, малыш, следует запомнить, что я не люблю парней, которые много из себя строят! Если ты считаешь, что можешь себе все позволить, потому что твой отец — помощник министра, то ты сильно ошибаешься!

Реакция этого странного человека меня озадачила.

— Нет, вы меня не поняли, шиповки нужны не моему отцу, а мне, чтобы улучшить результаты.

— Послушай, малыш, либо ты принимаешь здешние правила, либо валишь из спортивного центра, чтобы я тебя больше никогда не видел!

Гордость, с которой он произнес слова «спортивный центр», открыла мне глаза. Вопрос был исчерпан.

* * *

На разминке я почувствовал нечто странное под своей подошвой. Но чтобы не раздражать тренера, я огромными шагами помчался к первому барьеру.

— Выше ноги, черт возьми! — крикнул он. — Если ты зацепишь барьер и обдерешь себе колени о гравий, обвинят меня!

Пока по пустому стадиону разносился его голос, у меня возникло ощущение, что у моей правой ступни отрос шестой палец. Я поднял ногу: в моем ботинке что-то шевелилось… Что за чертовщина? В обувь офицера в отставке пробрался мышонок, маленький грызун! Я не знал, что мне делать. В панике я принялся стучать ногой о землю, но мышь зашевелилась еще сильнее. Тогда я предпринял бег на месте: поднимал ноги и, словно одержимый, с силой опускал их на землю. Я надеялся, что грызун погибнет под моим весом и я смогу его выкинуть из своего ботинка, который был велик мне на два размера. Я остановился и прислушался. Мышь снова устроилась сбоку ступни. Похоже, ей было более комфортно, когда я бежал. Словно ей нравилось

ставить человеческое существо в неловкое положение. Как только я останавливался, она тут же начинала ерзать, словно говоря: «Почему этот идиот стоит, разве он не видит, что я намного лучше себя чувствую, когда он двигается быстрее?» Я бросился бежать как ошпаренный, тихонько вскрикивая, и это был мой самый быстрый пробег по стадиону, который стал также кругом почета с мышью в ботинке. На этом моя короткая карьера легкоатлета закончилась.

* * *

В условиях новой концепции «алкоголь дома, а не в кафе» ситуация в нашей семье развивалась в положительную сторону. Такую оценку дал один журналист теленовостей Сараево. Мой отец собирал у себя своих лучших друзей, которые приходили, привлеченные ароматом мяса с овощами. Во время этих «посиделок» я видел врачей, инженеров, режиссеров, но больше не смотрел на них украдкой, как раньше, когда мы жили в квартале Горица. Там я делал вид, что сплю на диване гостиной, чтобы слушать, о чем взрослые разговаривают между собой. Теперь же я был среди них, хотя и не вмешивался в их беседу. Порой, во время разговора, я узнавал свои собственные проблемы, но ограничивался тем, что старательно кивал головой — это означало мое согласие с ними по всем пунктам. Мы нашли способ оправдать мое отсутствие в школе. Сиба Крвавац получил от одной из своих любовниц справку, в которой говорилось, что я в течение полутора месяцев посещал сеансы лечебной гимнастики для колена.

* * *

В конце семестра кинорежиссер-волшебник Сиба Крвавац устроил мой перевод из Пятого во Второй лицей Сараева. Сербский язык и философия стали моими любимыми предметами. Я открыл для себя писателя Радое Домановича, который буквально озарил мою жизнь, а в философии, изучая силлогизмы[27], я убедился в преимуществе своих герцеговинских корней. Мы, герцеговинцы, приходим к логическим заключениям кратчайшим путем. В Сараеве, когда хотели кого-то обидеть, часто говорили: «В нем герцеговинец борется с человеком». Я учился делать логические умозаключения, что было не так просто. Особенно мне нравился учитель философии Миланович

Срето. Он был забывчивым и рассеянным, и мы все его очень любили. Однажды он вышел из школы и отправился домой с журналом под мышкой, а на следующее утро вернулся в лицей с тем же журналом, но уже в домашних туфлях. Поскольку дело было весной, он ничего не заметил до тех пор, пока один из коллег не сказал ему об этом в учительской.

* * *

Эти домашние посиделки всегда начинались одинаково: прежде чем начать выпивать и закусывать, Сиба Крвавац заставлял всех смотреть телевизор. Все устраивались поудобнее и слушали новости, которые неизменно начинались со слов: «Сегодня товарищ Тито посетил…» Однажды вечером доктор Липа повернулся к Сибе и прошептал ему, подмигнув моему отцу:

— А он, случайно, не носит парик?

— Исмет, прекращай свои провокации! — ответил Сиба, чтобы его унять.

— Это не провокация, я серьезно, это не его волосы!

— Как это — не его? Господи сохрани, просто невероятно, до какой степени вы можете быть завистливыми, мужчины! — вмешалась в разговор Сенка.

— Это вовсе не зависть, Сенка. Посмотри-ка на него сама. Это не его волосы!

— Да его это волосы, просто он их покрасил, — встрял дядя Омерица.

— Хватит нести чушь! — возмутился Сиба, показывая пальцем на люстру, непонятно, ради шутки или из страха, что нас подслушивают.

Этот страх уже не был паническим, как во время дискуссий с моим отцом в Горице. Тогда он делал все возможное, чтобы помешать прослушать и записать речи моего отца. Когда ему не удавалось его унять, он прямо посреди фразы принимался петь во все горло, пока Мурат не замолкал.

— Кто несет чушь? — уточнил дядя Омерица.

— Ты!

— Вовсе нет! Как у мужчины в его возрасте не может быть ни одного седого волоска?

— Сейчас есть новые шампуни, которые закрашивают седину! — заявила Сенка, встав на защиту Тито.

— Сенка, ты говоришь о хне!

— Господи, да я прекрасно знаю, что такое хна! Это я крашу волосы хной, а не ты!

— Да посмотрите сами! Это не его волосы! На этих волосах никогда не было ни капли хны, — настаивал доктор Липа.

Мой отец, который до сих пор хранил молчание, что было необычно, когда речь заходила о Тито, внезапно произнес:

— Друзья мои, Омерица прав, это действительно не его натуральный цвет волос, он покрасил их ваксой!

— Чем? — переспросила Сенка. — Я не расслышала!

— Ваксой! Сенка, твой муж совсем спятил! — гневно произнес Сиба.

— Хватит выдумывать, Мурат, никакая это не вакса! — сказал Омерица, чтобы подлить масла в огонь, делая вид, что встает на сторону Сибы.

— Нет, дорогой мой, именно вакса дает наилучший результат. Человеческий волос состоит из протеина и плохо переносит химические вещества. Вакса не наносит вреда здоровью, нужно только не злоупотреблять ею!

Мой отец говорил это с важным видом, как актер Бора Тодорович, когда играл роль мафиози.

— Ради бога, Мурат, как ты можешь такое говорить? — возмутилась моя мать.

— Какое — «такое»? — спросил отец.

— Как ты можешь говорить, что он красит волосы ваксой для обуви? Ты совсем распоясался!

Сиба громко добавил, чтобы все присутствующие, а также возможные шпионы могли его слышать:

— Сенка, он не распоясался, он сошел с ума… Когда-то актеры мазали себя ваксой, чтобы играть негров, но не президент же республики! — пояснил знаменитый режиссер, вспомнив о тяжелых годах, проведенных на острове «Голи-Оток» за гораздо менее серьезный проступок, чем шутка о волосах Тито.

— Друзья мои, давайте споем, совсем не обязательно говорить о политике.

— Это не политика, Сенка! Разве не видишь, что мы посвящаем друг друга в секреты парикмахерского дела? — настаивал на своем отец, словно актер, использующий свои последние ресурсы, чтобы рассмешить публику.

— Мурат, прекрати ради бога, умоляю тебя!

Теперь моя мать сердилась и показывала на Сибу Крваваца, который выглядел очень встревоженным.

Омерица затянул песню: «Расцвели ли розы у меня в саду?»

* * *

После небольшой проделки моего отца и его выдумки с ваксой и Тито я воспользовался ситуацией и пригласил Сибу в свою комнату. Он только этого и ждал.

— Как же они постарели! — сказал он мне. — У них уже начался маразм, мой Эмир. Господи, избавь нас от такой участи!

Я задал ему вопрос, который давно меня мучил. К тому времени я посмотрел большое количество фильмов, и многое мне было непонятно. Фильмы Сибы о дружбе во время войны мне очень нравились. Особенно я полюбил «Мост», где солдат нес на своей спине товарища, серьезно раненного в ногу. Товарищ умолял своего друга бросить его и спасаться самому. Но тот отказывался оставить друга в беде и лишь отвечал: «Никогда, братишка». Что значило «братья навсегда», и герой произносил это очень трогательно.

Я расспрашивал Сибу не столько ради того, чтобы услышать ответ, сколько для того, чтобы показать, что, несмотря на свои единицы, я не был круглым идиотом.

— Дядя Сиба, я восхищаюсь вашими фильмами о партизанах! Но почему в нашей стране никто не снимает нормальных фильмов о любви?

— Ну, все ждут, пока ты окончишь киноакадемию.

— Не смейтесь надо мной, я серьезно.

— С чего ты решил, что я над тобой смеюсь?

— Как я могу стать кинорежиссером?!

— В этом нет ничего сложного. Сначала ты учишься всему понемногу, ни на чем не специализируясь. Ты знаешь одновременно всё и ничего конкретного. В совершенстве.

— Всё и ничего?

— Совершенно верно. Ты просто учишься профессии.

«Это очень на меня похоже, — подумал я, — я вечно всюду сую свой нос, мне интересно все».

— Профессии надо учиться в институте?

— И на практике. Мы всему учимся на месте, в качестве помощников.

Я настаивал со свойственным мне упорством:

— Как мне научиться снимать фильмы о любви?

— Скажи-ка, мой мальчик, ты когда-нибудь был влюблен?

— Только полтора раза.

Я уже понял, что жизнь в полуторакомнатной квартире оказала влияние на мою личную жизнь.

— Как можно влюбиться полтора раза?

— Можно. Первый раз я был влюблен в Снежану Видович и тайком целовал ее несколько раз. А второй раз была Невенка, я трогал ее грудь.

— Что ты делал?

— Просто трогал ее грудь. Ничего больше.

— Ничего больше?! Понятно. А теперь самое время сделать и то, и другое: влюбиться и трогать грудь, которую ты должен мять, подобно женщинам, замешивающим место для слоеных пирогов, и пойти до конца, сделать это.

— Что — это?

— Ну, когда все соединяется и становится одним, и первое, и второе, а половинка превращается в целое.

Я смутился и покраснел как рак, когда понял, что именно нужно делать.

— Фильм о любви должен быть современной историей. Или скорее классической историей, костюмы и сценография которой современны, а тема отражает вечную человеческую проблему. Двое любят друг друга, а третий мешает восторжествовать их любви. Влюбленные борются с ним, на их пути встает непреодолимое препятствие, но в итоге любовь побеждает. Как, например, у Ромео и Джульетты, Омера и Меримы. Все эти правила можно найти в книгах. Любая история должна иметь начало, середину и конец. Этому учат в институте.

Я был безгранично благодарен Сибе, поскольку он помог мне понять, что мое истинное призвание — стать режиссером. Я еще не до конца осознавал смысл этой профессии, но это было неважно. В ту пору меня уже беспокоило мое будущее. Порой я опасался потерпеть неудачу в своей попытке стать Кем-то.

Некоторое время спустя, когда мой отец и Сиба завершали вечер за бутылкой вина, последний заявил моему отцу:

— У твоего парня очень выразительные глаза, я дам ему маленькую роль в моем фильме «Вальтер», но пока ничего ему не говори. Подожди конца семестра.

Но уже на следующее утро, когда отец будил меня в школу, он не смог удержать язык за зубами:

— Если будешь хорошо учиться, Сиба возьмет тебя на роль в свой будущий фильм.

Меня не очень привлекала стезя актера, но я был счастлив, что Сиба так хорошо ко мне относится. На самом деле мне гораздо больше нравилось слово «режиссер», даже если я не имел ни малейшего представления о его истинном значении.

* * *

Однажды после школы я отправился вместе с матерью в Храсни навестить бабушку. По пути мы разглядывали витрины

магазинов, и я заметил в одном из них фотоаппарат. Это была русская модель «Зоркий», он стоял в сторонке, рядом с пятью другими моделями восточногерманской фирмы «Практика». Меня осенило: это могло бы стать моим первым шагом к режиссерской работе. В конце концов, фильм — всего лишь серия правильно соединенных фотографий.

— Сколько стоит вон тот, в углу? — спросила моя мать у продавца.

— По поводу этого фотоаппарата вам следует поговорить с Ухерком напрямую, — ответил мужчина. — Это его вещица. Он живет на улице Калемова.

Мы взяли номер телефона Ухерка и решили ему позвонить. Когда последний назвал цену, моя мать воскликнула:

— Ничего себе! Это стоит сумасшедших денег, сынок! Знаешь сколько всего можно купить на эту сумму?

— Если вы настроены серьезно, — предложил упомянутый Ухерк, — мы можем договориться о рассрочке.

Я смотрел на Сенку умоляющим взглядом, не зная, о чем они говорят.

— В данный момент мы на мели, у нас нет ни гроша, — сказала мне она. — Подожди начала месяца, прояви терпение. Тебе известно, что твой отец достанет для тебя луну с неба, если ты будешь хорошо учиться.

— А деньги от дедушкиного дома?

С недовольным видом она отрезала:

— Эти деньги отложены на «черный день». К счастью, он пока не настал. И не веди себя так дерзко.

* * *

Ухерк оказался помощником режиссера, работавшим с операторами Сибы. Помимо подержанного «Зоркого» он выставил на продажу две большие круглые фотографические лампы. Разумеется, нашу встречу с ним организовал Сиба Крвавац.

Я провел весь день, придумывая свою историю, поскольку слышал, как Сиба говорил, что без хорошей истории не может быть фильма. Теперь мне следовало изложить Ухерку все, что я создал в своей голове во время уроков. Самым главным было увлечь его моей идеей, чтобы он согласился стать оператором моего первого фильма.

Я выдал ему всю свою историю на едином дыхании. Он смотрел на меня, не перебивая, наверняка думая, что перед ним какой-то сумасброд, до того самого момента, когда я принялся

описывать, как главный герой садится на трамвай, который выезжает из центра города и едет к углу кондитерской «Оломан» — по направлению к театру на Дюро Дьяковича. Ухерк некоторое время озадаченно молчал, затем спросил меня:

— И как ты собираешься это снимать?

— Очень просто, — уверенно ответил я, — трамвай сходит с рельс возле «Оломана», продолжает ехать по асфальту и проходит по улице Васе Мискина, а когда прибывает к месту, герой спрыгивает с трамвая и мчится к театру. Там внутренний голос ему подсказывает, что за занавесом стоит балерина.

— Погоди-погоди, как, по-твоему, трамвай может сойти с рельсов?!

— Да без проблем! Это кино или нет? В фильме можно снять невозможное!

* * *

Тем же вечером, когда Сиба пришел на «посиделки», он сообщил моему отцу:

— Твоему парню следует заняться режиссурой!

Судя по всему, Ухерк поведал ему о моем взгляде на невозможное в кино.

— Он настоящий шарлатан, но это как раз — самое главное! Только представь себе, он заявил Ухерку, что трамвай должен сойти с рельсов возле «Оломана» и продолжить свой путь до театра. Это, Муратик, хороший знак! Просто превосходный!

Сиба, которого называли мифоманом, поскольку он не жалел ни собственных сил, ни сил своего окружения, чтобы довести до ума хороший фильм, в подробностях поведал отцу о моей встрече с оператором и пересказал мои замечания о невозможном.

На следующий день Мурат велел Сенке:

— Сними деньги с нашего сберегательного счета! Я дополню сумму с тринадцатой зарплаты. Мы должны купить ему этот аппарат и лампы!

Два дня спустя обе круглые лампы важно возвышались на полках в моей комнате. Когда директор коммунального предприятия Юсуф Камерич увидел все это оборудование, он сказал моему отцу:

— Повезло тебе, Мурат, твой сын знает, чего хочет!

Это было неправдой, но звучало приятно. Я пока не имел ни малейшего представления о том, чего хочу, по какому пути собираюсь идти, но осветительные лампы и фотоаппарат несомненно придавали мне некоторый вес. Определенную

значимость. Сравнимую с «Титаником», который я построил в детстве.

В лицее в конце концов узнали, что я собираюсь снимать первый любительский фильм для сараевской фильмотеки.

— Значит, ты подался в кино, Куста! — сказал мне один ученик, когда мы курили в туалете. — Если увидишь Неду Арнерич[28], передай ей, что у тебя есть приятель, который готов устроить ей фейерверк в постели совершенно бесплатно!

Я чувствовал, что мне завидуют, но меня это не смущало. Поскольку я осознавал, что моя жизнь только что сдвинулась с критической точки под названием *«Никто»!*

* * *

В следующий раз, когда я встретился с Ухерком, он спросил меня:

— Какой фильм ты хочешь снять?

— Скажем, фильм на любовную тему. Молодой человек просыпается в своей квартире. Вообще-то он просыпается не сам, его будят колокола православной церкви, а затем — католической, а вслед за ними — резкие звуки башенных часов возле мечети. Так пишет Андрич[29], — объяснил ему я.

— Погоди, а где ты думаешь все это снимать?

— В нашей квартире.

— Но ты ведь живешь не в центре?

— Почему? В центре, на улице Каты Говорусич, в доме 9 А.

— Ты не можешь снимать это там!

— То есть как это — не могу?

— По одной простой причине: там не слышно колоколов, тебе придется найти более подходящее место.

— Зачем искать другое место? Мы разбудим парня в моей комнате. Когда он встанет с кровати, мы снимем его возле фальшивого окна с видом на церковь. Окно разместим на балконе вблизи собора — и сцена готова!

— И где же оно, твое окно?

— Да найдем мы это дурацкое окно, не проблема! Мы временно прибьем его к балюстраде балкона.

Ухерк явно с трудом выносил мой упрямый характер.

— Погоди-ка, приятель, как ты собираешься все это освещать?

— А… это! Не знаю, я не оператор. Слышится… точнее, главный герой слышит колокольный звон. Нам даже необязательно показывать обе церкви. Мы покажем одну, а от другой будет слышен только звук колоколов. Так пойдет?

— Думаю, пойдет. Тебе нужно будет обсудить с монтажером, сможет ли он это сделать. Ты знаком с Веско Кадичем?

— Это еще кто?

— Монтажер, специализирующийся на любительских фильмах. Спроси у него, как лучше сделать.

Ухерк смирился с судьбой. Он понял, что имеет дело с тем, кто будет яростно защищать свою идею до конца. Независимо от того, хороша она или плоха, осуществима или нет.

* * *

Фильм, который зародился в моей голове, не рассказывал классическую историю. Он был отражением моей собственной жизни.

— Итак, молодой человек просыпается в Сараеве, в окружении различных религиозных сооружений, как это описывает Андрич. Он живет своей жизнью, без цели и надежды. Это видно по тому, как он каждый день проходит по одной и той же улице. Мы будем повторять эту сцену, как повторяется куплет в песне. Так мы убедим зрителя, что жизнь молодого человека монотонна, что он чувствует себя потерянным. Он просто не знает, чего он хочет.

— А как ты это покажешь? — с сомнением спросил Ухерк.

— Путем повторения одной и той же сцены. Я буду настаивать на образе парня, бесцельно идущего по этой улице. Это может быть улица Штросмайера с собором на заднем плане. Его жизнь изменится, когда он найдет способ осуществить эту перемену. Разумеется, толчком к этому станет женщина. Та, которую он любит, а не проститутка, с которой он уже спал. Проститутку он избегает. А любит он женщину-идеал. Она не ходит на базар, не бранится, никак не связана с реальностью, но тем не менее она — женщина.

— Погоди, ты хочешь сказать, что ему не хочется переспать с этой женщиной?

— Дело не в этом.

— Как это? Ты только что сказал мне, что он ее любит, но не так, как проститутку, которую избегает и с которой занимался любовью?

— Ты не понимаешь. Она живет на сцене, спрятавшись за занавесом, — это балерина.

— Живет на сцене? Как это можно жить на сцене? Где? Как? Она что, палатку поставила, кровать принесла, и куда она в туалет ходит?

Этот Ухерк начал меня серьезно раздражать. «Вот кретин!» — подумал я.

— Да нет, ты меня не понял… или это я плохо объясняю. Мы не будем вдаваться в детали, живет она на сцене или нет.

— Хорошо, оставим, но ты не читал Пудовкина, тебе нужен хотя бы минимум кинематографического образования. Речь идет о поэтике кино.

— Какой еще поэтике?

— В фильме следует избегать штампов.

Ухерк словно вонзил мне в сердце нож. Это правда, мне следует учиться, подумал я, но зачем ты говоришь мне об этом сейчас? А он тем временем продолжил меня уничтожать:

— Зрители постоянно проверяют, насколько герои фильма реальны и правдивы.

— Я как раз и хочу избежать штампов, — возразил я, пытаясь найти решение, которое его убедило бы. — Мы покажем балерину на сцене, словно это происходит накануне генеральной репетиции. Она пришла репетировать в одиночестве. В конце мы поставим музыку Чайковского, воздействуем на зрителя экспрессивностью, — уточнил я, используя слова самого Ухерка. — Так зрители погрузятся в слияние образа и звука, и у них не будет времени задаваться вопросом, ходила ли она в туалет или что она ела и где спала.

Я выпалил это, глядя взволнованному оператору прямо в глаза, и подумал: «Все, Ухерк, больше ты не будешь мне надоедать».

— Итак, — продолжил я, — главный герой обнаруживает женщину своей жизни на этой сцене, в ситуации, которую я только что описал. В это мгновение слышится музыка Чайковского, финал «Лебединого озера», ты помнишь: «Нананаа…»

— Хорошо, согласен, если известно, что это действительно репетиция, тогда пойдет. Это неплохо, это даже классно… и выглядит очень экспрессивно.

— Да, может быть, я не очень хорошо все объяснил, но я вижу образы и точно знаю, как это будет выглядеть. Просто мне не хватает слов, то есть слова у меня есть, но я не могу их правильно связать, чтобы донести до тебя все, что я хочу. Нет, я, конечно, могу… уф! Я совсем запутался…

* * *

На этот раз я был искренен, и Ухерк меня больше не смущал.

Это была моя первая попытка высказать вслух то, что я собирался снимать, и, судя по всему, у меня получилось совсем неплохо. Все, что я сказал, звучало хорошо, даже описание сценария.

— Как называется твой фильм? — спросил Ухерк.

— «Часть правды».

— Хммм… а почему?

— Потому что это всего лишь моя правда. Я хочу, чтобы она была такой в фильме. Моя правда, понимаешь, только моя.

— Я понял, что это твоя правда, но почему тогда не взять название «Моя правда»? Конечно, это не так экспрессивно, но мне кажется, более точно.

— Мне не нужно, чтобы это было точным, я просто хочу показать, что правда не бывает единственной и неделимой.

Он охладил мой пыл своим замечанием о «Моей правде», но я не сдавался. Если я уступлю сейчас, сказал я себе, он будет командовать мной во время всех съемок. Сиба рассказал мне, что необходимо относиться к членам своей команды с бдительностью пастуха, присматривающего за своими овцами. «Следует быть строгим, но справедливым. Как товарищ Тито».

Вечером Сиба просмотрел сценарий.

— Хорошо! Очень экспрессивно, — сделал он вывод.

Хм… Это был не совсем комплимент, но главное, что текст показался ему живым.

* * *

Слово «экспрессивный» часто использовалось в артистических кругах. Я видел в нем сходство со словом «интересный». И это мне не нравилось, потому что такой термин использовал один художник на вернисаже моего кузена. Было видно, что картины Эдо не вызвали у него энтузиазма, и тогда он сказал:

— Могу тебе сказать, Эдо, что твои картины интересные. — И поскольку Эдо молча смотрел на него, художник добавил: — И даже очень интересные.

Что означало: я не хочу тебя обидеть. Картины ему не понравились, он не солгал и не стал расхваливать творчество Эдо.

* * *

По мере приближения съемок Сиба, внимательно наблюдавший за мной, заметил мое растущее беспокойство:

— Знаешь, Эмир, сегодня выходит множество фильмов,

состряпанных на скорую руку. Некоторые люди считают, что могут мочиться на ходу и не заляпаться. Это все потому, что они не знают, насколько сложно создать хороший фильм. А знать это должен прежде всего главный представитель публики во время съемок — кинорежиссер. Нетерпеливые режиссеры снимают свой фильм за два месяца. И что потом? Ничего. Фильм никуда не годится. Они не успевают толком разогреться, как им уже пора заканчивать. Это можно сравнить с любовью, когда некоторым достаточно потрогать везде руками, поцеловать, и все. Но ты должен вести дело энергично до самого конца, как шахтер под землей. Только тогда другая сторона, твоя партнерша, оценит твою работу. То же самое с публикой: если ты не вызовешь у нее волнения, не будешь ее истязать и встряхивать, не утомишь ее, не заставишь смеяться, она отправится домой, словно в зале ничего и не было. Если какой-либо кадр тебе нравится во время съемок, на большом экране он будет в восемь раз лучше. Но если что-то тебя смущает и, следуя известному принципу наспех слепленных фильмов, ты лжешь самому себе, говоря «все хорошо, продолжаем», тогда как все это ломаного гроша не стоит, на большом экране изъян вырастет в восемь раз. Кадр будет в восемь раз хуже, чем во время съемок! Все, что ты пустишь на самотек в процессе создания фильма, унесется течением безвозвратно. Когда погаснет свет и завертится бобина с кинопленкой, ты будешь либо гостем, либо хозяином. Представь: в темном зале начинается фильм, наступает черед сцены большого авиационного праздника, для которой тебе потребовалась бы тысяча статистов. Публика об этом не знает, но она чувствует, что что-то здесь не так. Но ты же не можешь сейчас войти в зал и сказать зрителям: «Послушайте, друзья, здесь должна быть тысяча людей, но у нас не хватило средств». «Да пошел ты! — ответят тебе мужики с первого ряда, там, где самые дешевые места. — Пойди поищи их на улице и оставь нас в покое». Если ты не пригвоздишь зрителя к его креслу, если оставишь ему возможность думать о своем, все пойдет прахом. Нужно сделать так, чтобы люди чувствовали фильм на всем его протяжении, от начала и до конца.

— А как это сделать?

— Используя все свои возможности и знания. Разве можно остановить растущее дерево? Нельзя. С фильмом должно быть то же самое.

— А что делать, если пленка порвется?

— Хватит острить! Вы только посмотрите на этого шутника! «Что делать?» Склеиваешь пленку и продолжаешь!

* * *

Пока я переделывал нашу гостиную — гордость Сенки — в киностудию, я не мог предположить, что непредвиденные жизненные обстоятельства отменят съемки моего первого фильма. Только мы договорились с Мирзой Тановичем, городским клоуном, что он сыграет главную роль, когда на наш дом обрушилась новость, сделавшая невозможным любое начинание, даже более простое, чем съемка фильма.

* * *

Семнадцатого июня 1972 года Ханифа Нуманкадич начала свой день так же, как в последние двадцать пять лет своей жизни. После утренней терапии она отправилась в гости к своей «родственнице», как она любила называть одну из своих соседок. Пожилая женщина поднялась на восьмой этаж в квартиру госпожи Малович на чашечку кофе. Она выпила свой кофе, пожаловалась на ревматизм, заметила новый ковер на полу и выразила восхищение его цветом. Затем отправилась в ванную и закрыла за собой дверь. Учитывая слабое здоровье пожилой дамы, госпожа Малович забеспокоилась из-за ее долгого отсутствия. Вдруг ее гостья упала в обморок? Она позвала Ханифу. В ответ тишина. Тогда госпожа Малович постучала в дверь. Ей никто не ответил. Она принялась стучать сильнее. Поскольку ее призывы по-прежнему оставались без ответа, она решила сломать дверь. Ванная оказалась пуста. Задрожав от страшного предчувствия, госпожа Малович вскрикнула. Она выглянула в окно и увидела ужасную сцену: на тротуаре, у входа на лестницу, лежало распростертое тело. А пока сосед с первого этажа накрывал несчастную женщину одеялом, шаль Ханифы уносило ветром к новостройкам квартала Храсни, словно крылья ее души. Эта шаль из кашемира, подарок сына на день рождения, которая согревала больную женщину в течение долгих лет, была воплощением ее благородной натуры. Она так и осталась летящей в нашей памяти, постоянно напоминая нам о хрупкости человеческого существа, которое в любое мгновение может открыть окно в смерть.

* * *

Среди множества историй о покойной особенно часто

вспоминали, как она воспитывала своих детей. «Твой сосед важнее, чем твоя собственная мать, запомните это, дети!» Я слышал тысячу историй об отношениях с соседями в Боснии, и каждая из них подчеркивала значимость этой фразы. Вероятно, родители настаивали на этой точке зрения, потому что на практике чаще всего было по-другому. Жест мужчины с первого этажа, который накрыл одеялом бедную жертву, был тому наглядным примером. Он сделал это не для того, чтобы избавить соседей от шокирующего зрелища — мертвой старухи, распростертой на асфальте. Накрыть мертвое тело до приезда медиков, пока они не увезут останки, считается в порядке вещей. Но в данном случае, как только его дети вернулись домой из школы, не заметив накрытого тела старухи, он снял покрывало с несчастной и бросил его в стиральную машину.

* * *

Сенка примчалась на место трагедии и обнаружила разбитое тело своей матери, и эта картина осталась с ней на всю жизнь. В таких случаях невозможно найти слова утешения, и Сенка знала, что причиной ухода Ханифы была вовсе не болезнь, с которой та давно и успешно боролась. Ее мужа больше не было с ней, и она не видела смысла в своей жизни.

* * *

Съемки моего фильма были отложены на неопределенный срок. Они не могли начаться, пока не успокоится наша боль, боль всех родных и близких благородной старой дамы, и не пройдет шок от этой невероятной трагедии ее самоубийства.

Первый этап съемок начался, когда в нашей памяти притупилась боль утраты. Подобно тому как со временем с черно-белых фотографий исчезает глянец, и в итоге остается лишь матовая поверхность, неизбежно унося событие в объятия вечности.

В 1973 году фильм «Часть правды» был показан на фестивале любительского кино в городе Зеница. Жюри зажгло мою звезду на закопченном небосводе этого города: фильм получил первый приз. Не то чтобы это произведение представляло огромный прорыв в мировом кино: никто не считал, что «Часть правды» станет классикой. Но присуждение приза подтверждало фразу, произнесенную ранее Камеричем, другом моего отца: «Повезло тебе, Мурат, твой сын знает, чего хочет!»

Я отправил «Часть правды» в пражскую Академию изящных искусств. Экспрессивность фильма стала достаточным основанием для комиссии, чтобы пригласить потенциального студента в Прагу для сдачи устного экзамена.

Вместе со мной в Прагу отправилась компания из нашей гостиной — все те, кто принимал участие в наставлении на путь истинный заблудшего лицеиста. Под эгидой Сибы Крваваца мы с отцом и Омерицей высадились в Праге.

* * *

Путь, ведущий в Академию, был расчищен тетей Бибой. После Варшавы и хеппи-энда в истории с семейством Райнвайнов, которые в итоге съехали из ее квартиры на площади Теразие, она четыре года вместе с дядей Любомиром прожила в Праге. Тетя снова работала в Институте международного рабочего движения, в то время как ее муж по-прежнему был корреспондентом агентства ТАНЮГ. Между тем на смену телетайпу пришел телефакс, и теперь дядя Любомир мог посвящать больше времени своему любимому занятию: теннису. Именно так он познакомился с Вацлавом Ицхой, секретарем Академии изящных искусств. Тетя Биба сумела принять нового гостя как подобает и рассказала ему обо мне множество красивых историй. Вернувшись в Белград, тетя не теряла связи с Ицхой и прочими пражскими деятелями. Я пришел к ней в гости на площадь Теразие, где она встретила меня как принца, бранясь на семью своего мужа:

— Эти немецкие свиньи забрали аккордеон Славенки!

— Нет, тетя, они не немцы, Райнвайны родом из Австрии.

— Это то же самое, мой Эмир! С Любомиром и семейкой Райнвайнов следует всегда быть начеку. Даже когда спишь, нужно следить краем глаза и слушать вполуха.

— Неужели они так ужасны?

— Райнвайны? Ты даже не представляешь, мой Эмир, с кем я живу!

— Если тебе что-нибудь понадобится, обращайся ко мне, ты же знаешь, что я твой защитник, готовый на все! — заверил я ее.

Я хотел, чтобы она знала, что может на меня рассчитывать.

— Ах, ты мое солнышко! — воскликнула она, прослезившись.

* * *

Поступить в Академию изящных искусств было делом непростым. Все кандидаты, мечтавшие об артистической карьере, опасались, что в напряженной обстановке экзамена не смогут достойно донести свои мысли до приемной комиссии.

Накануне экзамена я сидел один в своем номере отеля «Люцерн» и повторял материал. Всякий раз, делая передышку, я отправлялся в номер к членам нашей пражской экспедиции. И тогда отец, Омерица и Сиба быстро меняли тему разговора. Омерица заказал пражской ветчины. Бросив взгляд на молоденькую официантку, выставившую напоказ глубокое декольте, он произнес:

— Вы заметили, с каким вожделением малышка смотрит на Эмира?

Я был смущен, поскольку на самом деле это я пялился на официантку. Я понял, что Омерица просто пытается сменить тему, поскольку только что они разрабатывали план ночной охоты на чешских красавиц. Мой отец тут же включился в игру, забыв, что я был таким же герцеговинцем, как они, и умел приходить к логическим заключениям кратчайшим путем.

— Почему бы ей на него не смотреть? Он высокий, привлекательный и умный — полная противоположность нам!

Разумеется, это был отвлекающий маневр, чтобы не проболтаться о своей вечерней эскападе. И я совершенно не удивился, когда вечером они отправились «поразмять ноги».

* * *

Гостиничные номера не относились к моим любимым местам. Холодильник беспрестанно гудел, а матрас на кровати был продавлен посередине, что свидетельствовало о том, что до меня здесь спали тысячи других людей. А сколько пар, должно быть, занималось любовью на этой кровати! Здесь наверняка побывали гуляки всех мастей, которые видели в чешских женщинах

идеальное сочетание домохозяйки и проститутки. Неоновый свет рекламы отеля напротив ритмично мигал, отражаясь на стене прямо над моей головой. Я ощущал этот свет, как невыносимый звук. Сколько себя помню, не знаю почему, я не только что-либо вижу, но одновременно и слышу это. Пока трамвай с грохотом пересекал Вацлавскую площадь, мне в голову пришла мысль, что способность чувствовать свет как звук представляет собой преимущество для будущего режиссера.

Моим единственным убежищем в этой неприятной комнате, скорее враждебной для кандидата на обучение кинорежиссуре, было погружение в литературу. Чтение рождало во мне чувство, похожее на то, что я испытывал в ту пору, когда строил свой «Титаник». Все тяжелые моменты, которые время и пространство навязывали человеку, отходили на второй план. Это ощущение было особенно сильным, когда в свой мир меня уносил Чехов. Его истории о «маленьком человеке», одновременно простые и фантастические, напоминали мне мою собственную жизнь. Мой отец был готовым персонажем рассказов Чехова. Его желание маленького человека участвовать в большой истории полностью совпадало с чаяниями чеховских героев. Едва перевернув первую страницу книги, я наткнулся на персонажа, который меня очаровал. Внезапно мне захотелось упростить свою жизнь, подобно этому учителю географии. Он строил свое видение внешнего мира исключительно на очевидных вещах. Он никогда не шел на риск и не произносил ничего, в чем не был бы уверен на сто процентов. «Лучше всего для человека зимой, когда стоят холода, свернуться клубочком в теплой комнате возле печки», — говорил он. Его находчивость приводила меня в восторг, когда он заявлял: «Когда солнце палит слишком сильно, человеку лучше спрятаться в прохладной тени».

Компания, отправившаяся «поразмять ноги», вернулась в отель лишь под утро, а я уснул на рассвете с рассказами Чехова на груди и мыслями об учителе географии.

* * *

Члены приемной комиссии были похожи на большинство киношников, с которыми мне уже доводилось встречаться. Мужчины в бархатных костюмах с кожаными заплатками на локтях. Один даже пришил их к своему кашемировому свитеру. Они выглядели строгими, но я их не боялся. На вопрос одного из них — требуется ли больше соцреализма современному искусству? — я ответил, резко перейдя от эпохи Чехова к

происходящему в аудитории: «Разумеется, соцреализм занимает важное место в социалистических обществах, в жизни горожан, крестьян и рабочих!» Суровые члены комиссии покатились со смеху. Вероятно, от тона, каким я произнес эту фразу. На самом деле я был неспособен объяснить должным образом, что такое соцреализм, но я знал, что роман «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта был одним из его примеров. И что Максим Горький, творчество которого я тоже ценил, также был его представителем. Все прыснули со смеху, словно зрители, хохочущие при виде актера, который против своей воли вызывает веселье в зале в разгар трагедии.

* * *

Одновременно с этим кинематографическим эпизодом в моей жизни произошло новое важное событие. На меня свалилась любовь и встряхнула подобно землетрясению.

В первый раз, когда я встретил Майю Мандич на горе Яхорина, я еще не знал, что это она. Некоторое время спустя, когда я увидел ее во второй раз на улице Тито, где она выгуливала своего щенка, сомнений не оставалось: это была она.

Мой друг Труман предложил Майе роль в любительском фильме. Впоследствии этот фильм, посвященный проблеме социальной справедливости, был снят в моей постановке, но без Майи. Ее ответ был лаконичным: если делишь с человеком жизнь, не следует делить с ним фильмы.

* * *

До нашей первой встречи моя мать и Мисо, отец Майи, каждое утро встречались на улице. Они тоже были знакомы, не зная об этом. В течение двадцати лет Сенка, поднимаясь по тропинке Косева, и Мисо, спускаясь по ней, проходили мимо друг друга, направляясь на работу. Сенка шла на факультет гражданского строительства, а Мисо — в Префектурный суд. Они ни разу не обмолвились ни словом и все же были старыми знакомыми.

* * *

Майя Мандич не снялась в моем первом фильме, но

впоследствии сыграла главную роль в моей жизни.

* * *

Когда я увидел ее как-то после обеда в кафе «Сеталист», я не поверил своим глазам. Судьба привела меня из Пятого во Второй лицей Сараева, который носил имя народного героя Огнена Прицы. «Сеталист» находился в тридцати метрах от лицея. Майя разгадывала кроссворд в компании подруги Лили Брцич. Когда она подняла на меня взгляд, мне показалось, что в «Сеталисте» погас свет и сияют только ее глаза. Поняв, что путь свободен, я помахал рукой и показал на кроссворд.

— Два по вертикали: домашнее животное, — произнес я. — Какие у нас есть буквы? О, Р, В. Значит: «корова»!

Я без труда договорился о свидании: следующим вечером в баре отеля «Белград».

* * *

Когда я оказался в этом баре, от остроумного оратора из «Сеталиста» не осталось и следа. Оратор нуждался в своей публике, чтобы очаровывать аудиторию. «Ну что, слабо сейчас покрасоваться, умник? Давай покажи себя в деле!» На этой чужой территории отсутствие поддержки зрителей и восхитительное чувство страха перед прелестным противником спутали все карты смельчака из кафе «Сеталист».

Мы сидели в баре отеля «Белград», словно Адам и Ева на ветке дерева, согнувшегося под тяжестью плодов, и наши ноги не касались дешевого плиточного пола. Они свешивались над пропастью, и я дрожал от страха при мысли, что при малейшем неосторожном движении могу рухнуть в эту пропасть. Я не знал, куда мы упадем. Со времен Адама и Евы представление о рае и аде сильно изменились. Думал ли Бог о Нью-Йорке, когда изгонял Адама и Еву из Эдемского сада в ад?

Наше молчание в отеле «Белград» продолжало то молчание, которое начали Мисо и Сенка на аллее Косева. Я ничего не мог сказать Майе о любви, даже если возбуждение, которое вызывал во мне женский взгляд, начинало меня серьезно беспокоить.

* * *

Мы, парни из Горицы, никогда не были искренними, когда речь заходила о любви. Мы соревновались, кто громче и убедительнее докажет, что любовь — всего лишь «небескорыстное развлечение». Поскольку мы презирали бездействие, любовь казалась нам бесполезной тратой времени. Все наши представления о любви сводились к американским фильмам, в которых герои всегда делали две вещи. Прежде всего, они регулярно ходили в общественный туалет и, пока мочились, вели важные разговоры. Далее, в другой сцене, они по крайней мере пару-тройку раз произносили: *«I love you».* Ни одно из этих действий нам не нравилось. Поскольку если ты мочишься, то уж мочись, а если ты кого-то любишь, зачем об этом говорить? Мы понимали лишь ту любовь, которая заставляет страдать и плакать. Как у Паши, который часто плакал из-за Мирсады. Своей высшей точки любовь достигала, когда кто-нибудь с окровавленной физиономией вываливался из кафе на асфальт Горицы. Когда речь заходила о женщинах, лишь страдание что-то значило в наших глазах. Остальное было простой порнографией. Но мы все же осознавали, что отношения между мужчиной и женщиной были крайне деликатной темой. Но при этом никто не мог нам объяснить, что же такое любовь. Я сам был вынужден искать оригинальные ответы на этот вопрос.

* * *

Я молча смотрел на Майю, размышляя о том, что любовь похожа на поезд, мчащийся на тебя на полном ходу: колеса стучат, состав все ближе и ближе, а ты застрял на рельсах и думаешь о ее взгляде, который наполняет тебя чувствами, заглушает грохот поезда и боль, когда тот сбивает тебя с ног. Внезапно ты перестаешь слышать и видеть. Лишь гораздо позже оказывается, что никакого поезда не было, а история любви остается великой загадкой. Любовь — это греза. Возможно, не больше, чем таинственный закон физики, согласно которому два тела с разной температурой стремятся соединиться в пространстве.

* * *

Если бы кто-нибудь включил сирены, оповещающие о конце света, я бы не сдвинулся со своего расшатанного стула в отеле «Белград». Я был уверен, что этот стул представляет собой ветку

плодоносного дерева, с которой мы в любую секунду могли низвергнуться в ад.

Землетрясения, равно как бедствия и эпидемии, плотным кольцом окружают столики влюбленных. Наш столик был не просто молчаливым, я ощущал, как немеют мои губы и голосовой аппарат не в состоянии произнести ни одной из тех глупостей, которые обычно выдает незрелый мужчина. Вероятно, потому, что молодой человек, даже если он идиот, чувствует, что в любви гармония, создаваемая молчанием и присутствием партнерши, важнее, чем риск ляпнуть что-нибудь не то.

Это как в фильме. Самых лучших диалогов и декораций недостаточно для того, чтобы фильм получился хорошим. Эта мысль несколько меня успокоила. Видимо, любовь тоже строится на таинственных паузах между словами, между грезами. Чувство растет на протяжении всех действий, совершаемых человеком, и никто так и не сможет проникнуть в конечную тайну и найти ответ на вопрос: «Какая часть любовных отношений несет в себе больше всего энергии?» Поскольку, как только тайна рассеивается, когда любовь исчезает, люди расстаются и начинают думать лишь об очевидных и часто постыдных вещах.

* * *

Несмотря на мои благородные мысли о любви, я продолжал молчать. Наверное, она решила, что я глупый. В какую-то минуту я хотел сказать ей, что у меня уже есть подружка, но зачем было лгать ей? Тем не менее я слышал, что женщины любят мужчин, которые красиво лгут. Мы только что познакомились. Я подумал, что Майе, наверное, нелегко быть такой красивой. Столь совершенная красота ставит вас в ряд победителей, подобно Кассиусу Клею до его боя с Фрейзером. Божественная красота женщин — единственное, в чем мужчина может и должен завидовать женщине. Безоговорочно. Женская красота — точка слияния между человеческим родом и вечностью.

* * *

Мы по-прежнему неподвижно сидели на ветке дерева, и я размышлял о том, как бы мне незаметно подвинуться и слезть с этой шаткой опоры. Но меня пугала мысль, что при первом же моем движении по направлению к стволу ветка может сломаться под тяжестью моих мыслей и моего молчания. «Я не могу

выносить этот взгляд, пора уходить», — подумал я. Я встал, чтобы уйти, но, едва сделав первый шаг, увидел Нью-Йорк. Неужели судьба действительно уготовила Нью-Йорку роль ада? И все века страданий от Эдемского сада до наших дней длились всего лишь секунду?

— Ты куда?

Услышав голос Майи, я останавливаюсь и лгу:

— Никуда!

И снова сажусь на место, чувствуя себя этаким роденовским Мыслителем, застывшим в бронзе.

* * *

Мы сидели на жестких стульях бара в отеле «Белград». Я вздыхал, ерзал, не мог усидеть на месте, я не знал, куда деть свои руки. С ногами было еще хуже. Я без конца переплетал их, словно они были слишком длинными. Словно у меня были ноги чемпиона по баскетболу Кресимира Косича. Я принялся слегка покачиваться на стуле, как одноглазый в начале фильма «Однажды на Диком Западе». Майя смотрела на меня и боялась, что, упав, я утащу ее с собой в ад.

— Ты упадешь! — с легкой улыбкой сказала она мне.

По тому, как она это произнесла, я мог бы поклясться, что она не имела ничего против этого. Если бы только я мог заговорить о любви, чтобы произвести на нее впечатление, подумал я. Может быть, рассказать ей историю о том инженере-строителе, который тащил свою голую жену по аллее Горицы до военного госпиталя, демонстрируя изменницу прохожим? Они прошли таким образом четыре тысячи шагов, и никого из случайных зрителей не позабавила эта грустная сцена. Все испытывали лишь чувство жалости. Потому что эти двое жили вместе уже двадцать лет, а разрушенная любовь все же остается любовью.

Или, быть может, поговорить с ней о Гагарине, рассказать, как первый человек полетел в космос? А вдруг ей это будет неинтересно? Она наверняка уже встречалась с умными мужчинами, которые уверены, что можно привлечь к себе внимание женщины одними лишь знаниями, и великая любовь гарантирована. А может, пуститься в объяснения закона, направляющего человека в космос, туда, где гравитация уже не так важна? Или лучше все-таки рассказать о Гагарине? Любовь сжигает столько же энергии, сколько космический корабль, устремляющийся к небу. А чувства влюбленных освобождают их

от вздора и банальностей, таких как гравитация.

* * *

Когда речь идет о любви, один знак никогда не обманывает: ветер, пролетающий над бедным кварталом, сквозь скрежет железных крыш доносит голос, который шепчет: «Я тебя люблю». И он действительно нас любит, раз мы его слышим, даже если эти слова не были произнесены. Ведь в любви нет ничего реального, подумал я. Она словно цифра, заключающая в себе все другие цифры. И поскольку цифры не существуют в реальности, любовной цифры тоже нет. Однако любовь есть. Мне кажется, между нами все случилось той молчаливой ночью в баре отеля, и все, что последовало за этим, уже содержалось в той самой ночи. Как для Мисо и Сенки, которые так часто встречались в течение десятков лет: все это потраченное время должно было превратиться в нашу любовь.

* * *

Мой взгляд опустился к полу и наткнулся на ноги Майи. «Если бы у Королевства Югославия были такие ножки, оно бы продержалось гораздо дольше!» — бросил водитель Майе, когда она поднималась в автобус, чтобы отправиться из Косева в центр города. Этот шофер-монархист был прав. Но такое легко бросить мимоходом. Тайна кроется в ответе на вопрос: как завязать общение? Сказать что-то остроумное, но что потом? Необходимо найти какую-нибудь историю!

* * *

В лабиринтах моей памяти всплыла статья из астрономического журнала «Галактика». Там описывалось, как Гагарин полетел в космос. Рассказать ей об этом? Они очень хорошо все объяснили. Сила отрыва, выталкивающая космонавта в воздух, возникает благодаря изменению давления. Мотор заставляет вращаться двигатели под крыльями летательного аппарата, и это создает более сильное давление, чем над крыльями. Будет ли это интересно Майе? Или же я буду похож на всех тех, кто уже пытался сблизиться с ней при помощи темы «пилот самолета»? Возможно, следует начать с этого, а закончить

тем, что два тела с разной температурой стремятся соединиться в пространстве. Она поднимет меня на смех. Но в конце концов, почему бы и нет? Смех — первый шаг навстречу друг другу. Только что делать, если она воспримет все серьезно и захочет развить тему? Что делать, если окажется, что она разбирается в физике лучше меня? «Молчи», — сказал я себе и почувствовал себя этаким Микки Маусом, который, отправившись на поиски большого куска эмментальского сыра, неосмотрительно угодил в ловушку: я стонал на полу и видел, как Майя и ей подобные превращают мужчин в домашних мышей. И этого им недостаточно. Не успев перешагнуть порог, чтобы отправиться за покупками в бакалею за углом, они требуют от мужчин переодеться в шкуру льва, готового к прыжку. И неважно, предстоит ли тем браниться с кассиршей магазина из-за того, что она нагрубила вашей супруге, или сражаться с целым миром. Что интересно, сочетание этих двух образов просто обязательно. Если вы только мышь или только лев, это им не нравится. «Что же мне делать?» — терзался я вопросом. В мгновение ока я сбросил с себя шкурку мыши, которую на секунду примерил, чтобы снова стать самим собой.

* * *

Адам и Ева в итоге упали со своей ветки из-за яблока. Но вовсе не на землю Эдемского сада. Если стулья отеля «Белград» были веткой райского дерева, для меня не оставалось сомнений, что асфальт Нью-Йорка был землей ада. Какое проклятие карает человека! Теперь я абсолютно уверен, что Господь думал о Нью-Йорке, когда наказывал Адама и Еву. Тем не менее у меня еще не было ответа по поводу дешевого балканского отеля: был ли он раем? Разумеется, да! По той простой причине, что невозможно так влюбиться за пределами Эдемского сада.

* * *

Мы вышли из бара отеля, безмятежная ночь благоухала ароматами, и я совершил преступление. Я сказал Майе, что у меня есть подружка. Я так и не понял, было ли это тактическим ходом или следствием страха пропасть в объятиях такой женщины. Позже многие женщины, считавшие, что поймали свой шанс с растрепанным артистом, оставались ни с чем. Я лгал ей, выражая сожаление, что наше приключение закончится этим же

вечером, хотя было очевидно, что у истории будет продолжение. Мисо и Сенко не для того столько раз поднимались по аллее Косева, чтобы мы позволили этой сараевской ночи затеряться в волнах Миляцки.

* * *

Райское дерево, которое я представлял, пока мы сидели в отеле «Белград», в итоге треснуло. Ветка сломалась. Первородный грех действительно привел нас в Нью-Йорк! Разве что приземление было мягким. Не было никакого падения. В этот город с дьявольской энергией мы ступили в 1988 году, высадившись из «Боинга» *JAT*, — мы с Майей и наши дети: дочь Дуня и сын Стрибор, — после того как я получил должность преподавателя на отделении кинематографии Колумбийского университета. Когда мы покидали Югославию, по телевидению начали транслировать начало распада нашей страны. «Йогуртовая революция»[30] отменила автономию провинции Воеводина.

Ломоносовоговно!

В 1974 году я окончательно покинул квартиру моих родителей. В том же году была принята новая конституция Югославии, которая давала больше автономии Хорватии, чем Сербии. Это был первый акт ослабления объединенного государства южных славян, и значение слова «политика» на Балканах становилось мне все понятнее. Националистические требования «хорватской весны»[31], которые были восприняты в 1971 году как враждебный акт, отныне фигурировали в новой югославской конституции.

* * *

Молодой девятнадцатилетний парень покинул свою провинцию, чтобы отправиться изучать режиссуру в пражскую Академию изящных искусств. Отъезд в «мать всех городов», как чехи любят называть свою столицу, был не только отъездом в цивилизованную Европу. Окончание моей жизни в семейном гнезде моя мать переживала как болезненный удар судьбы. Тем не менее ее уверенность в том, что успеха в жизни можно добиться лишь через образование, брала верх над ее грустью, даже если она опасалась, что не сможет вынести разлуку со мной. Отныне ей больше не придется волноваться за сына, который поздно возвращается домой, встречается с опасными и подозрительными типами и приходит весь в крови после драк. Эту битву она уже выиграла. Поскольку я ни одной ночи не провел в полицейском участке, тогда как большинство моих приятелей в итоге попали в исправительные учреждения.

Без врожденного упрямства моей матери мое искусство никогда не появилось бы на свет. Я понимал это уже тогда. Она никогда не отступала от задуманного, как бы ни было сложно его достичь. В ее ожидания касательно моего успеха не входили международные призы и все, что им сопутствовало. Мой отец придерживался иной точки зрения. «Тебе необязательно быть Феллини, стань хотя бы Де Сикой», — говорил он мне. Моя мать в своих скромных стремлениях была готова на все, чтобы я не походил на мелких местных хулиганов, чтобы я получил высшее образование, чего ей самой сделать не удалось. А дальше — будь что будет. Отец же был занят другими, более важными для человечества заботами.

* * *

Получить паспорт в Социалистической Федеративной Республике Югославия было несложно; это бесспорно подтверждало, что мы были лучше, чем Болгария, Румыния и Чехословакия. Все еще больше упрощалось, если твой отец занимал пост помощника министра информации. Следуя инструкциям Мурата, я передал свои документы и фото в окошко Управления внутренних дел. Появился невысокий, но крепкий мужчина с лысиной. Я часто видел его в Косове, когда играл в ФК «Сараево». Он заглянул через плечо служащей, которая проверяла мои документы, и подмигнул мне. Затем тихим голосом пригласил следовать за ним.

* * *

Когда я вошел к нему кабинет, он с улыбкой предложил мне кофе или, «если молодой человек пожелает, что-нибудь покрепче». Он выразил свою радость по поводу того, что в Сараеве наконец появились молодые люди, желающие продолжить обучение за границей.

— В Белграде и Загребе их предостаточно, — сказал он и резко сменил тон. — Среди них немало всякой швали, которая наносит вред стабильности нашей страны. Тито, в какой бы стране мира он ни появлялся, вызывает большое уважение у людей…

Мужчина округлил глаза и сделал паузу. Затем он наклонился над столом и добавил глухим голосом:

— Только четники и усташи ненавидят нашего Тито, а также наши эмигранты за границей и все здешние предатели! Было бы неплохо, если бы ты иногда приходил сюда выпить кофейку, когда у тебя выдастся свободная минутка во время твоих приездов в Сараево. Если вдруг услышишь что-нибудь связанное с чудовищными происками против нашей системы, против товарища Тито… Ты также можешь передавать информацию по кабелю.

— Как это — по кабелю?

— Молодой человек, Белл изобрел телефон, чтобы хорошие друзья могли обмениваться между собой важными сведениями.

— Разумеется.

Я запнулся и встал со своего места. Не прикоснувшись к кофе, я положил в карман паспорт, который тем временем просунули в окошко.

Я отправился прямиком к отцу, в Исполнительный совет Республики Босния и Герцеговина.

Вне себя от гнева, я швырнул паспорт на стол отца.

— Твои люди, — крикнул я, — хотят сделать из меня доносчика! Я еду учиться в Академию изящных искусств, а не в Полицейскую академию!

— Ну, я им сейчас устрою! — возмутился отец.

Он тут же набрал номер Юсуфа Камерича, начальника сараевской полиции:

— Что это за безобразие? Я отправляю своего сына в Прагу учиться не шпионажу, а режиссуре! Разве вам мало того, что он едет за границу без стипендии и мне придется тратить на это наследство моей жены? Так вы к тому же хотите сделать из него шпиона?! Мой сын не продается!

— Успокойся, Мурат. Сейчас в стране очень сложная ситуация.

— Сложная ситуация! Юсуф, прошу тебя, не рассказывай мне историй, я не журналист! Оставьте в покое моего сына!

* * *

Тем же вечером, потрясенный поведением органов внутренней безопасности, мой отец вернулся домой пьяным. На этот раз его оправданием было то, что он никогда не позволит своему сыну стать шпионом. В качестве подтверждения его сопровождал Юсуф Камерич, тоже пьяный, который твердил как заведенный, что все было именно так, как говорил Мурат.

— Ты опять пил? — спросила моя мать.

— Как же мне не выпить? Они хотели сделать из моего Эмира шпиона!

— Не преувеличивай, Мурат. На нас тоже давят сверху с тех пор, как усташи проникли в Западную Герцеговину, — защищался Юсуф Камерич.

— Не верю не единому слову!

— Послушай, Сенка, если Мурат мне не верит, ты-то хоть поверь! Пока я буду на этой должности, никто не посмеет косо смотреть на малыша! — пообещал Камерич.

Мне Камерич очень нравился. До работы в полиции он был директором коммунального предприятия и часто приглашал нас в единственный крытый бассейн Сараева, который был сооружен на месте старых турецких бань.

* * *

Той ночью мой отец пошел провожать Юсуфа Камерича до улицы Тито и повел нашего пса Пикси на прогулку. Этот ритуал стал частым в жизни моего отца. Чаще всего выгуливание Пикси было лишь предлогом для того, чтобы продолжить ночные вылазки. После прогулки отец возвращался с собакой, звонил в домофон снизу лестницы и кричал Сенке на восьмой этаж:

— Сенка, вызывай лифт, я еще немного пройдусь!

Тогда моя мать в бигуди открывала дверь и обнаруживала испуганное животное, скулящее в лифте фирмы «Давид Пайич».

На этот раз Мурат изменил свой план. Он отправился вместе с собакой в бар-ресторан «Кварнер». Дергая за ручку двери соседнего магазина запчастей «Электротехна», он удивлялся, почему закрыт «Кварнер». Он никак не мог взять в толк, что ошибся дверью, и пытался войти не в шикарный сараевский ресторан, в прошлом бистро «Требевич», а в расположенный рядом магазин «Электротехна». Той ночью мой отец долго спрашивал себя, почему чертов «Кварнер» закрыт, когда на дворе нет еще и полуночи и он надеялся выпить свой последний бокал вина. Мурат вернулся домой с Пикси, и то, что он не отправился в другое кафе и не пришел в пальто, испачканном побелкой сараевских домов, стало для нас с матерью одним из счастливых моментов нашей жизни.

* * *

Когда отцу предстояло решить какую-либо серьезную проблему, он прекращал пить. Поскольку мне было трудно в это поверить, я считал, что скорее алкоголь в эти минуты переставал на него действовать. Мать называла отца «буржуйкой», поскольку он был похож на одну из таких печек, которые моментально нагреваются. Правда, и остывал он так же быстро. События, связанные с коварным упрямством директора сараевского телевидения, заставили его действовать без поддержки алкоголя. Из этого я сделал вывод: для того чтобы отец бросил пить, необходимо применить новаторский метод. Неплохо время от времени ставить перед ним конкретную задачу, прибереженную на случай, когда очередные мировые исторические события вызовут бурю в его душе. Это стало бы ощутимым вкладом в борьбу за трезвость на территории Социалистической Федеративной Республики Югославия.

Моему отцу не удавалось добиться для меня стипендии от телевидения Сараева. В ту пору директором там был некий Койович, который не знал, как отделаться от «буржуйки». Мурат

пытался убедить его и во время личных встреч, и с помощью друзей.

— Какой же он кретин, — говорил отец о Койовиче. — Если мой сын был допущен к вступительным экзаменам среди двухсот пятидесяти кандидатов со всего мира, это должно что-то значить для Сараева и Югославии!

Будучи членом Союза коммунистов Югославии, мой отец прекрасно умел использовать альтруизм в качестве аргумента:

— Послушай, Койович, я прошу тебя об этом не для себя, а для твоего телевидения. Я-то в состоянии оплатить образование своего сына при помощи наследства жены.

Но Койович мало чем отличался от других директоров югославского телевидения. Его интересовали лишь новости и молоденькие дикторши. Он также тщательно следил за тем, чтобы не раздражать высокопоставленных политиков. Поскольку понимал, что без преданности вышестоящим лицам не поздоровится нижестоящим. Любая попытка неповиновения в итоге удалила бы его от дикторш. Вот почему он не хотел брать на себя риск, связанный с выплатой стипендии сыну Кустурицы, хотя по логике вещей напрашивалось обратное. Основной причиной было то, что Мурат не пользовался хорошей репутацией у Брайко Микулича, главы Центрального комитета Боснии и Герцеговины. Он слишком громко «лаял», но, судя по всему, его не считали серьезным врагом системы. Даже если его суждения о политической реальности бывали резкими, он все равно выглядел безобидным. К тому же считалось, что Мурат обольстителен, наделен шармом и является украшением любого общества. Во всех ресторанах, от Илиджи до Баскарсии, посетители не раз наслаждались его остроумием.

Койович, не знавший, как отделаться от «буржуйки», придумал план, чтобы отомстить за оскорбления, которые однажды мой отец бросил ему в лицо в кулуарах ассамблеи, после того как понял, что надеяться на стипендию больше не имеет смысла.

* * *

Одна из любовниц директора Койовича была не дикторшей, а служащей в секретариате Министерства информации республики Босния и Герцеговина, где работал мой отец. С помощью этой особы Койович дал ход старой истории, связанной с мусульманским национализмом моего отца. В ту пору как раз раскрыли движение «мусульман националистов-экстремистов», и

Койович сообразил, что такой ярлык сможет существенно сбавить пыл «буржуйки» и ему не придется давать тягостные объяснения по поводу своего отказа в выдаче стипендии сыну помощника министра. Когда его любовница передала дело в Управление внутренних дел и досье легло на стол Юсуфа Камерича, тот сразу же предложил Мурату выпить по стаканчику в отеле «Европа». Из офиса директора отеля они вместе позвонили Койовичу, который как раз готовил выпуск новостей.

— Послушай, Койович, ты сейчас же замнешь это дело! — заявил Камерич. — Имей в виду, что я частенько встречаю с Муратом рассвет в компании сливовицы и свиной колбасы. Поэтому я могу поручиться, что он не имеет никакого отношения к мусульманским националистам!

Но «буржуйка» внезапно распалился и вырвал телефонную трубку из рук своего друга:

— Ты совсем сбрендил, безмозглый Койович? Я — националист?! Давай приходи сюда, в отель «Европа», и я покажу тебе, что такое настоящий серб, бревно ты неотесанное из леса Требинье! Идите вы к черту, вместе с Тодо Куртовичем, который тебя поставил на эту должность! — выпалил мой отец на одном дыхании, отбиваясь от Камерича, тщетно пытающегося отобрать у него телефонную трубку.

* * *

Стипендию мне так и не назначили. Мое дорогостоящее обучение, а также жизнь студента в большом городе обеспечили деньги, оставшиеся от продажи дома на улице Мустафы Голубича.

* * *

Через два дня после моего отъезда в Прагу отец впал в хандру, причем на свой манер. Он принялся водить с собой в ночные загулы парня по имени Слунто, который был моего роста. Часто, уже подвыпившие, оба приятеля заходили в какое-нибудь кафе и завязывали дружбу с незнакомцами. Мой отец угощал их выпивкой и с гордостью показывал на своего спутника.

— Этот парень такого же роста, как мой Эмир! — восклицал он. — Взгляните на него! Знаете, какой у меня красивый сын? В нем метр восемьдесят восемь!

У моего отца рост был небольшой, но его обаяние с лихвой

восполняло этот недостаток.

* * *

На вокзале в Сараеве собрались мои многочисленные друзья: Паша, Зоран Билан, Харис, Мирко, Ньего, Бели… Все они пришли, чтобы обнять меня и пожелать доброго пути. За некоторое время до этого Новак Тодорович, гроза Сараева, нагрянул в кафе «Сеталист» и подарил мне часы фирмы *«Piazze»*.

— Куста, ты выходишь в большой мир, — сказал он, — если у тебя наступят трудные времена и тебе понадобятся деньги, продай их.

Поскольку я порвал с Майей, она не пришла со мной попрощаться. У нее был другой парень, а я делал вид, что мне это безразлично. Мне удавалось скрывать от всех, насколько мне было плохо на самом деле. Позже я понял, что очень важно уметь скрывать свои чувства. Не только в фильмах про партизан — когда «воины тени» лицом к лицу встречаются с фрицами, — но и в жизни. Здесь тоже необходима хорошая актерская игра.

* * *

Пластиковый пакет, в который мы с Сенкой сложили все мои вещи и наспех перевязали веревкой, порвался, когда я поднимался в поезд.

Это был тот самый вокзал, где я, юный хулиган, шлепал пассажиров по голове скрученной газетой в момент отправления поезда, и судьба привела меня именно сюда, мешая прочувствовать все волнение от расставания. Не было никакой необходимости в том, чтобы сейчас здесь появился какой-нибудь шалопай и наказал меня за то, что я проделывал с другими в детстве. Я стоял на подножке вагона, когда поезд дернулся, и потерял равновесие. Моя мать разрыдалась. Я упал на задницу и схватился за свой пакет. Веревка лопнула, и мои вещи начали высыпаться из сумки. Я поднял руку, пытаясь махнуть в знак прощания своим друзьям, а другой рукой в панике старался удержать вываливающиеся из пакета трусы, носки и майки. В итоге я покинул Сараево в обнимку с пакетом. Поезд набирал ход. Сидя на корточках, я ухитрился сделать несколько прощальных жестов. В этой неудобной позе я искал Майю глазами, все еще надеясь, как последний идиот, что она появится на платформе. Чем дальше удалялся Сараево, тем явственнее вырисовывался

образ Майи. Как же нам порой не хватает лояльности друг к другу, подумал я. Все мои друзья пришли выразить мне свою симпатию, а я думаю о той, кто даже не вспомнил обо мне.

* * *

Знакомство с Вилко Филачем стало моим первым важным шагом в кинематографе после приезда в Прагу. Едва устроившись в студенческом общежитии на улице Градебни, я тем же вечером познакомился с Вилко. Сцена была не такой зрелищной, как в «Пугале» Джерри Шацберга, где знакомство героев произошло на улице. Нам было суждено встретиться в коридоре студенческого общежития.

Это общежитие было четырехэтажным зданием, где студенты всех отделений жили вместе. Самое интересное, что девушки и ребята жили под одной крышей. Моя комната располагалась на третьем этаже, и дверь выходила на лестничную клетку, откуда лестница вела на верхний этаж. Поэтому я мог наблюдать за всеми, как в кафе «Сеталист». И особенно за девушками, поднимавшимися на четвертый этаж. Когда ко мне в гости приходили студенты с режиссерского отделения — Буцко и Туцко, оба из Сараева, — они распахивали настежь дверь и задавали вопросы на манер бездельников из кафе «Сеталист»:

— Девушка, не желаете что-нибудь выпить? Немного сока или, может, аперитива?

* * *

Первый вечер в общежитии был для меня безрадостным. Моему взору открылись длинные пустые коридоры, свежевыкрашенные в белый цвет, с множеством дверей. И ни одной живой души. Я решил, что долго так не выдержу, и даже стал подумывать о возвращении в Сараево завтра утром. При малейшем звуке я выскакивал из своей комнаты. Не для того, чтобы показаться девчонкам. Только по причине одиночества. Именно тогда в глубине коридора я увидел Вилко, который шел ко мне, держа в руках пачку сигарет.

— У меня нет спичек, — сказал он мне.

Я достал из кармана зажигалку и дал ему прикурить.

— Это нереально, словно сцена из фильма! — заметил я.

Вилко засмеялся.

— Как в «Пугале»? — догадался он. — Только атмосфера

другая.

Он имел в виду фантастическую атмосферу, царящую в начальной сцене фильма. Огромная туча вот-вот прорвется, а за ней сияет солнце — уникальный кадр. Именно в этот момент Хэкмен и Аль Пачино обмениваются тем, что у них есть: сигаретами и зажигалкой. Эта сцена в течение долгих лет изучалась студентами, и все любители кинематографа клянутся только ею.

— Да, ты прав, — ответил я. — Ты будешь Аль Пачино, а я — Джином Хэкменом.

— Согласен! Хорошее распределение ролей.

Редкая история дружбы, чистый экзистенциализм, — нетипичный фильм для Соединенных Штатов.

* * *

Вилко был на два года старше меня и уже имел опыт создания нескольких значительных фильмов. Он был единственным крупным кинооператором, который не использовал отражающие панели. Обычно операторы злоупотребляли световыми эффектами, которые смягчали свет, падавший на лицо человека или какой-нибудь предмет. Вилко же создавал прямое, но сдержанное освещение. Он считал, что оно должно быть именно таким. Еще никому из кинооператоров не удавалось с такой экспрессивностью соединить тень и резкий дневной свет. Вилко увлеченно экспонировал человеческие лица и различные сцены. Стоя по ту сторону кинокамеры, он прославлял жизнь, а не искусство, наполняя кинокадры первобытной силой человека. Однако при всей своей ненависти к искусственности в кино, он легко влюблялся в гримерш. Это был настоящий приверженец натурализма. И он не опасался провала своих фильмов.

— Мне на это глубоко наплевать! — часто говорил он. — Если я не состоюсь как оператор, я всегда смогу фотографировать свадьбы в Словении. И вместо денег мне будут давать немного колбасы и пива. А где жить, я найду.

Он любил женщин и вино, а также марихуану. И было сложно сказать, какая из этих страстей была сильнее.

* * *

В конце моего первого года учебы Боривой Земан, один из моих преподавателей режиссуры, посмотрел мой первый фильм.

— Я уверен, однажды ты создашь великий фильм, — заверил он меня за кружкой пива. — Но запомни одно: любой идиот способен зачать ребенка, и лишь исключительный человек может создать великий фильм.

Похвала моего преподавателя доставила мне удовольствие, но все же мне было сложно принять его цинизм касательно продолжения рода. Поскольку однажды я собирался обзавестись ребенком, это означало, что я тоже стану идиотом, пусть и не круглым. Тем не менее я согласился с его фразой об идиотах и детях — и потому, что она была произнесена в пивной в тот момент, когда вошла его дочь и бросила на него неодобрительный взгляд, и потому, что профессор был немного навеселе.

* * *

Боривой Земан был достойным представителем чешского народа. Он не питал ненависти к русским, но и особой любви к ним не испытывал. Его маленькая месть оккупанту выражалась в способности иронизировать, спасавшей чешскую нацию от депрессии и особенно ярко проявлявшейся в его фильмах. Другим средством, которое чехи использовали для спасения своей души, было пиво. Этот алкогольный напиток считался одним из лучших в мире и обладал успокаивающим действием. Пиво ежедневно притупляло чувства чехов — благодаря этой мягкой анестезии они могли выносить советскую оккупацию.

* * *

На кого похож и что рассказывает человек из народа, когда он пьет пиво? В ответе на этот вопрос кроется секрет маленькой революции, которую устроили чехи (Форман, Менцл, Влачил) в европейском кинематографе. Глядя на их творения, я в свою очередь мечтал создать в Югославии фильм о маленьких людях. Поэтому я проводил много времени в чешских пивных и прислушивался к тому, что рассказывают друг другу посетители, опустошая свои кружки пива.

Каждый вечер после занятий я отправлялся слушать их беседы.

После седьмой кружки профессор Земан принялся смотреть на меня с видом человека, который в любую секунду может стать нелюбезным. В ту пору я был уверен, что повсюду в Европе

мужчины под воздействием алкоголя становятся дикарями, как в моих родных краях. Это был один из тех моментов, когда пьяницы начинают нести чушь, а их собутыльники говорят в их оправдание: «Он не злой, просто перебрал». А если в ход идут кулаки, всегда находится кто-нибудь, кто нравоучительно заявляет: «Это алкоголь ударил им в голову!» Однако у нас есть и спокойные выпивохи, которые тихо и методично разрушают свой организм. У чехов нарушители спокойствия — редкость, особенно в просвещенных кругах кинематографа, к которым относился и мой преподаватель.

В напряженном взгляде Земана начал вырисовываться вопрос.

— А знаешь ли ты, Кустурица, — в конце концов спросил он, — в каком русском слове семь раз повторяется буква «О»?

Не знаю почему, но я сразу подумал о слове «говно», вероятно потому, что чехи часто употребляли это слово. Впрочем, самой повторяемой фразой бравого солдата Швейка была эта: «Человек хочет быть гигантом, а на самом деле он — говно!»

* * *

В первое время я с трудом принимал особенности этого маленького народа. Много воды Влтавы утекло под мостами Праги (ого! — сказал бы мой отец), пока я не привык к чешскому мировоззрению. Вероятно, среди прочего потому, что в Праге я встречал много людей, у которых всегда имелись наготове язвительные фразы, едкие остроты и приводящие в замешательство вопросы.

Еще в Сараеве я ненавидел пословицы, которые моя мать использовала слишком часто, пытаясь компенсировать свой недостаток культуры многочисленными народными мудростями. Она произносила эти красивые изречения, чтобы подкрепить свои пророчества, пока однажды я не сказал ей, что они ни на чем не основаны, поскольку народ придумывал их, чтобы найти себе оправдание. Например, когда хотят, чтобы работа была успешной, говорят: «Как утро начнешь, так и день проведешь». Но если работа не ладится, это звучит несколько иначе: «Цыплят по осени считают».

— Ради бога, Эмир, тебя послушать — так ты самый умный в мире! — упрекала меня мать. — Ты считаешь народ таким глупым?

— То, что говорит народ, не имеет никакого отношения к мудрости! Я просто хотел тебе объяснить, что народ достаточно хитер, чтобы оправдывать все свои действия.

— Прошу тебя, не дерзи!

Моя мать всегда заканчивала дискуссии одинаково, невзирая на то что я стал лучшим учеником в классе и мой словарный запас, как можно было слышать, значительно улучшился.

* * *

В Чехии даже поговорки несли в себе гуманистический размах.

— Чем отличается человек от пчелы? — спросил меня однажды один из таких пражских острословов, опять же за кружкой пива.

Поскольку я не обладал достаточным воображением, чтобы ответить на этот интересный вопрос, он принялся объяснять:

— Человек отличается от пчелы тем, что она оставляет за собой мед, а человек — дерьмо.

Какой космический взгляд на человеческую реальность! Я представил себе каплю меда, на веки вечные плывущую во Вселенной. Возможно, это немного преувеличено, подумал во мне интеллектуал, поскольку человек все же построил за свою историю Парфенон. Чехи знали, каким пагубным существом был человек. Они опасались, как бы этот хозяин планеты в эпоху упадка и в качестве проекта концептуального искусства не создал конструкцию под названием: «Дерьмо над Парфеноном». Поскольку Богумил Грабал[32] неоднократно повторял, что все европейские народы являются наследниками древнегреческой культуры (включая чехов), было сложно допустить мысль о том, что носитель такой революционной идеи может быть их потомком. Вот почему я их любил, тогда как они называли нас «цивилизацией ГХ», то есть Героев-Хулиганов. Именно здесь проходила демаркационная линия между нами и чехами. В течение большей части нашей истории мы тратили силы на героические подвиги, после которых так и не сумели организовать свою повседневную жизнь. Мы не смогли создать легенду будней. Возможно, в этом не только наша вина. Вот почему я начал любить чешский народ. Чехи говорили: «Берись за эксперимент, только если не найдешь себе более достойного занятия».

Чтобы держать зловонный человеческий продукт как можно дальше от Акрополя, будучи народом, вышедшим из древнегреческого мира, чехи упоминали о нем в своей повседневной жизни как о неизбежном факте. В отличие от нас, где дерьмо является частью оскорбления в адрес врага, они не

преуменьшали ни его важности, ни исходящей от него угрозы. И тогда я принял сторону пчел — и конечно же их меда. Может быть, еще и потому, что, отказавшись от критики, я начал испытывать уважение к способности чехов столь искусно мириться с ролью маленького народа, оценив практическую выгоду меда. Так они не вляпывались в крупное дерьмо. Как мы.

* * *

Наши студенты, злобно брызгающие слюной в адрес чехов, сильно мне досаждали. Зато по отношению к чешкам ситуация была иной. Они были единственной частью окружающей действительности, к которой наши ребята испытывали нескрываемую тягу. Никогда бы не подумал, что мужчины могут до такой степени забываться с женщинами. И тем не менее это был как раз случай моих соотечественников. Все эти мимолетные увлечения захватывали их целиком, и венерические болезни были лишь верхушкой айсберга расплаты. Очень быстро все остальные их чувства притуплялись, и в таком искалеченном виде они не могли больше сопротивляться зависимости от чешских женщин. Вплоть до конца своей жизни.

* * *

Захмелевший профессор Земан помахал рукой перед моим лицом и резко вернул меня к своей викторине любителей пива:

— Кустурица, я тебя спрашиваю: знаешь ли ты, в каком русском слове семь раз встречается буква «О»?

— Уверен, что в этой загадке не обошлось без слова «говно», — ответил я.

Профессор кивнул с широкой улыбкой:

— Конечно! Ломоносовоговно!

На секунду во мне проснулся балканский бунтовщик.

— Но это притянуто за уши! Речь идет о двух словах, а не об одном.

Он ответил с видом циркового иллюзиониста:

— А вот и неправда, молодой человек. Да, я произнес два слова, как одно, и создал неологизм. Это означает, что мир культуры обогатился сегодня новым словом. В частности, мир русской культуры, если там поймут, насколько сложно придумать слово с семью «О»!

Я знал, что русские не станут прыгать от радости, услышав

имя своего самого крупного ученого в сочетании со словом «говно». Тем не менее я подумал, что если бы я был оккупантом и диктатором, то не отказался бы от таких здравомыслящих граждан, как чехи. Сколько всего интересного приходит им в голову, когда они пьют пиво! Они научились больно жалить, но это вызывает только смех, потому что они тут же впрыскивают в ранку хорошую дозу обезболивающего.

Спасибо тебе, Федерико

В 1975 году умер Иво Андрич, великий европейский писатель, самый выдающийся югославский художник-реалист. В том же году в Прагу привезли копию фильма Федерико Феллини «Амаркорд». Опечаленный смертью Андрича, я, тем не менее, с радостью встретил новость о предстоящем показе. Я видел уже несколько фильмов Феллини: «Дорога», «Белый шейх» и «Восемь с половиной» — и начал воспринимать свое собственное прошлое как фильм. В кинематографических кругах мнение было единодушным: «Амаркорд» — апогей творчества великого автора. Тем не менее в специализированной итальянской прессе появилось несколько недружелюбных статей, где журналисты упрекали Феллини в уходе от интеллектуализма фильма «Восемь с половиной». Им явно не пришлось по душе его слишком тесное сближение с публикой. Неплохо было бы отправить к ним Бергмана. Он-то умеет раздавать оплеухи журналистам. Именно так шведский режиссер сводит счеты со своими недоброжелателями. Мало кто знает, что великий создатель «Земляничной поляны» предпочитает улаживать личные проблемы при помощи пары пощечин.

* * *

Итак, я с нетерпением ждал копии «Амаркорда», как когда-то в Сараеве с рассвета ждал свежих булочек и рогаликов, стоя перед булочной «Ерлагич».

Показ «Амаркорда» был назначен на пятницу, в обычное время (ровно 14.00), в клубе Академии. Я учился уже на втором курсе и был на хорошем счету у преподавателей. Я редко бывал в Сараеве и почти забыл Майю. Казалось, она окончательно исчезла из моей жизни. Даже если иногда по воскресеньям я и думал о ней. Возможно, потому что плохо переносил воскресенья. За исключением любви, свободное время обычно занимало немного места в моем списке важных дел. Это был шрам из моего детства, клеймо социальной жизни в квартале Горица. Поскольку банда мелких тузов, к которой я принадлежал, относилась к досугу с презрением. Мы терпеть не могли хохот в кинозале во время фильмов Чаплина, танцы с девчонками и все эти общественные места отдыха. Мы были похожи на стаю молодых волков, желающих своим поведением доказать, что они не принадлежат к заурядному миру и отказываются следовать сложившимся

формам проведения досуга. Мы находились в постоянной боевой готовности, как гайдуки[33].

Уже с четверга меня начинала охватывать паника перед приближающимися выходными. Все разъезжались по домам, и кафе «Славия», заменившее мне кафе «Сеталист», пустело. Единственным живым звуком в общежитии было пиликанье скрипки какого-то студента, готовящегося к экзаменам. Бедный страдалец повторял тысячу раз одну и ту же музыкальную фразу.

* * *

Одновременно с копией «Амаркорда» в Прагу прибыл некий Кера, мелкий вор-карманник из Сараева, известный своей ловкостью обчищать магазины дорогой одежды под носом у продавца. Он также отличался необычным словарным запасом, целым набором собственных выражений. Особенно это касалось специальных эпитетов для крестьян. Когда кто-нибудь спрашивал у Керы: «Как дела, земляк?», он отстаивал свое мнимое аристократическое происхождение, отвечая: «Это я-то твой земляк? Иди к своей деревенщине!» Обычно сараевцы называли тех, кто не относился к городским, пентюхами. В действительности эти городские в большинстве своем представляли собой местную нищету, которая пыталась найти кого-нибудь, кто стоял бы еще ниже ее на социальной лестнице. Кера был оригинальным вором. Он называл крестьян и своих врагов косарями, поскольку они косили траву, а позже ввел в свою разговорную речь термин «колосоед». Когда кто-нибудь оказывался хуже «пентюха», он называл его «колосоед».

* * *

По дороге в Берлин карманник Кера решил заехать в Прагу. Он узнал адрес студенческого общежития в кафе «Славия». Мы решили вместе пообедать.

— Привет, дружище, я в Праге проездом, еду в Берлин. У меня для тебя важная информация, — с ходу сообщил он мне.

Он был последним, кто мог сообщить мне новости о Майе, о которой я думал всю прошлую неделю. Тем не менее заговорил он именно о ней:

— Она влюблена в тебя, старина. Все эти крысы вокруг нее — всего лишь пентюхи, у них нет ни единого шанса. Самая красивая женщина Сараева говорит, что ты единственный чего-то стоишь.

Я принялся красоваться:

— Все это ничего не значит для меня, дружище. Ничего.

— То есть как это — ничего? Почему ничего? Ты же не станешь, как какой-нибудь колосоед, оставлять жемчужину этим олухам!

— Говорю тебе — забудь. Я поставил жирную точку в этой истории. — Поблагодарив его за обед, я добавил: — Мне пора возвращаться, скоро начнется «Амаркорд».

— Что начнется?

В невероятном возбуждении я бросился на улицу, примчался в общежитие, чтобы собрать свои вещи, и, вместо того чтобы пойти на «Амаркорд», решил отправиться в Сараево, чтобы проверить на месте россказни Керы. Как мало мне было нужно! Торопясь к вокзалу «Главни надрази», я размышлял о том, что Кера поднял старый сараевский вопрос, ответ на который содержит элементы экзистенциальной философии. «Где мое место в этой истории?» — должно быть, спрашивал себя Кера-воришка, пока перечислял стервятников, кружащих вокруг Майи.

Я уехал в Сараево с твердым ощущением, что посмотрю «Амаркорд» в другой раз.

* * *

Одуревший от табачного дыма, разбитый от недосыпа, я высадился в Сараеве после двадцати восьми часов дороги. В кафе «Сеталист» я был первым клиентом. Официантка Борка приготовила мне яйцо всмятку, пока я отогревался, сидя на большой печке.

— Я смотрю, большой мир не научил тебя хорошим манерам! Скажи-ка мне, в Праге ты тоже залезаешь верхом на печку? Быстро слезай, ты испортишь мне плиту!

— В Праге давно уже нет этих доисторических печей, отсталая ты женщина! Там повсюду центральное отопление газом, который поступает из Сибири.

— Спускайся, тебе говорю! Она и без тебя поломана!

В бывшей Югославии официанты и официантки, так же как и полицейские, были привилегированной частью населения. У них был самый короткий рабочий день, и почти все они служили осведомителями в полиции. Официантки и буфетчицы, которые по природе своей любят шпионить, в основном выходили замуж за полицейских, и даже если они не фигурировали в списке наемных работников *UDBA*[34] все равно могли предоставить нужную информацию в качестве простых любителей.

— Должна сказать тебе одну вещь, — продолжила она. — Тебе необходимо знать: Майя встречается с сыном хирурга Василевича. Парень, прямо скажем, так себе. Вот ты мне кажешься настоящим львом!

— Этот Василевич — молодец. Я помню, как он накладывал мне гипс, когда я сломал руку в шестьдесят первом году, неся свой «Титаник», — произнес я, словно эта информация не имела для меня никакого значения.

— Тебе не о чем беспокоиться, между ними нет ничего серьезного, — вмешалась Амела Аганович, которая в ту пору была лучшей подругой Майи и время от времени заходила в «Сеталист». — Она гоняет бедного Василевича за пирожными в квартал Грбавица: ей нравятся «Богемы» и пирожные с кремом из кондитерской «Ядранка». Тебе нечего опасаться, он совсем не подходит Майе.

— Успокойся, Амела, эта девушка меня больше не интересует.

— Да, я знаю. Я сказала тебе это так, на всякий случай…

* * *

Златан Мулабдич, Бад Спенсер[35] кафе «Сеталист», был самым ранним клиентом. Он редко дрался. Это был мужчина с нежной девичьей душой, но он становился опасным, когда приходил в бешенство. Однажды, поколотив двух типов, он дождался, пока приедет «скорая помощь», и помог санитарам погрузить в машину драчунов, отправленных в глубокий нокаут. Свидетели утверждают, что по его щеке стекала слеза, когда «скорая» с воем сирен умчалась в больницу.

Златан сел за наш столик, обнял меня и расцеловал:

— Вчера я видел твою Майю.

Я пожал плечами, словно говоря: какое это имеет ко мне отношение?

— Что вас так зациклило на этой Майе? Успокойтесь уже, я приехал проведать вас, а вы только и талдычите: Майя там, Майя здесь.

Златан показал на противоположный тротуар возле магазина «Нови дом».

— Вчера она прошла вон там, дружище, и даже стулья оборачивались ей вслед. И все женщины смотрели на нее. Настолько она вся ладненькая.

— А я-то здесь при чем? Это было и прошло!

Я взял номер телефона Амелы и отправился домой спать,

чтобы прийти в себя после бессонной ночи.

* * *

Вечером я пошел прогуляться по улице Тито. Затем немного побродил по центральным улицам Сараева. После этого сел на автобус, чтобы добраться до кондитерской «Ядранка» в квартале Грбавица. Я уселся в углу и заказал лимонад, в надежде, что Майя пришлет своего Василевича за пирожными с кремом и «Богемами». Я ни на секунду не усомнился во вкусе Майи и набросился на пирожные с кремом. Проглотил семь штук, а также одну «Богему». Мне показалось, что меня сейчас стошнит. Что, впрочем, и произошло. Я вышел из кондитерской, и меня благополучно вырвало. На улице было холодно. Поскольку я не хотел подхватить простуду в ожидании Василевича, которого по-прежнему не было видно, я вернулся в кондитерскую. Там я снова заказал лимонад и пирожные, но на этот раз, чтобы унести их с собой. Василевичем тем временем даже не пахло! К счастью для него и, возможно, для меня. Мои нервы были напряжены до предела. Герцеговинец отчаянно боролся во мне с человеком. «Парень здесь ни при чем», — говорил человек. Но герцеговинец качал головой: «Ну уж нет, если он заслуживает взбучки, он ее получит». Поэтому я не уверен, что был бы с ним нежен. Я сказал бы ему: «Кто ищет со мной ссоры, тот укорачивает себе жизнь!»

Это тоже был не лучший вариант. Необходимо было, чтобы его ответ содержал это знаменитое «Чего?!», за которым немедленно следует двойное «Чего-чего?». Мне следовало придумать что-нибудь, чтобы заманить его в эту ловушку. Ладно, сказал я себе, тогда я задам ему вопрос: «Тебе действительно это нужно?» А он, я уверен, ответит мне: «Чего? Мне нужно чего?» Как только он произнесет это роковое «чего?», я больше не смогу себя сдерживать и предупрежу его: «Осторожно, малыш, иначе я переломлю тебя пополам, как кусочек мела!» Он не успеет меня спросить, при чем тут мел, потому что уже получит оплеуху.

* * *

В это время появился хозяин кондитерской и с любопытством уставился на меня:

— Как тебя зовут, юноша?

— Кустурица.

— Ну-ка, присядь сюда. Какие пирожные ты хочешь? Я лежал

вместе с твоим отцом в больнице, в отделении интенсивной терапии. Мы оба столкнулись с инфарктом! Твой отец очень приятный человек! Надеюсь, он бросил пить?

— Ну, да. За исключением одной капли, время от времени, — ответил я.

— Нельзя этого делать! Ни одной капли! Посмотри на меня, я пеку лучшие пирожные в Сараеве, и, тем не менее, я не имею права к ним прикасаться. Жизнь пресна без «Богем» и пирожных с кремом, но все же жизнь есть жизнь. Лучше быть живым, чем мертвым, не так ли? Передай своему отцу совет от меня: в нашем возрасте мужчина должен за собой следить.

Он так нагрузил меня пирожными, что мне пришлось оставить часть дома, а остальное забрать с собой в Прагу.

— Никола передает тебе привет, — сказал я отцу перед отъездом.

— Какой Никола? Кондитер?

— Да, он самый.

— Как он поживает? По-прежнему поглощает пирожные в огромных количествах?

Я ответил, что он больше к ним не прикасается из-за своего инфаркта.

— Право же, если он не будет осторожен и продолжит есть столько сладкого, его уровень холестерина зашкалит, и он долго не протянет. Если увидишь его снова, передай ему от меня, что в нашем возрасте мужчина должен за собой следить.

* * *

Аромат пирожных Николы преследовал меня до самой Праги. В Сараеве я не сделал того, что должен был сделать. Мне было ясно, что теперь я буду думать о Майе не только по воскресеньям.

Когда я вошел в общежитие, на окошке на ресепшен висело объявление, сообщающее о новом показе «Амаркорда» в полдень. У меня было это предчувствие перед самым отъездом. Мой уикэнд в Сараеве провалился, мне не удалось проверить слова Керы-воришки, но воскресенье было не совсем потеряно: я увижу «Амаркорд». Утомленный поездкой, я проглотил несколько чашек кофе и помчался в клуб. Целая толпа людей медленно направлялась к удобным креслам, и меня охватило ощущение торжественности. Словно должно было произойти нечто великое, важное. Никогда еще я так не волновался перед началом показа. Когда занавес перед экраном раздвинулся, музыка Нино Роты мгновенно сократила дистанцию между фильмом и зрителями.

Мы смотрели, как над фасадами летит пух одуванчиков, поскольку в небольшой итальянский городок на берегу моря пришла весна. «Какая красивая экспозиция!» — подумал я.

Весенний пух одуванчиков парит над домами Римини, и режиссер знакомит нас с городом. Планы сменяют друг друга, и их связывают между собой одуванчики. Беззубый бродяга подпрыгивает, чтобы поймать летящий пух. Он бормочет что-то по-итальянски. Я различаю лишь: *«Primavera»*[36]. И… засыпаю. Проснулся я от грома аплодисментов. На экране шли финальные титры. Я слушал музыку и растерянно озирался по сторонам. Внезапно осознав весь ужас ситуации, я спросил у своих однокашников, чувствуя себя виноватым:

— Замечательный фильм, правда?

— Просто фантастика! Старик, как ты мог заснуть на Феллини?

— Да я просто устал. Не понимаю, как это случилось. Вот не повезло!

— Зато выспался! — язвительно бросил мне один поляк, которому пророчили большое будущее.

Я вышел на улицу и потянулся, сгорая от стыда. Как я мог уснуть в самом начале такого великого фильма?

* * *

Глубокое чувство вины грызло меня всю неделю. Слушая лекции по истории архитектуры, я раскаивался; сидя на лекциях по эстетике, я раскаивался; внимая лекциям по литературе, я раскаивался; что касается лекций по Новому Завету, они также мне ничем не помогли. А ведь мне так нравилось толкование тайн и притчей! Как можно было дойти до такого идиотизма? Ты упустил возможность увидеть шедевр в тот момент, когда твой вкус формируется и когда необходимо впитывать в себя бесценные произведения. Хуже всего, что отношение моих однокашников меня совершенно не беспокоило. В их презрительном взгляде читалось: «Ничего удивительного в том, что этот примитивный тип с Балкан заснул на фильме Феллини». Я не мог объяснить, но чувствовал, что, несмотря на сон, помешавший мне посмотреть этот фильм, нечто странное все же произошло. Пока я спал, какая-то часть фильма оказала на меня влияние. Подобно тому, как две фотосъемки объединяются в одну. Я не осмеливался кому-либо об этом рассказать. Мне не хотелось стать объектом насмешек, поскольку это было похоже на историю, когда тебе под подушку кладут «Войну и мир» Льва

Толстого, чтобы «роман проник в тебя» и не пришлось бы тратить уйму времени на его чтение.

* * *

Во время кошмарного перерыва между двумя лекциями по истории архитектуры до меня дошла утешительная новость: копия «Амаркорда» останется в Праге еще на неделю, и возможно — даже больше, поскольку фильм вызвал большой интерес у профессионалов чешского кинематографа. Я тут же испытал облегчение, и мое чувство вины развеялось.

К несчастью, мне пришлось столкнуться с новой неприятностью. Настоящей дилеммой. Если Кера и Амела говорили правду, я должен был во что бы то ни стало попасться на глаза Майе в следующий уик-энд. Если она меня любит, то должна обязательно меня увидеть. Я слышал, что она была в горах, в Яхорине, и вокруг нее крутилось множество ухажеров. Мне необходимо было показать ей, что она мне не нужна. Сын Бебы Селимовича, знаменитой исполнительницы народных песен, тоже пытался к ней подобраться. Ну что ж, ничего у тебя не выйдет, мой дорогой!

Итак, я решил пропустить пятничный показ. Но только без паники — в следующий понедельник должен был состояться еще один сеанс.

* * *

В пятницу, ровно в 14.00, я сидел в поезде, направляющемся в Сараево. Я сел в болгарский СВ, полный решимости заплатить за спальное место до Белграда деньгами, заработанными на перепродаже берлинских дисков *«Weather Report»* на черном рынке в Праге. Даже если первоначально эти деньги предназначались на финансирование и съемку моего экзаменационного фильма «Герника», я ни о чем не жалел. Мне нужно было приехать в Сараево отдохнувшим. И точно так же я намеревался поступить при возвращении. Точнее говоря, я собирался сделать все, чтобы приехать свежим и отдохнувшим на следующий показ «Амаркорда» Федерико Феллини.

* * *

Вытянувшись на узкой полке, где смешивались запах машинного масла и дешевых духов, я перечитывал лекции по режиссуре профессора Отакара Вавры. Под равномерный стук колес я начал дремать. Несколько часов спустя я проснулся от резкого торможения. Поезд остановился посреди поля. Я вскочил с бьющимся сердцем. «Мне что-то снилось», — подумал я, чувствуя зуд в паху. Начиная с этого момента и до самого Сараева я не переставал чесаться. Все мое тело отчаянно зудело. О том, чтобы уснуть, не было и речи. Каждую секунду я бегал в грязный туалет, чтобы побрызгать на себя водой и попытаться успокоить свою нервозность при мысли о бездарно потраченных деньгах. Судя по всему, я подхватил чесотку. Окончательно потеряв терпение, я сказал усатому болгарину проводнику:

— Эй, усатый! Между нами: твой поезд — чесоточный, я везде чешусь!

— Ну что ты, парень, — ответил он мне, — уверяю тебя, что я поддерживаю в этом поезде идеальную чистоту, на все сто!

И он разбрызгал в воздухе спрей, аромат которого неприятно усилил запах машинного масла и дешевых духов.

— Может, ты уложил к себе в постель какую-нибудь шлюху? А теперь подхватил заразу! Ха-ха-ха!

— От триппера не чешутся с головы до ног.

* * *

Я приехал домой, весь покрытый сыпью.

— У тебя чесотка, Эмир, — объяснила мне Сенка. — Это обычное дело, ничего страшного. Сразу после этого она раздобыла где-то желтую мазь, которую я обильно нанес на все тело.

— Это пройдет, — заверила она меня, — только ты должен мазаться регулярно. Ничего ужасного в этом нет, просто немного неприятно.

Весь в желтой мази я отправился в Яхорину. Отец одолжил нам свой «фольксваген». За руль сел Зоран Билан. С нами поехали также Харис, Паша и Златан Мулабдич.

* * *

В отеле «Яхорина» Майи не оказалось. В подвыпившем состоянии мы направились в сторону бара «Младость», где Майя и Селимович могли сидеть за бокалом вина. Но там тоже никого

не было. В связи с этим мы здорово набрались. По-мужски. Внезапно я испытал облегчение от того, что мы их не встретили. Иначе пришлось бы вести пьяные беседы. В то время я уже владел техникой самокритики. Поскольку я был еще не совсем пьяным, то понимал, насколько могу быть нудным в этом состоянии, по тридцать шесть раз твердя одно и то же. Но эта мудрость отнюдь не совпадала с моими желаниями. Вскоре опьянение взяло верх, и трезвость сложила оружие, поскольку, судя по всему, не оставалось никаких шансов для того, чтобы вечер закончился по-другому.

Но то, с чем не справилась трезвость, удалось сделать страху.

Когда я поскользнулся и покатился вниз по ледяному склону возле «Младости», в момент падения я уцепился за галстук официанта, который нам симпатизировал и вышел проводить и пожелать доброго пути. Мужчина протянул мне руку, чтобы помочь, а я схватил его за галстук! Интересно, что он обо мне подумал? В своих мокасинах я отчаянно скользил по замерзшей земле. В одно мгновение я превратился в автомобильное колесо, тщетно прибавляющее обороты, пытаясь выбраться на более устойчивую поверхность. Официант проявил удивительное хладнокровие. Ему удалось быстро развязать свой галстук. Неожиданно я оказался на спине, скользя вниз по склону, и приземлился в сугроб. Когда я поднялся на ноги, вокруг никого не было, и отель исчез из виду. Я сделал один шаг и тут же упал. Я снова заскользил по крутому склону, и когда попытался встать, увидел, что снег доходит мне до пояса. Мое тело окружало облако пара — результат большой разницы температур. Я ничего не видел, ничего не слышал. Пока снег освежал мой пылающий лоб и разгоряченную алкоголем кровь, мне было хорошо. Я даже рассмеялся от приятного ощущения свежести. Но очень быстро мне захотелось согреться. Это ощущение, подкрепляемое легким страхом, привело меня в отель «Яхорина».

— Златан Мулабдич пропал, — сообщил мне Ньего, когда я вернулся.

— Пропал? Как это?

— Не знаю, старик, я думал лишь о том, как спасти свою задницу от этого проклятого холода. Черт! Как люди могут жить в Сибири?

И что, уик-энд должен был закончиться вот так? Потерей друга после напрасной попытки найти женщину, которой я дорожил? Самое ужасное, что такой финал прекрасно вписывался в современный сценарий. Типичная парадоксальная развязка, в которой присутствуют все элементы для создания современной драмы. Хороший материал для разработки множества

неожиданных поворотов. Прекрасная возможность для раскрытия разнообразных тайн и человеческих судеб.

Заметив спящего Зорана Билана, я посоветовал, сам не знаю почему:

— Ничего не говорите Зорану, они лучшие друзья, он захочет отправиться на его поиски и потеряется сам!

Чем ближе становился рассвет, тем больше я был уверен в трагической развязке. Эта уверенность подкреплялась легкой депрессией, пришедшей на смену опьянению. И внезапно — новый неожиданный поворот: на ресепшен появился Златан Мулабдич. Он вошел, поддерживаемый двумя рабочими, ремонтировавшими электросеть.

— Эй, друзья, ничего страшного, главное — сохранять холодную голову! — сказал он нам, стуча зубами.

Наверное, он хотел сказать, что нужно держать ее в тепле, но его мозг, должно быть, совсем замерз. Спеша поделиться радостью, что Златан вернулся живой, я разбудил Зорана.

— Златан вернулся! — сообщил я ему.

— Кто вернулся? А где он был?

— Спи-спи, все в порядке! — сказал я, несказанно довольный такой развязкой.

* * *

Уик-энд не закончился трагедией, но мы едва избежали парадоксального финала современных драм, где люди ведут обычную жизнь, в которую вторгаются необычные вещи, чаще всего как раз во время уик-энда. На обратном пути в Сараево я снова начал думать о Майе. Я сожалел, что мне не представилась возможность предупредить сына Бебы Селимовича: «Слушай, ты, жирдяй, постарайся не делать глупостей с Майей, если не хочешь, чтобы я превратил тебя в гамбургер!»

* * *

Еще чесоточный, к тому же с похмелья, я сел на утренний самолет до Белграда. В 15 часов отправлялся поезд в Прагу, через Загреб и Будапешт. Не успел я сесть в него, как появился усатый болгарин, который меня узнал:

— Эй, парень, могу выделить тебе полку всего за тринадцать дойчмарок!

— Тринадцать марок за то, чтобы я снова подцепил чесотку в

твоем вагоне?

На самом деле я хотел сэкономить немного денег для своего экзаменационного фильма, поскольку, по логике вещей, вряд ли мог подхватить чесотку во второй раз. Я устроился, о чудо, в пустом отсеке второго класса, где всю дорогу читал. И даже хорошо, что я не смог уснуть. Я подготовился к лекциям Вавры и написал новую версию сценария для моей «Герники».

* * *

В скрежете тормозов поезд прибыл на Центральный вокзал Праги. Я помчался в студенческое общежитие. С гордостью и нетерпением я ждал показа «Амаркорда». Я пропустил лекции по эстетике профессора Фербара. На лекциях по истории литературы доктора Циганека на меня начал наваливаться сон, но я отчаянно сопротивлялся: нет, спать я не собираюсь. Я вышел на улицу и пошел вдоль Влтавы, размышляя, смотрел ли Сметана на реку, когда создавал свою симфоническую поэму «Моя Родина». Ну вот, снова я задаюсь глупыми вопросами. Разумеется, ему не обязательно было любоваться водой, чтобы написать свой шедевр! Я снова ощутил сонливость. Теперь уже в положении стоя. Быстрым шагом я направился к кинозалу.

* * *

В зале собралось много народу. Свет погас, пошли начальные титры, затем на экране возникли виды маленького городка Римини, атмосфера Возрождения. Весна, пух одуванчиков летит перед объективом. С каким мастерством Феллини сумел построить свою экспозицию! Появляется бродяга, произносит *«La primavera!»*, а я… засыпаю! И просыпаюсь, когда идут финальные титры. Да что со мной творится? Как такое вообще возможно? Я снова проспал весь фильм. Здесь явно замешана какая-нибудь порча. Колдовство. Мне опять пришлось ловить на себе презрительные взгляды своих однокашников. Что тут поделаешь? Я превратился в прекрасный материал для психиатров.

Я поведал о своих переживаниях одному из своих чешских друзей, Яну Кубисте. Он не понял, почему я делаю из этого такую драму.

— Не вижу в этом ничего особенного, — ответил он мне. — Все очень просто, ты не можешь делать две вещи одновременно. Это результат усталости от поездки. Успокойся, фильм останется

здесь еще на какое-то время.

Почему я испытывал такое жгучее чувство стыда? Я проспал показ великого фильма, ну и что? Мне стало еще хуже, когда все принялись рассказывать о чудесах, которыми Феллини наполнил свое произведение. Я чувствовал себя униженным. «Идиот, — говорил я себе, — ты заслуживаешь того, чтобы твои товарищи смотрели на тебя как на последнее дерьмо!»

* * *

Тем не менее где-то в глубине души я был глубоко уверен, что на протяжении всего показа действовало некое наслоение образов. Что-то неуловимое произошло между мной и фильмом.

В понедельник вечером в пивной «У Судека» я добивал себя смесью пива и рома, тогда как на следующее утро мне предстояло приступить к практике. По программе Академии я должен был ассистировать Любе Велецке, режиссеру с последнего курса, в ее дипломном фильме.

Иногда во время практики и удается чему-нибудь научиться, но чаще всего это больше похоже на сеанс дрессировки. В действительности ассистент — это как подмастерье, проходящий через все стадии рабства. Если ему удается выдержать испытания и по ходу хотя бы что-нибудь усвоить, он может надеяться, что однажды получит собственного ассистента. Все это могло быть откровенно банальным, если бы во время съемок я не познакомился с Агнес. Это напоминало какой-то обряд. Агнес, изучавшая в Братиславе дизайн, исполняла в фильме главную роль. Она приехала в Прагу, чтобы стать актрисой. Эта девушка, казалось, сошла с картины Вермеера. Агнес, со своими оленьими глазами, превратила мои беседы с ней во время съемок в нечто большее, чем простой обмен словами.

Когда мужчины задаются вопросом, почему некоторые представители сильного пола преуспевают там, где терпят неудачу другие, ответ заключается в следующем: женщины обожают болтать о пустяках. Помимо мистических связей, соединяющих мужчину и женщину, важное место занимает болтовня. Чем больше говоришь о пустяках, придавая им значимость, тем выше твои шансы на успех. Главное — не ослаблять усилий, а трепаться и снова трепаться, изображая личный интерес к каждой выдаваемой глупости. Потом остается лишь подождать, когда дама созреет. Успех в этом случае обеспечен.

* * *

Агнес жила в нашем общежитии, на верхнем этаже, в комнате Любы Велецки. Как-то вечером, поднимаясь к себе спать, она шепнула мне: «Спокойной ночи!» В тот вечер я погрузился в сон, испытывая теплое чувство от того, как она произнесла эти два слова. Проснувшись утром, я обнаружил на комоде над головой свежий рогалик и маленькую бутылку молока. И в моей крошечной ледяной комнате словно затопили огромную печку. В ней стало неожиданно тепло.

Мы продолжили работать над фильмом, обмениваясь признательными взглядами, наполненными странной нежностью. История с Майей осталась на родине. Взгляд венгерки Агнес меня обжигал. Каждое утро я продолжал просыпаться с рогаликом и молоком над головой.

В четверг Агнес должна была уехать обратно в Братиславу. Я, несмотря на свое влюбленное состояние, твердил себе: ты увидишь «Амаркорд», этого хочет Господь. В пятницу, в 14 часов, состоится моя встреча с великим автором и его фильмом.

В среду вечером, за ужином в столовой общежития, Агнес бросила на меня робкий взгляд. И хотя между нами ничего не было — ни поцелуев, ни тем более постели, — я почувствовал, что она собирается сказать мне что-то важное.

— Знаешь, — начала она, — ты мне нравишься.

— Ты тоже мне нравишься, — ответил я.

— Если хочешь, можем провести уик-энд у меня в Словакии. Я могла бы тебе показать, что такое венгерская деревня.

— Мне обязательно ехать так далеко, чтобы поцеловать тебя?

Она покраснела.

— Мне хотелось бы посмотреть «Амаркорд», — добавил я. — Я пропустил уже два показа.

— Если не хочешь, можем отложить на другой раз.

— Дело не в том, что я не хочу, а…

И я подумал, что опять не увижу фильм Феллини.

Затем я вспомнил, что «Амаркорд» будут показывать еще и в понедельник. И тут же передумал:

— Я согласен, мне очень хочется увидеть венгерскую деревню. Не исключено, что другой возможности не представится. Фильм никуда не улетит, это же не птица!

* * *

Мы сели в поезд, и все было похоже на потрясающую

любовную идиллию. Я долгое время был одинок, и рогалики над моей головой меня добили. Еще одно: мне не пришлось болтать и нести ахинею. Всего лишь раз во время нашей поездки я задался вопросом, продолжает ли Василевич бегать за пирожными для Майи всякий раз, когда ей захочется сладкого.

Мы прибыли в Братиславу обнявшись. На вокзале нас ждал брат Агнес, которого она с гордостью представила мне:

— Миклош.

Он тут же сказал что-то сестре раздраженным тоном. Чувствуя себя неловко, я спросил ее, что я сделал не так.

— Нет, все в порядке, — успокоила она меня, — просто он сообщил мне, что полицейский спросил у него документы, потому что его машина была плохо припаркована. Еще полицейский сказал, что мы, венгры, постоянно доставляем проблемы словакам и что мы хуже, чем цыгане.

* * *

Мы приехали в деревню, еще находясь под неприятным впечатлением от встречи Миклоша со словацким полицейским. На пороге возник отец Агнес, Золтан, с красным лицом и, по всей видимости, под мухой. С кажущимся спокойствием он пожал мне руку.

— Милости просим в порядочный венгерский дом! — заявил он.

Когда я поблагодарил его по-чешски за гостеприимство, он тут же утратил свое добродушие.

— Ты не говоришь по-венгерски? — удивился он.

— Нет.

— Как это?

— Ради бога, папа, — вмешалась Агнес, — откуда ему знать венгерский?

— Понятия не имею, но я думал, что парень моей дочери должен говорить на нашем языке. Мы сели за стол, и Золтан тут же принялся декламировать поэму по-венгерски.

— Так жалко, что ты не можешь понять эту поэму, — сказала мне Агнес, — она прекрасна! Затем они все втроем затянули венгерскую народную песню. Сам не знаю почему, я ощутил чувство неловкости, которое еще больше усилилось, когда я увидел в глазах Агнес такое же тягостное выражение.

По окончании песни Золтан завел серьезный разговор. Мы продолжали сидеть, и он попросил Агнес перевести мне его слова:

— Ты знаешь, что вошел в порядочный венгерский дом, и если собираешься жениться на Агнес…

— Папа, о чем ты?! Какая еще свадьба?

— Замолчи, я все знаю, у меня есть глаза, я не идиот!

Отец явно решил выдать дочь замуж.

— Но, папа, это совсем не то!

Агнес расплакалась и убежала в свою комнату. Я собрался последовать за ней, когда Золтан меня остановил.

— Женщина плачет, что тут такого? — сказал он мне, на этот раз по-словацки.

— Что она говорит? — спросил я его, услышав, как Агнес что-то выкрикнула своему отцу между двумя всхлипываниями.

— Она сказала: «Папа, зачем ты испортил мне все дело?!»

* * *

В итоге она меня разочаровала, эта Агнес. Как женщина могла, после всего двух дней знакомства, назвать свои отношения с мужчиной «делом», если только она не проститутка? Даже если она неправильно употребила слова. Может, у нее это просто вырвалось? Но такие вещи обычно просто так не вырываются. Вне всякого сомнения, это был стратегический маневр, и поведение отца подтвердило мою догадку.

— Оставь ее, мы с тобой сами договоримся. По-мужски, — настаивал он.

Речь на словацком давалась ему нелегко, он спотыкался на каждом слове и продолжал пить. Я соглашался со всем, что он рассказывал в тот вечер. Существовала тысяча причин для того, чтобы все было так, а не иначе: жена умерла, он остался один с детьми… Остаток ночи я провел, погрузившись в уныние, поскольку мужчина не дал мне перевести дух ни на минуту. Настоящий пьяница. Все это время Агнес горевала в своей комнате, поняв, что наша любовь убита в зародыше. На рассвете она молча проводила меня до дверей. В ней не осталось ничего от той женщины, полной благородства, которая оставляла свежие рогалики для одинокого студента. И дело было даже не в отсутствии макияжа. Ее лицо утратило свое сияние. Она судорожно сжала мою руку, прекрасно осознавая необратимые перемены, произошедшие этой ночью:

— Я просто хотела, чтобы ты знал: мой отец не такой плохой, каким кажется.

— Я знаю.

И я отправился в сторону вокзала.

* * *

На этот раз по возвращении в Прагу я не чувствовал себя слишком усталым. Скорее расстроенным этим неприятным происшествием. И потом, я переживал за Агнес. Почему я так легко отказался от ее нежного взгляда? Возможно, какая-то более серьезная причина одержала верх над зарождающейся любовью? Или я не хотел еще раз упустить возможность посмотреть «Амаркорд»?

* * *

Я пришел в клуб Академии заранее и принялся терпеливо ждать начала сеанса. Великий момент приближался. Я несколько раз зевнул. Ничего страшного, успокоил я себя. Кто угодно может зевать, когда чувствует усталость. Зал постепенно заполнялся. Помимо студентов, было много людей из мира кино, которые пришли посмотреть знаменитый фильм. Перед самым началом показа на сцене появился наш профессор Антонин Броусил. Человек, которому удалось провезти через «железный занавес» в нашу Академию в Праге огромное количество фильмов, поприветствовал присутствующих и объявил, что по причине огромного интереса, который вызвал этот шедевр, фильм останется в Праге еще на три недели и что Феллини — настоящий Шекспир нашего времени. Я почувствовал, как слипаются мои веки, но быстро взял себя в руки. Я слегка задремал во время речи профессора, но он уже сказал все, что было нужно. Аплодисменты. Занавес открывается. Загорается экран. В зале медленно гаснет свет. Темнота. Начинается фильм. Какая чудесная экспозиция! Римини через объектив оператора Джузеппе Ротуна, пух весенних одуванчиков, соединяющий разные планы, бродяга появляется, подпрыгивает, хватает пух и восклицает: *«La primavera!»* А я… засыпаю. Я сплю и просыпаюсь, когда идут финальные титры! Да что же это такое? Я вообще нормальный человек?

На этот раз товарищи не могли окинуть меня презрительным взглядом, поскольку их не было на показе. Лишь один технический специалист аккуратно приподнял мою ногу, чтобы освободить проход. Теперь я был точно уверен, что по мне плачет психушка!

* * *

Неделя прошла в глубоком унынии. Меня угнетал неудачный уик-энд в Словакии, но особенно я терзался при мысли, что не в состоянии справиться со сном во время показа великого фильма.

* * *

На ресепшен в общежитии мне сообщили, что меня ищет некий Кера из Сараева. Он возвращался из Берлина, весь одетый в кожу.

— Слушай, старик, у меня денег полные карманы, никогда еще так хорошо не ездил. Приглашаю тебя на ужин, но при одном условии!

— Каком?

— Мы идем в самый дорогой ресторан города!

* * *

Едва мы устроились за столиком в «Дубоне», самом шикарном местном ресторане, как Кера принялся щеголять тем, чему он научился в большом мире. Он подзывал официантов и, по его собственному выражению, собирался научить их правильно работать.

Когда безусый официант наливал нам коньяк, Кера сказал мне:

— Переведи этому колосоеду, что коньяк следует подавать слегка подогретым, и попроси его принести мне несколько зерен жареного кофе.

Пока я переводил молодому человеку пожелания Керы, я размышлял о том, насколько тягостно выносить нарциссизм людей, будь то венгерский националист, мечтающий избавиться от своей дочери, или обычный воришка из Сараево.

— Эй, о чем задумался? Что хорошего в жизни?

— Ничего, недавно приехал из Братиславы и решил жениться.

Не знаю, зачем я ему это сказал. Возможно, чтобы прекратить его идиотскую лекцию о хороших манерах и избавить официантов от пытки. Не то чтобы я был в прекрасных отношениях со всеми официантами, но я терпеть не мог, когда кто-нибудь начинал вести себя высокомерно. А при виде того, как тип из сараевского квартала Вратник преподает урок жизни пражцам, у меня в жилах стыла кровь. Мне было ужасно стыдно.

— Значит, женишься? Молодец! На Майе? И пусть сдохнут от зависти все, кто пускает по ней слюни!

— Какая еще Майя? Я встретил одну венгерку — пальчики оближешь!

— Я знаю венгерок, это лучшие цыпочки в мире.

В тот вечер Кера сильно набрался. Он раздавал официантам чаевые по сто марок и кадрил официанток, размахивая у них перед носом пачкой банкнот.

— Это, конечно, твое дело — с венгеркой, но очень жаль, что жемчужина Сараева снова достанется колосоедам. Ну и ладно. Когда вернусь, расскажу всему городу, что ты женишься на венгерке, чтобы все уроды сдохли от зависти! — подытожил совершенно пьяный Кера.

На следующий день он уехал в Сараево.

* * *

Через три дня после отъезда Керы мне позвонила Амела Аганович.

— То, что я слышала, — это правда? — осведомилась она.

— А что ты слышала?

— Говорят, ты женишься!

— Послушай, Амела, мужчина должен рано или поздно жениться. Так лучше это сделать сейчас.

— Ты что, издеваешься? Майя этого не переживет!

— А при чем здесь Майя? Тебе вообще известно, когда мы виделись в последний раз?

На следующий день Амела позвонила мне снова:

— Хочу, чтобы ты знал, — Майя в отчаянии! Ты даже не представляешь до какой степени! Она рыдает целыми днями!

Я включил свой цинизм и процитировал Пиранделло, новеллу которого изучал для одного сценария:

— Женщине необходимо избавляться от воды, поэтому она выходит через глаза. Это пройдет, ничего страшного. — В то же время я осознал, что Майя все еще меня любит. Но я решил до конца скрывать свои чувства, как Дирк Богард в «Слуге». Я продолжил: — Передавай ей от меня привет, мы все же приятно провели время вместе.

* * *

Отправившись в конце зимы в Западный Берлин за дисками, которые мне заказали чехи, не имевшие возможности попасть за границу, я увидел афишу «Амаркорда». Надо ли мне было идти в

кинотеатр? Или я опять все просплю?

Я не пошел на фильм. Опасаясь в очередной раз опозориться.

* * *

В Берлине я купил диски «джаз-рок», чтобы перепродать их в Праге и пополнить свои сбережения, предназначенные для съемок моего дипломного фильма. Возвращаясь обратно на поезде, я принялся мечтать о лучших временах и о дне, когда смогу наконец увидеть «Амаркорд».

Пришла весна и вместе с ней — конец учебного года, который я закончил с прекрасными результатами. Передо мной было целое лето.

Самые лучшие летние каникулы я проводил как раз во время своей учебы. Мне очень нравилось отдыхать «дикарями» на острове Мльет. Там мы с Зораном Биланом и Златаном Мулабдичем чувствовали себя королями. Мы приезжали пьяные из Дубровника, похожие на молодых обезьян, облившихся перебродившего кокосового сока. В таком же состоянии мы возвращались в Сараево в самом конце лета.

Пока мы ставили палатку, я заверил местного полицейского в нашей поддержке:

— Эй, дружище, если кто-нибудь будет тебя доставать, скажи нам, и проблемы не станет!

Полицейский поначалу наверняка решил, что это просто шутка. Но, внимательнее присмотревшись к молодым волкам, которыми мы тогда были, он вполне серьезно отнесся к моему предложению. Будучи единственным полицейским на острове, он быстро смекнул, что сотрудничество с нами — выгодное дело. В случае драки он рисковал получить неплохую взбучку, пока полиция доберется из Дубровника. А так он пользовался нашим покровительством, и никто не решался бросить на него косой взгляд. Если бы кто-нибудь осмелился связаться с ним, то имел бы дело с нами. А все вокруг знали, что этого лучше не делать.

* * *

Однажды утром, не успел я проснуться, как Златан радостно сообщил мне новость:

— Твоя Майя на острове!

«Ого!» — подумал я, прежде чем ответить:

— Ну а я-то тут при чем?

— Она упала с велосипеда и ободрала свои красивые ножки. Постарайся найти на острове подорожник, это лучшее средство от таких болячек!

— Подорожник для красивых ножек! — отшутился я с безразличным видом.

Я подождал, пока Златан отойдет подальше, и начал незаметно пятиться в сторону дороги. Когда я убедился, что он на меня не смотрит, рванул с места и помчался к центральной площади, словно спринтер на стометровке.

Я вошел в бар на берегу большого озера и заказал себе кофе. К самодельной пристани причалил катер, и я увидел, как на берег высадилась Майя, поддерживаемая матросом. Это был сын хозяина дома, где остановилась Майя с родителями. Невооруженным взглядом было видно, что этот здоровяк — обычный простофиля. И тогда я решил создать впечатление зрелого мужчины.

Я сделал над собой огромное усилие, чтобы скрыть свое волнение. Мы не виделись полтора года. Я опасался повторения ночи в баре отеля «Белград». Внезапно мне в голову пришла светлая мысль. Я решил заговорить о будущем. В битве между человеком и герцеговинцем победил герцеговинец. Но на этот раз у герцеговинца было сердце.

— Тебе нужен серьезный мужчина, Майя, интеллектуал. Наилучшим сочетанием стал бы немного хулиганистый интеллектуал. Если ты встретишь мужчину, который сможет тебе дать лишь что-то одно, например свой ум, ваши отношения долго не продлятся. Он быстро тебе наскучит. Если же, наоборот, это будет необразованный хулиган, предлагающий тебе только обеспеченную жизнь, тебя быстро затошнит от его вульгарности. И ты его бросишь.

— Ты хочешь сказать, что мне нужен кто-то вроде Джона Диллинджера[37], окончившего философский факультет?

— Ну, не такого масштаба, конечно, но уже гораздо теплее…

Мы расхохотались. И я понял, что сейчас я как раз, что называется, трепался. Когда мужчина взрослеет, он больше не может молчать, подумал я. Наверняка потому, что он уже чему-то научился в жизни. Он перестает быть пижоном, бездумно разбрасывающим свои мысли на ветер. Во время созревания он еще не умеет связывать их между собой, поэтому предпочитает молчать, чтобы не выглядеть идиотом. Впрочем, так ли уж хорошо говорить все время умные вещи? Я решил привести пример из нашей жизни:

— Знаешь, как Паша попросил Куну стать его женой? Он сказал ей: «Для тебя будет лучше, если твоим мужем буду я, а не

какой-нибудь тип с высшим образованием. Ты выйдешь за него замуж, а через три месяца захочешь, чтобы я стал твоим любовником. Поэтому будет намного экономичнее, если я стану одновременно и твоим мужем, и любовником».

Говоря это, я не отдавал себе отчета, что косвенно подразумевал себя и что такая фраза могла быть воспринята ею как предложение руки и сердца.

* * *

Осенью был запланирован показ «Амаркорда» в сараевском кинотеатре «Романия». Это была золотая эпоха великих кинорежиссеров.

— Ты знаешь, что идет «Амаркорд» Феллини? — в невероятном возбуждении спросила меня Майя. — Ты его смотрел?

Что ответить? Правду? Невозможно. Как студент, изучающий режиссуру, может признаться, что трижды уснул во время этого великого фильма? А если я скажу, что не смотрел его, будет еще хуже. Это все равно что спросить у студента-художника, видел ли он произведения Микеланджело, а он ответит отрицательно. Я ловко вышел из положения:

— Этот фильм можно смотреть бесконечно!

— Тогда пойдем на него вместе!

Мы уселись в самом красивом сараевском кинотеатре «Романия». И вот раздвигается занавес. Идут начальные кадры: летит пух одуванчиков, связывая между собой виды города Римини. Насколько совершенно Феллини выстроил свою экспозицию! Старый волк использует одуванчики, чтобы перейти от одного плана к другому. Снимаю шляпу! Появляется бродяга и восклицает: *«La primavera!»* А *я…* о чудо, я не засыпаю! Дальше женщина развешивает на веревке свое белье. Появляется адвокат, разговаривающий в камеру, местные ребятишки дразнят Градиску, и моему счастью нет предела. На протяжении всего фильма я держу Майю за руку, словно мы сидим в самолете, потеряв дар речи перед этим шедевром.

* * *

«Амаркорд» значил для моих фильмов то же, что Большой взрыв для нашей Вселенной. Его образы и замыслы стали источниками, наполнившими жизнью все мои

кинематографические изыскания. Все, что произошло в моей последующей жизни кинорежиссера, измеряется вехами этого фильма. Важные события моей жизни совершили настоящий скачок в моей шкале бытия! Мои мать с отцом, мой дом, мои друзья и все, что так или иначе запало мне в душу: леса, горы, женские попки, велосипеды, макушки религиозных храмов, мосты, поезда, автобусы… Все, что я не любил: галстуки, небоскребы, кухонные плиты, школы, больницы… И наконец, все, что имело для меня ценность: благородство, смелость, история, музыка… Все это я открывал для себя заново.

* * *

Мой дипломный фильм «Герника» был совсем не похож на «Амаркорд», но их связывал невидимый мостик. Идеи, словно прохожие, свободно переходящие с одного берега на другой, шли по этому мосту, сглаживая разницу в восприятии мира, и неважно, было это в боснийских горах или на берегу Средиземного моря. Моя «Герника» следовала тому же правилу, что и «Амаркорд», — снимать человека в пространстве, не отделяя лицо от окружающей его среды. К этому восприятию я пришел, посмотрев этот фильм более десятка раз.

Когда я показал свою работу профессору Отакару Вавре, он сказал мне:

— Это серьезный фильм, благодаря таким работам мы можем сказать, что не зря обучаем студентов режиссуре.

А я мысленно произнес: «Спасибо тебе, Федерико!»

Покойный был большим противником алкоголя

В 1978 году родился мой сын Стрибор. В том же году я получил свой диплом в Праге. Из моей жизни навсегда исчез страх превратиться в персонажа социальной литературы начала XX века. В этих романах мои коллеги-провинциалы прозябали в больших городах. Данный этап я успешно преодолел. Несмотря на мнение профессора Земана об умных режиссерах и отцах-идиотах, о фильмах и детях, для меня было очень важно иметь потомка. Новорожденного, как в фильме «Космическая одиссея 2001» Стенли Кубрика. Ребенка, сравнимого с космической радостью, но вышедшего из теплой материнской утробы, без леденящего холода, царящего во Вселенной Кубрика.

* * *

Возвращение в мой родной город было не таким грустным, как отъезд из Сараева. Теперь следовало решить, как организовать свадьбу с Майей. Это оказалось так же непросто, как определить нашу социальную принадлежность. Уже в то время — случаи были единичными, но примечательными — молодые пары сочетались браком в присутствии одних лишь свидетелей. После регистрации акта гражданского состояния они заменяли свадебное пиршество скромным ужином наедине.

Когда мы предложили такой вариант нашим родителям, они замахали руками:

— Если вы действительно решили пожениться, ради бога, сделайте это по-людски!

Я представлял себе нашу свадьбу в виде короткометражки. Веселой и элегантной, как у Жана Ренуара. К сожалению, такая свадьба оказалась утопией. Наши семьи не имели крестьянских корней. Но, учитывая влияние друзей, семьи и общей атмосферы, мы не могли уклониться от популярной субкультуры, в которой все в итоге погрязли. Эти люди покупали диски группы *«Bijelo Dugme»*[38], отплясывали под открытым небом рок-н-ролл, а в это время в их карманах и сумках лежали кассеты, свидетельствовавшие об их истинных вкусах. Они отдавали предпочтение примитивной музыке, родившейся на *no man's land*[39] между Востоком и Средиземным морем, испорченной англосаксонским влиянием. Речь шла о мелодиях и текстах,

которые в итоге не были ни тем, ни другим, ни третьим. Музыка турбо-фолк наводила меня на мысль о банных полотенцах румынских отелей времен Чаушеску, расползавшихся при контакте с мокрым лицом. Их можно было охарактеризовать одним словом: *«Schuft»* — дерьмовые! То же самое с этой музыкой: она была и осталась дерьмовой музыкой, которая, к сожалению, находила отклик у большинства жителей Социалистической Федеративной Республики Югославия!

Первый этап на пути к свадьбе состоял в том, чтобы организовать встречу родителей обеих сторон. Им следовало отправиться друг к другу в гости, как маленьким государственным делегациям.

— Пусть они приходят к нам, — тут же предложил Мурат. — Я приготовлю им незабываемый ужин!

Со своей стороны Мисо Мандич, отец Майи, выразил справедливое удивление:

— Будет правильнее, если Кустурицы придут сначала к нам. Кто кому делает предложение? В конце концов, это они должны просить руки Майи, а не мы — Эмира.

* * *

Прибыв в квартиру в доме номер 8 по улице Марчело Шнайдера, Мурат повел себя довольно оригинально. Прямо с порога он поинтересовался, сколько комнат в квартире! Мать Майи, доктор Дела Кусеч, посмотрела на него с удивлением. Она не ответила резкостью на это проявление бестактности лишь потому, что не хотела сама выглядеть бестактной. Поэтому она лишь молча наблюдала, как ее дочь Майя охотно и любезно показывает Мурату все комнаты. Я был готов провалиться сквозь землю. Отец бросил на меня взгляд и в тысячу первый раз за свою жизнь тихо спросил:

— Ну что я опять сделал не так?

Мурат был глубоко убежден, что подобным образом оказывает честь хозяевам и демонстрирует, насколько он счастлив, что его сын женится на девушке из хорошего дома.

— Снимаю шляпу! — воскликнул он. — Эмир, это просто роскошно для Сараева и даже для всей Боснии и Герцеговины!

Улыбнувшись, Майя ослабила всеобщее напряжение. Мы с Сенкой чувствовали себя неловко, тогда как Мисо с симпатией взирал на манеры своего гостя, напоминавшие ему внеплановую проверку сараевской жилищной инспекции.

Родители быстро поняли, что уже знают друг друга. Старые

знакомые, Мисо и Сенка, наконец обменялись первыми словами. Мисо отметил сходство Сенки с ее братом Акифом.

— Сенка, — спросил он, — таинственный мужчина, который вот уже двадцать лет приветствует меня в Баскарсии, приподнимая шляпу, случайно, не твой брат?

— Да, это он! — вмешался Мурат, делая жест рукой, словно вкручивал лампочку, чтобы показать, что брат Сенки был немного с приветом. — Впрочем, как и его сестра! — добавил он.

— К счастью, ты у нас нормальный! — не осталась в долгу Сенка. — Все бармены Сараева об этом знают!

* * *

Мурат не скрывал своего восторга от того, что нашел в лице Мисо человека, разделявшего его взгляды. Больше всего его радовало их общее стремление критиковать Тито и схожий взгляд на прошлое и будущее. Мисо смягчал резковатую манеру моего отца, по достоинству оценивая его ум и эрудицию.

— И не только это… — говорил он, перед тем как выложить свои аргументы, являющиеся следствием энциклопедической образованности, а также солидного опыта работы на ответственной должности судьи.

Кустурицы покинули квартиру Мандичей, даже не затронув тему свадьбы!

* * *

Спускаясь по улице Марчело Шнайдера по направлению к автобусной остановке, мать с отцом начали свою обычную перепалку.

— Ну почему хотя бы в этот раз, когда наш сын женится, нельзя было обойтись без Тито?! — упрекала моя мать.

— Сенка, дорогая моя, я что, всю жизнь должен выслушивать твои замечания?

— Я могла бы обойтись без замечаний, Мурат, если бы, по крайней мере в торжественные моменты нашей жизни, ты не вдавался в эту глупую политику!

Поскольку Сенка заплакала, мой отец смягчился:

— Сенка, честное слово, это Мисо начал. Слушай, если хочешь, вернемся туда, и он сам тебе подтвердит.

Сенка продолжала плакать, поскольку со всей ясностью осознала, что ее сын уходит от нее навсегда и что у него

начинается новая жизнь.

* * *

На следующей неделе Мандичи нанесли нам ответный визит.

Не успев войти, Мисо задал новую тему:

— Как вы считаете, выполнит ли марксизм свою миссию, если будет придерживаться принципа, что историю следует обуздывать, как кучер обуздывает лошадей в упряжке?..

Проблема организации и места проведения свадьбы была оставлена заботам женщин и детей: это было не столь важно, как ответ на только что поставленный вопрос. Между тем задача была вовсе не простой. У обеих наших семей не было ничего общего с типичными боснийскими семьями. Мисо был сыном банкира, его дед Милос — первым журналистом в Боснии, а его мать — дочерью булочника из Високо. Кусечи, а также Домицели, дедушка и бабушка Лелы, были словенцами и хорватами. Они приехали в Боснию по первому железнодорожному австро-венгерскому пути. Таким образом, Майя представляла собой удачное произведение Королевства сербов, хорватов и словенцев. Неудивительно, что у нее до сих пор остались симпатии к монархии. С учетом того, что наши семьи были нетипичными, представлялось абсолютно невозможным отмечать свадьбу балканским банкетом с низкопробной музыкой, поломанной звуковой аппаратурой и разочарованными гостями, которые много пьют, затем блюют и в итоге достают ножи… В то же время нам пришлось смириться с особенностью сараевских властей: нам предстояло сочетаться браком группой, вместе с пятью другими парами.

* * *

Во время церемонии я попытался придать событию некую долю оригинальности. Чиновник ЗАГСа с припухшим лицом, который, судя по всему, перед этим дремал в соседней комнате, спросил меня голосом хориста:

— Эмир Кустурица, согласны ли вы взять в жены Майю Мандич?

Я ничего не ответил. Воцарилась мертвая тишина. Послышались вздохи, шепот. Я с вопросительным видом обернулся к свидетелям, Зорану Билану и Бранке Пазин. «Что мне делать, дружищи?» — читалось в моем взгляде. Зоран засмеялся и

утвердительно кивнул, тогда как я делал вид, что не уверен в ответе. Напряжение в «Скендерии» достигло высшей точки. И только тогда я решился и произнес роковое «да». Тут же раздались вздохи облегчения и смех. Майя с упреком взглянула на меня, но, поскольку она была взволнована, ей не пришло в голову ссориться со мной. Она разглядывала белоснежное платье сидевшей возле нас беременной невесты, которая держала за руку жениха, по такому случаю временно отпущенного на свободу. Я тоже бросал на него взгляды, полные симпатии. После свадьбы жених отправился еще на несколько месяцев в тюрьму, а я — заканчивать учебу в Праге.

* * *

В день свадьбы Сенка отказалась от своей борьбы с быстрым и неумолимым разрушением дорогих ее сердцу вещей и ради особого случая сняла целлофановую пленку, прикрывающую китайский ковер. В квартире из двух с половиной комнат ухитрилась разместиться добрая сотня людей. Почетное место занял Эдо Хафизадич, сын бея, который в далеком сорок первом году приехал из Травника и не смог присоединиться к партизанам, потому что в тот день у него разболелся желудок. Мурат представил его гостям, после чего сразу увел на кухню.

— Смотрю я на Сараево, Мурат, и понимаю, что это вы, коммунисты, все развалили. Крестьянина переселили в город, сказали ему, что Бога нет, — и вот вам результат!

Мурат соглашался с тем, что говорил его друг. Он получил строгий наказ не повторять историю, произошедшую на его свадьбе с Сенкой — когда его пришлось выносить из квартиры в разгар свадебного пира, — и пообещал «не брать в рот ни капли». Тем не менее разговор с Хафизадичем был прекрасным поводом для нарушения данного обещания, ведь с незапамятных времен кухня представляла собой более привлекательную социальную арену, чем гостиная. Именно здесь было легче всего раскрыть свою душу, прийти к консенсусу или дать торжественное обещание. Часто именно на кухне происходили важнейшие жизненные события. Самые радостные, но также и самые печальные кардинальные решения часто принимались в окружении тряпок и грязной посуды. Каждые две минуты обеспокоенная Сенка показывала мне взглядом в сторону кухни. Когда я туда вошел, отец быстрым движением передвинул свой бокал к Хафизадичу. Я знал, что он пил.

— Хочешь повторить то, что было на твоей свадьбе? —

шепнул я ему на ухо.

— Ни в коем случае! Только один маленький бокал!

— Прошу тебя, следи за собой!

Мурат понял, что я не шучу. Он съежился и прошептал:

— Хорошо, я просто выпил этот бокал с Эдо. И больше ни капли, клянусь жизнью своего сына!

* * *

Квартира была до отказа набита мужчинами в белых рубашках, галстуки которых свешивались в зависимости от количества принятого алкоголя. Их жены, обнявшись, раскачивались из стороны в сторону и распевали песни Здравко Колича: «Поезд в Подлугов» и «Апрель в Белграде». Когда поставили кассеты с народной музыкой, всеобщее веселье достигло апогея. Маленькие боснийки кричали и прыгали от радости. Вся квартира в доме номер 9 А на улице Каты Говорусич ходила ходуном. Стипо Билан, отец моего друга Зорана, в ту пору председатель Ассамблеи Боснии и Герцеговины, сумел извлечь пользу из царящей вокруг суматохи и расслабленного состояния Нады Липы, красивой женщины с пышными формами. Он несколько раз ущипнул ее за ягодицы, и сделал это с еще большим удовольствием, когда узнал, что она родом из Биелины. Боснийцы особенно любили женщин из Биелины, поскольку те считались более доступными, чем суровые герцеговинки. Это объясняли тем, что город Бислина располагался на плодородной равнине, тогда как Герцеговина растянулась на пустынных карстовых землях Адриатического побережья, где женственность представляла собой единственную ценность.

Нада Липа, танцуя под музыку, дошла до кухни и сообщила своему мужу, доктору Липе, что председатель Ассамблеи Боснии и Герцеговины щиплет ее за задницу:

— Оставь, дорогая, ему приятно, а от тебя не убудет, — ответил муж своей жене.

Доктор Липа лечил сердце Мурата, но мой отец, несмотря на свое обещание, пытался добиться от него разрешения выпить еще:

— Черт! Доктор, мне нужно выпить еще один бокал. Ведь не каждый день сын женится!

Но врач был своего рода Макаренко в медицине.

— Господу угодно, чтобы ты остановился на одном, Мурат, хотя мужчина и склонен к бигамии, — сказал он. — Но тебе лучше оставить эту сливовицу!

— Тогда дай мне выпить за то, чтобы он не развелся с Майей.

Только посмотри, какая красивая у меня невестка! Настоящая куколка!

* * *

В 1980 году Тито умер. А через год я получил «Золотого льва» в Венеции за свой фильм «Помнишь ли ты Долли Белл?». Услышав название награды, Стрибор, которому было тогда три года, испугался за нашего пса.

— А как же Пикси? Лев ведь может его съесть! — обеспокоенно спросил он меня.

* * *

Мои друзья детства смогли убедиться, что являются неотъемлемой частью этого фильма. Харис, Бели и Труман были счастливы, увидев некоторые сцены нашей жизни на большом экране.

Что касается Ньего, зарабатывавшего на жизнь электриком на трансатлантических суднах, победа «Долли Белл» застала его посреди Индийского океана. Неожиданно в новостях он услышал мое имя, повторявшееся несколько раз. Но связь была плохой, и сигнал постоянно терялся. Он потряс транзистор, перевернул его несколько раз, отыскивая лучшее положение. Он никак не мог взять в толк, почему упоминали мое имя. «Этот кретин банк, что ли, ограбил? — недоумевал он. — Или, не дай бог, убил кого-нибудь?»

Лишь прибыв в порт и прочитав газеты, он вздохнул с облегчением, поняв, что его старый приятель получил главную награду в Венеции.

* * *

Съемки фильма «Помнишь ли ты Долли Белл?» состоялись благодаря тому, что я посмотрел «Амаркорд» и встретил Абдулу Сидрана, а также потому, что именно в тот период это оказалось возможным.

Тито заболел — мы видели его по телевизору чаще, чем обычно. Хамза Баскич, директор сараевского телевидения, спал в своем кабинете на раскладушке, чтобы показать, насколько его тронула болезнь маршала. Будучи верным членом партии Тито,

Баскич не одобрял проект «Долли Белл». Тем не менее, поскольку телевидение Сараева было сопродюсером фильма, он не мог препятствовать съемкам. Когда фильм был закончен, он попытался помешать его выходу. Он направил Весне Дугонич, главному редактору сараевского ТВ, телеграмму, в которой, как достойный ученик Тито, не запрещал показ фильма в кинотеатре «Тесла», а лишь подчеркивал нежелательность этого. От козней этого типа фильм спасли лишь его поэтичность и авторитет Рато Дугонича, «тайного советника» коммунистов в Боснии, отца Весны Дугонич. Фильм «Помнишь ли ты Долли Белл?» стал ее настоящей личной удачей, а влияние ее отца послужило щитом против анафемы.

Было уже слишком поздно для Баскича и всех тех, кто защищал Тито от неотвратимо наступающих новых времен. Шутливый тон «Долли Белл» обезоружил самых яростных сторонников партии Тито и всех вышестоящих чиновников. Даже Мухамед Кресо, правая рука Хасана Грапцановича, секретаря Центрального комитета Боснии и Герцеговины, «боснийский Геббельс», как называл отец этого цензора всех артистических начинаний в Боснии, в итоге одобрил этот фильм.

* * *

«Помнишь ли ты Долли Белл?» достоверно отражает жизнь сараевских улиц. В фильме как на ладони раскрывается драма окраинных районов города, которая никогда раньше не затрагивалась и всеми игнорировалась. Кроме того, впервые жители Сараева могли идентифицировать себя с тем, что они видели на экране, с удовольствием разглядывая утрированное изображение своей повседневной жизни. Особенно сараевцев радовало осознание того, что их личные драмы, образы их отцов, матерей и сестер, условия их жизни станут отныне известны и понятны всему миру. Посредством этого фильма время — подобно морю, выбрасывающему после шторма на берег разные предметы, — вновь, как по мановению волшебной палочки, предъявляло их взору события их собственной жизни в пронзительном и абсолютно новом свете.

* * *

Абдула Сидран вошел в мою жизнь в облике мученика. В своем рассказе «Отец — это дом на слом» он описал семейную

трагедию, главным героем которой стал его собственный отец, жертва лагеря «Голи-Оток». Как раз из-за отца сараевские политические власти недолюбливали Сидрана.

Мы познакомились в столовой здания сараевского радио и телевидения, где я в ту пору работал. Сидран, как это часто бывало, уже несколько дней подряд не вылезал из пьянок и ночных развлечений. Своим талантом он выделялся на фоне других сотрудников телевидения, раздутых от самомнения, сидевших в этой столовой, пропахшей запахом жареного лука. Его поэтический дар, подкрепляемый искусством риторики, придавал ему вид мелкого литературного аристократа. Он говорил так, словно диктовал машинистке готовые диалоги для своего будущего романа. Ни одной лишней запятой, ни единого ненужного слова. Позже я понял, что он на самом деле писал, тогда как мы считали, что он говорит.

* * *

Однажды в свойственной ему манере он сказал мне:

— В письме я обошел их всех, включая Гордана Михича![40] Не сомневайся ни на секунду. У меня есть для тебя сценарий!

Месяц спустя он написал короткую версию сценария, в живой манере повествующего о сараевском подростке Дино в период, когда в нем начинают пробуждаться первые проблески сознания. Сидран умело сплетает семейную драму, достигающую кульминации в момент смерти отца, и личную драму Дино, влюбленного в юную крестьянку, которую привозят из деревни, чтобы «подготовить» к проституции в Милане. Сцена, в которой отец Дино, Махо, коммунист и мечтатель, умирает и отправляется в мир иной, в то время как его сын обнаруживает в журнале «Политикин забавник» статью о научных гипотезах существования вечной жизни, грандиозна. Невероятную силу этой сцене придали твердая автобиографическая убежденность и мелодичное звучание диалогов Сидрана.

Я быстро решил, кто будет исполнять роль отца, вспомнив о Слободане Алигрудиче, поразительном черногорце. Мне не пришлось долго уговаривать Слободана сыграть в моем первом фильме. Он часто ругался с киностудией и Ольгой Варагич по поводу своих гонораров, а позднее — из-за разных мелочей. До самого конца съемок он отказывался подписывать контракт. Он любил насмехаться над неприятными людьми, особенно над властителями кинематографического мира. Никогда, ни до этого, ни после, я не встречал настолько притягательного человека с

ярко выраженной предрасположенностью к саморазрушению. Он выкуривал по пять пачек *«Marlboro»* в день, щипал актрис за ягодицы во время фотосъемок и мечтал заниматься более серьезным делом, чем актерство, таким, например, как выращивание арбузов. А во время съемок он колол оператора Вилко Филача шприцем, который позже использовался в сцене смерти! У Алигрудича был готов ответ на всё, его не обескураживали даже важные вопросы бытия.

Однажды, когда я ждал возвращения из Триполи Майи и Стрибора, отправившихся проведать Делу, у которой был там собственный медицинский кабинет, я сказал ему:

— Когда я думаю о них, у меня в животе поднимается теплая волна. Что это может быть?

— Любовь, глупец! — ответил он, постучав пальцем по моей голове.

Между моими попойками — которые были всего лишь дружескими вечеринками, а не привычкой или способом прятать свое малодушие — появились большие паузы.

Однако после окончания съемок мои встречи со Слободаном Алигрудичем превратились в настоящие пьяные загулы на всю ночь. Во мне проснулось все, что, как мне казалось, я оставил в юности в период своей учебы. Эксцентричность, поэтическая чувствительность, интеллектуальная агрессивность снова вылезли на поверхность. И все это посыпалось из чемодана, в который я запер грехи юности во время своего становления в Праге. В безумствах, следовавших за нашими попойками, мы с Алигрудичем соревновались, кто сильнее ударит головой о водостоки старых домов Баскарсии и сломает их. У него оказалась крепкая голова, чего нельзя было предположить с первого взгляда.

Для нас обоих отец Сидрана стал источником нашего литературного вдохновения. При этом мой отец вдохнул в «Долли Белл» реальную жизнь, которую литература дать не могла. Мурат, этакий живой прообраз героя, обогатил деталями персонаж отца, который забывает о протекающей крыше и не собирается ее ремонтировать, зато охотно разглагольствует о царящей в мире несправедливости, полный уверенности, что с 2000 года планетой будет править коммунизм. Объединение судеб сценариста и режиссера решительным образом повлияло на популярность этого фильма. В итоге главным героем стал именно отец, а не Дино, даже если Славко Симач сыграл роль сараевского тинейджера с поразительной точностью.

* * *

Подобно всем провинциалам, распускающим себя после большого успеха, я начал злоупотреблять алкоголем. Я находил в нем все больше и больше удовольствия, и эта игра очень быстро стала опасной. Не столько из-за самой выпивки, сколько из-за моей потребности провоцировать скандалы в общественных местах. Больше всего мне нравилось оскорблять Тито и государство в барах. Первого я ругал вполголоса, зато брань в адрес государства могли слышать все, кто находился в этот момент в помещении.

Однажды после долгой бессонной ночи Майя позвонила моему отцу и с тревогой сообщила, что я не появлялся дома весь день и всю ночь. Она умоляла его забрать у меня ключи от машины под любым предлогом — например, чтобы отвезти Сенку во Врело Босне. Отец сделал все, о чем она его просила, и даже больше. Он решил пожертвовать собой и напиться вместо меня.

Он нашел меня в кафе «Сеталист», когда я «поправлялся» пивом после хмельной ночи. Утолив жажду, я перешел к рому и в качестве тоста, встав с места, принялся ругать государство, размахивая бокалом. После чего осушил его до дна. Своим неодобрительным взглядом официантка Борка дала мне понять, что «не следует говорить такие вещи». Затем, по-прежнему взглядом, она показала мне на посетителей, которые слушали мои непристойности. Когда я снова принялся оскорблять государство, она закрыла уши обеими руками, чтобы не слышать меня и не передавать информацию куда следует. Каждый новый бокал рома сопровождался очередным ругательством:

— Плевать я хотел на государство! — воскликнул я, и в этот момент мой отец поднялся и закончил:

— Лихтенштейн!

После чего он залпом осушил свой бокал.

Когда он понял, что я собираюсь как следует напиться, то добровольно пошел на дополнительную жертву. Прикидываясь идиотом, он утаскивал мои бокалы с подноса официантки. В итоге он набрался до такой степени, что вопреки намеченному плану мне самому пришлось везти его на машине до квартиры в Косеве, чтобы он там протрезвел. Я отвез его к Майе, а не домой, потому что он дал обещание Сенке больше не прикасаться к спиртному. Войдя в квартиру, он не обратил внимания, что стены были свежевыкрашены. Он поздоровался с Майей и помчался в ванную комнату. Рядом с дверью в туалет к коридорной стене была прислонена другая покрашенная дверь. Отец дернул за ручку, и дверь свалилась ему на голову. Оглушенный ударом, он опрокинулся на спину, полностью скрывшись под дверью. Когда ему удалось выбраться, он поискал Майю взглядом и произнес,

держась за голову:

— Мне только что пришла в голову одна мысль, дорогуша. Какая судьба ожидает чешскую сталь, если Советский Союз развалится?! Кто первый приберет ее к рукам? Ты знаешь, какое качество у их стали?

* * *

В 1983 году умер дядя Акиф, представитель фирмы *«Philips»* в Боснии и Герцеговине и личный друг королевы Голландии. Таинственный господин, король элегантности Баскарсии, единственный житель Сараева, который даже детей приветствовал легким кивком головы, приподнимая свою шляпу.

* * *

Как-то в субботу после обеда, как раз за неделю до смерти своего отца, Дуня Витлачил-Нуманкадич прогуливалась по улице Васе Мискина. Она взяла с собой свою свекровь Смилю, чтобы пройтись по Старому городу. Ей давно хотелось сблизиться со своим отцом, но судьба распорядилась по-иному. Толкая коляску со своим маленьким сыном Деяном, она невольно вздрогнула, увидев Акифа возле кондитерской «Египет». Пока ее отец переходил на другую сторону улицы, направляясь к своему офису рядом с мечетью Али-бея, Дуня остановилась, на этот раз полная решимости познакомить деда с его внуком, как это водится у нормальных людей. Заметив дочь, дядя Акиф по своему обыкновению кивнул головой в знак приветствия, с широкой улыбкой взглянул на своего внука, снова надел шляпу и исчез из виду. Взволнованной Дуне оставалось лишь горестно размышлять о том, что же такого могло произойти в жизни ее родителей, чтобы ее отец проходил мимо собственных детей, а теперь и мимо своих внуков как вежливый незнакомец. Она знала, что ее отец с матерью, разъехавшись после двадцати лет жизни в одном доме, встретились лицом к лицу на улице лишь однажды. На несколько секунд они замедлили ход, глядя друг другу в глаза взглядом, полным невысказанных упреков во взаимной неверности. Никто из них не произнес ни слова. Больше они никогда не виделись.

* * *

Все, что Акиф отказывался делать для собственной семьи, он компенсировал своей общественной жизнью в Баскарсии. Там даже местные сумасшедшие, включая самого известного из них. Хору Кукурику, признавали в нем настоящего джентльмена и преклонялись перед ним. Дядя Акиф кормил их, заботился о них, давал им денег. Когда загадочная смерть унесла этого человека, прожившего не менее загадочную жизнь, его кончина в глазах семьи и сограждан стала яркой вспышкой, озарившей необычный образ моего дяди.

* * *

После своей смерти дядя Акиф пополнил длинный список чеховских героев, обогативших мою жизнь. Во время обычного медицинского осмотра он узнал, что у него проблемы с почками. Дядя не стал паниковать, но когда доктор сообщил ему, что операция неизбежна, он услышал, как в его дверь стучится смерть. Уверенный, что не выйдет живым из больницы, он написал последнюю впечатляющую страницу своей жизни. Его сердце не выдержало сложной операции. Новость о его смерти распространилась по Баскарсии со скоростью света. Все его друзья и родственники помчались выражать свои соболезнования на улицу Вразова, в квартиру дяди Акифа. Его сестре Изе, которая к тому времени рассталась с фальшивым пилотом Адо Бегановичем и теперь жила у своего брата, не пришлось прилагать много усилий для организации поминок в квартире покойного. Ее брат купил все необходимые для этого дня продукты и сложил их на полки и в шкафы на кухне.

— Покойный был большим противником алкоголя, — заявила моя тетя, когда собрались гости. — Прошу вас уважать его волю и не пить спиртное в квартире.

С этими словами тетя Иза засунула руку за сифон кухонной раковины и вытащила оттуда бутылку домашней водки, как бы подтверждая, что алкоголь здесь абсолютно запрещен. Она наполнила бокалы для себя и только что прибывших гостей.

— И все же мы не может проводить покойного без последнего «прощай». И, как утверждают наши братья-христиане, необходимо выпить за упокой его души.

Она выплеснула половину своего бокала[41], выпила вторую половину и поставила бутылку на место, под раковину. Иза уже давно жила у своего брата и иногда выпивала по стаканчику, когда болел желудок или когда на душе скребли кошки. Об этом, разумеется, ее брат не знал, поскольку был «большим

противником алкоголя».

* * *

Перед тем как лечь в больницу, дядя Акиф решил, что его проводы в последний путь должны пройти достойно. Он отправился в магазин, и его покупки в тот день не имели ничего общего с обычным месячным рационом. Он хотел быть уверенным, что после его смерти, в день поминок, все пройдет так, как должно для человека его ранга. Помимо закупки всех необходимых для этого дня продуктов, дядя оставил своей сестре подробные письменные инструкции о том, как следует распорядиться съестными припасами: «Двух с половиной килограммов кофе хватит, чтобы все, кто скорбит обо мне, могли пить его вдоволь в течение двух дней. Их будет около двухсот пятидесяти. Если разделить два с половиной килограмма на двести пятьдесят, в зависимости от того, готовишь ты крепкий или слабый кофе, приблизительно его должно хватить на всех. Килограмма сахара, конечно, многовато, но было бы глупо покупать меньше. В любом случае, в запасе есть еще два килограмма. Килограмм фиников и сушеного инжира, а также два килограмма лукума: два первых предназначены детям, а лукум, разумеется, подается взрослым вместе с кофе».

* * *

В нижней части серванта в столовой дядя Акиф составил сиропы и фруктовые соки. Чтобы был порядок, он отделил лимонад от вишневого сока и на белом листе своим красивым почерком добавил дополнительные указания: «Не стоит злоупотреблять лимонной эссенцией, поскольку она не натуральная, но очень хорошо утоляет жажду. Не клади больше половины столовой ложки на два децилитра воды. Вишневый сок несколько густоват, его следует развести. Не в целях экономии, а потому что не очень хорошо, когда напиток слишком сладкий. Следует помнить, что диабет — частое явление среди людей моего поколения, а поскольку в этот скорбный день по случаю моей смерти будут преобладать люди моего возраста, необходимо со всей серьезностью отнестись к тому, о чем я только что упомянул…»

Не бывает фильма без мрака

В 1985 году фильм «Папа в командировке» победил на Каннском кинофестивале. Это был первый югославский фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь». Я вернулся в Сараево за три дня до окончания фестиваля, и премию за меня получил Мирза Пасич, директор «Форум-фильм Сараево». Его фотография с «Золотой пальмовой ветвью» и поднятыми вверх руками обошла весь мир. Он получил награду из рук Стюарта Грейнджера и просто сказал:

— Большое спасибо.

Когда меня спросили в Сараеве, почему я сам не получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, я не придумал ничего лучше, чем ответить, что мне нужно было класть паркет в квартире моего друга Младена Материна.

* * *

Моей победы на Венецианском кинофестивале оказалось недостаточно, чтобы городские власти удосужились выделить мне государственную квартиру. Мы с Майей и Стрибором жили в квартире родителей Майи. В этой парадоксальной ситуации, в результате которой я, несмотря на награду, не мог воспользоваться своим правом на жилье, сыграли роль два фактора: я никогда не был членом коммунистической партии, и Мурат не пользовался особой любовью в сараевских политических кругах. Как иначе объяснить тот факт, что счастливый обладатель венецианского «Золотого льва» до сих пор жил в чужой квартире? Несмотря на то что венецианский «Золотой лев» и победа баскетбольной команды «Босна» представляли собой единственные достижения, благодаря которым Сараево фигурировал на европейской арене! Мне это напомнило отца и его юмор, когда, лежа на диване, он защищался от нападок моей матери, вопрошающей, почему помощник министра живет в полуторакомнатной квартире. Право на жилье, разумеется, было — оставалось лишь его применить! Но мои проблемы не ограничивались жильем и отсутствием каких-либо привилегий, которые предполагает кинематографическая слава.

* * *

После Венеции мой следующий проект «Папа в командировке» неожиданно погряз в политическом болоте. Сценарий, написанный за неделю, в интервалах между попойками Сидрана, но также в порыве вдохновения после успеха «Долли Белл», стал излюбленным блюдом в меню преемников Тито. Мы с Сидраном и Стрибором поселились в отеле «Империал» в Дубровнике, словно в укрепленном лагере, с единственной мыслью в голове: как можно скорее завершить сценарий об этом критическом периоде 1948 года. Это была по-прежнему история семьи Золь, но происходила она чуть раньше по времени, в соответствии с событиями той эпохи. Речь шла о том, как отец Меша Золь, став жертвой любовной махинации, был уничтожен политически и как судьба этого политзаключенного повлияла на становление его сына Малика.

Раз уж я не получил квартиры и прочих привилегий в связи со своей недавней венецианской победой, я надеялся хотя бы на отсутствие проблем со съемками нового фильма. Очень скоро стало ясно, что надеялся я зря. Я не учел того факта, что маленькие солдаты Тито по-прежнему стояли у власти и изо всех сил старались ничего не менять, словно Тито и не умирал, и особенно — не касаться любой щекотливой темы, в частности болезненного 1948 года.

Мой фильм затрагивал ту страницу нашей истории, которая не пользовалась популярностью среди наследников Тито. Особенно если учесть, что они добились политической славы, пропагандируя миф о разрыве отношений между Тито и русскими. С одной стороны, мой фильм — в поэтическом стиле, глазами маленького мальчика, — рассказывал о ключевых исторических переменах, но при этом касался также истории невинной жертвы лагеря «Голи-Оток». В то время я еще не вполне осознавал свою компетентность в вопросах темы «Голи-Оток». А ведь я видел немало друзей своего отца, пьяных и несчастных, приходивших в нашу квартиру в Торице, а также в следующую, в доме номер 9 А на улице Каты Говорусич. Все они сыграли важную роль в моем становлении. Особенно Хайрудин Сиба Крвавац, который был членом худсовета «Сутьеска-фильм», но из-за своего прошлого в «Голи-Оток» он не сумел помочь мне распутать клубок, тормозивший съемки моего второго полнометражного фильма.

* * *

Как удержать мяч на середине поля? Как охладить пыл

художника, одержимого своей идеей, и постепенно разубедить его снимать фильм «Папа в командировке»? Такой вопрос задавали себе члены худсовета «Сутьеска-фильм». Разрешение на съемку в обязательном порядке утверждалось этим советом. Все это походило на ловкость футболиста Мехмеда Баздаревича, пытающегося удержать мяч у себя как можно дольше.

Отчеты наших интеллектуальных «футболистов» наилучшим образом демонстрируют эту потребность «удерживать мяч в середине поля».

Вот отчет о рабочем совещании худсовета «Сутьеска-фильм», состоявшемся 1 февраля 1983 года в его штаб-квартире в Ягомире.

«ПАПА В КОМАНДИРОВКЕ»

ЧЕДО КИСИЧ:

Мы знаем, о какой эпохе рассказывает сценарий, но, по моему мнению, автор уделил ей недостаточно внимания. В этом сценарии не ощущается духа нашей борьбы с Коминформом. Гораздо больше внимания уделяется описанию личных судеб людей, но не сообщается ничего о событиях, происходящих вокруг них, и о состоянии общества. Когда сталкиваешься с такой драмой, необходимо четко описывать эпоху, поскольку возникает вопрос: почему все, что происходит в фильме, происходит?

У меня также есть ряд замечаний касательно некоторых моментов сценария: например, разговор между матерью и главой мэрии. Он звучит слишком резко — я считаю, это нужно изменить. Когда следишь за судьбой человека, размышления о смысле тех или иных событий в его драматургическом значении требуют, чтобы люди спросили себя: какого ждать результата? каков будет финал фильма?

Местами сценарий подпорчен провинциальностью и примитивизмом, которые следует убрать. Мне также кажется, что психологический портрет ребенка чересчур надуман. Не знаю, отражает ли этот фильм в полной мере определенную идеологическую позицию.

НИКОЛА НИКИЧ:

Постановочный сценарий скоро будет завершен. Поскольку некоторые существенные изменения уже были внесены режиссером в этот сценарий, я предлагаю не обсуждать актуальную версию сценария, а рассмотреть новый вариант на следующем заседании худсовета.

* * *

Отчет о втором рабочем совещании худсовета «Сутьеска-фильм», состоявшемся в его штаб-квартире 28 февраля 1983 года.

«ПАПА В КОМАНДИРОВКЕ»,

постановочный сценарий Эмира Кустурицы

НЕДЬО ПАРЕЗАНИН:

Читая первый сценарий, я искал в нем 1948 год и события, происходившие в нашей стране, какими они выглядели в глазах всего мира и в наших собственных. Что значит этот год для мира, для международного рабочего движения? Многое! Он ознаменовывает начало новой эры в международном рабочем движении. Нет ни одной прогрессивной силы в мире, которая не опиралась бы на «НЕТ» Тито. Хотя этот фильм и не претендует на раскрытие полной картины тех месяцев, он все же обязывает уделить больше внимания этому периоду. Вот почему фильм, по моему убеждению, должен дать нам прочувствовать дух и события того времени. Кроме того, у меня есть ряд конкретных замечаний:

за кадром Малик рассказывает, что его отец заявил о нем за месяц до его рождения, чтобы получить дополнительное продовольствие для ребенка, — это не соответствует действительности, поскольку в то время дополнительных продуктов не выдавали, а существовали рационы питания;

секретарь *КРЈ*[42] в целом годится, но его выражения настолько надуманны, что он невольно превращается в карикатуру. Это партийное собрание должно быть серьезным, а секретарь — соответствовать реальности, без утрирования и изображения персонажа в черном цвете;

сомневаюсь, что будет возможно стать сцену погребения, поскольку не найдется ни одного православного попа, который согласится хоронить пустой гроб. Ложь противоречит их догме;

Морнар и Наташа — самые светлые персонажи фильма. Они делают его оптимистичным и живым;

семья Павловичей одевается в траур, потому что отец был приговорен к заключению, как член Коминформа. В то время это было бы воспринято как выражение протеста, и им бы не поздоровилось. Подобное проявление оппозиции было недопустимо в ту эпоху;

поэма Макаренко пользовалась популярностью, и я ничего не имею против того, чтобы ее читали в фильме, но только без сарказма;

когда членов Коминформа отправляли в лагерь, их семьи в обязательном порядке выселялись из квартиры, даже если все они были приличными людьми. Поэтому глава мэрии, спасающий семью от выселения, кажется мне выдумкой. Считаю, что семья должна быть выселена, тем более что все ее члены переехали в Зворник, а в квартире остался лишь дедушка. Правда должна оставаться правдой;

Малик не должен писать дважды своему отцу; женщины с татуировкой Франьо показываются на протяжении фильма три-четыре раза в шутовской манере. Я считаю, это уже перебор;

больше всего вопросов вызывает персонаж Анкицы. Он недостаточно обоснован, и даже любовь не оправдывает этой черной злобы. Независимо от своих моральных устоев — а они скорее отсутствуют, — Анкица в итоге вступает в борьбу с Коминформом. Безнравственность оказывается на нашей стороне;

полагаю, фильм немного потеряет, если названия городов Зворник и Баня-Ковиляча будут изменены, поскольку туда ездят лечиться бесплодные женщины и у них могут возникнуть неприятные ассоциации;

персонажи доктора Ляхова и Маши меня смущают, потому что они русские. Символика более чем понятна: рыдания, слезы, разрыв с Россией. Доктор — русский белогвардеец, а мы в 1948 году выслали многих из них в Россию. Любовь между Машей и Маликом не конкретизируется. Рыдания здесь совершенно неуместны. Поэтому мы можем их интерпретировать как слезы из-за разрыва отношений с Россией, а мы, как известно, не плачем по этому поводу. Детская любовь, альбом с воспоминаниями и все, что с этим связано, прекрасно может быть реализовано, если заменить русских на наших соотечественников;

брат женщины, агент *UDBA*, как в первом, так и во втором сценарии, действует по собственной инициативе. Нигде за ним никто не стоит. Он сам решает все: кого увезти, кого посадить. Не следует делать из сотрудников *UDBA* идиотов. Что бы ни происходило в то время, *UDBA* и «Голи-Оток» сыграли важную роль в борьбе против сталинизма. Мне кажется, что в будущем к этому периоду не будут относиться столь негативно, несмотря на некоторые совершенные в ту пору ошибки;

Петрович и его смерть не вписываются в историю Малика, поскольку юный возраст последнего не позволяет ему понять случай Петровича;

в конце фильма я бы поженил Наташу и Морнара. Я не

против того, что Фарук предстает в образе алкоголика, но водка его сломала. Это слишком темный тип, самый мрачный персонаж фильма, и он появляется на фронте борьбы против Коминформа, так что складывается ощущение, что с Коминформом сражались отбросы общества, такие как Фарук и Анкица. Поэтому я считаю, что следует пересмотреть оба этих персонажа и объяснить, почему они настолько мрачные. Возможно, следует подумать, что они не созрели для того, чтобы стать агентами, поскольку их нельзя так оставить, — это слишком отрицательные персонажи;

наши современники хотят увидеть, как Югославия одержала верх над Сталиным, и если мы этого не покажем, значит, мы войдем в противоречие с современной историей. Следует показать миру, насколько было сложно претворить в жизнь великое «НЕТ» Тито.

ЧЕДО КИСИЧ:

Я придерживаюсь мнения, которое уже высказывал о втором варианте сценария этого фильма. Хотя некоторые изменения и были внесены в постановочный сценарий, все они носят поверхностный характер. Основным недостатком обоих сценариев является характер эпохи. Необходимо как следует отразить ее драму. А в этой части фильма эпохи не видно, она совершенно не чувствуется. Что значило все то, что происходило в тот период спорных высказываний? Здесь мы не видим ничего из этого, а песня «Вся страна…» звучит даже несколько иронично.

Сцена передачи жезла, в которой Цекич говорит Меше: «Давай убежим из этой толпы», вряд ли должна оставаться такой. Человек, защищающий систему, не ведет себя подобным образом. Складывается ощущение, что это скорее фильм о сталинизме, а не об антисталинизме. Это ощущение присутствует на протяжении всего фильма, тогда как наша страна нуждается в очень сильном антисталинистском фильме. Кроме того, в постановочном сценарии слишком много ругательств. Они абсолютно ничего не дают фильму, я считаю, что их нужно убрать.

В заключение хочу сказать, что работу над фильмом в соответствии с постановочным сценарием начинать нельзя. Он требует доработки.

ЭМИР КУСТУРИЦА:

Эта история не имеет никакого отношения к 1948 году, она связана с 1950-ми годами и затрагивает некую форму политических разногласий. Она могла бы произойти и в наше время, и в любое другое. Цель этого фильма — рассказать о вероятном экстремальном событии, и мне хотелось бы, чтобы

дискуссия касалась самого текста, а не возможного резонанса, который он может вызвать.

Я считаю, что проблема заключается в том, что тема затрагивает эпоху, с которой я лично не знаком. Любые настойчивые попытки привязать эту историю к Коминформу делают съемки фильма невозможными. Это вероятная история, с которой мы можем соглашаться или нет, но она никак не связана с Коминформом. У меня есть несколько решений обозначенных вами дилемм. Характер эпохи, о котором вы говорите, может быть выражен через двух персонажей: один из них будет настоящим агентом Коминформа, а другой окажется в «Голи-Оток» по ошибке. Это вполне соответствует реальности, и уточнение может быть внесено в текст.

Некоторые проблематичные места, о которых вы упоминали, на самом деле были выбраны для того, чтобы история не привязывалась ни к какой определенной эпохе; они отражают психологическое состояние персонажей. Постановочный сценарий не ставил перед собой целью анализировать и пояснять какой-либо исторический период.

ЧЕДО КИСИЧ:

Я боюсь, что подобная позиция будет плохо воспринята, поскольку люди, узнав некоторые ситуации, зададут тысячу вопросов. Мне кажется, что было бы неплохо уделить больше внимания вступительным сценам фильма, поскольку характер эпохи в нем выражен слабо. Следует сделать акцент на его драматическом аспекте. В постановочном сценарии также слабоваты диалоги. Они довольно симпатичны, но многие из них бессвязны.

ЭМИР КУСТУРИЦА:

Диалог является следствием структуры языка. Не следует отождествлять персонажей и их поведение с их словами, люди раскрываются в своих поступках. Степень вульгарности и диалоги взрослых достоверны. Что касается антисталинизма, то я глубоко чувствую его в этом фильме, поскольку весь фильм — это протест против сталинизма как всеобщей человеческой несправедливости.

НЕДЬО СИПОВАЦ:

Основная тема фильма — как невинный человек становится жертвой и что из этого следует; это всеобъемлющая тема, рассказанная как вымысел. Но в постановочном сценарии не удалось обойти Коминформ. Негативная атмосфера сценария создает настойчивое впечатление, что Коминформ был палачом

для невиновных. Однако я уже говорил во время своего анализа сценария, что необходимо передать истинный характер эпохи.

Времена Коминформа были жестокими. Если бы удалось прикрыть эту жестокость сказочным налетом через призму детского взгляда, это было бы хорошо. Но в актуальном виде он сохраняет свое негативное значение, озаряя уродливым светом все произведение. В основе трагической судьбы людей лежат реальные исторические события. Но об этом в тексте нет ни слова.

НИКОЛА НИКИЧ:

Учитывая все вышесказанное, считаю, что следует предложить Эмиру еще немного поработать над сценарием, чтобы лучше передать в своем фильме дух эпохи того времени.

ХАЙРУДИН КРВАВАЦ:

Я согласен с высказанными замечаниями и думаю, что они могут послужить основой для разработки хорошего сценария для фильма. Режиссер должен их рассмотреть через свою собственную призму и включить в свой сценарий. Несмотря на то что сам текст носит характер рассказа, вполне возможно добавить туда массу вещей, которые позволили бы прочувствовать дух эпохи, в которую происходит эта история.

Сценарий довольно разрозненный, и основной конфликт (уместившийся на тринадцати страницах) раскрыт недостаточно, следует сделать его более понятным, добавив несколько сцен:

то, что говорит Анкица, она должна также повторить в другом контексте, не только Фаруку, но также и в присутствии еще одного агента *UDBA*;

предлагаю убрать сцену 42 (партийное собрание, критика и самокритика), поскольку она происходит много времени спустя после описываемых событий и лишь усложняет повествование. Я предлагаю заменить ее сценой 55, тем более что в двух последующих сценах речь пойдет о расставании с мужем;

я бы убрал также ношение траура и похороны Владо Петровича, если только режиссер не решил сделать из этого персонажа «парного героя» Меши, а брат жены Петровича не должен погибнуть на пограничной заставе; в тексте не хватает конфликтной ситуации; сцена посещения матерью мэра должна быть сдвинута и размещена сразу после появления преступников;

персонаж доктора Ляхова — самое большое замечание, которое можно сделать этой части фильма. Я считаю, что его следует обязательно заменить югославом, сохранив те же черты характера;

я убрал бы также сцену 54, где мать адресует упреки своему брату.

В заключение хочу сказать, что все подробные замечания, высказанные на этой комиссии, должны быть учтены в следующем постановочном сценарии, поскольку они представляют собой предварительные условия для создания полноценного фильма.

ВЫВОД:

Если сценарий ставит целью показать атмосферу эпохи, необходимо воздержаться от многочисленных двусмысленных размышлений, которые придают ему негативный характер, поскольку сам текст пропитан той эпохой. Комиссия худсовета единогласна в своем решении дать еще немного времени Эмиру на обдумывание всех этих замечаний и советов. Учитывая все высказанные предложения, режиссер должен приступить к работе над новым постановочным сценарием, который будет передан комиссии. После чего совет соберется вновь, чтобы его рассмотреть.

* * *

Было также решено передать сценарий для чтения другим лицам, не входящим в худсовет, которых предполагалось выбрать «среди выдающихся представителей культуры нашей республики».

* * *

В тяжелые моменты моей битвы за фильм «Папа в командировке» в Сараеве меня утешала лишь мысль о существовании Белграда — эпицентра Балкан, с которым я, тем не менее, впоследствии не раз был в разладе. Если меня зачастую смущали его провинциальность и надменный снобизм его элиты, Белград все же представлял собой мать-кормилицу, последнее прибежище и надежду на то, что все когда-нибудь наладится. Для всех тех, кто решал судьбу фильма «Папа в командировке», Белград был настоящим политическим Содомом и Гоморрой, тогда как для меня он символизировал необходимый переходный этап, ведущий к свободе. Политические круги Сараева считали Белград генератором анархо-либерализма — следуя выражению Тито, который видел в нем чрезмерное ориентирование на

Запад, — и антикоммунизма, то есть национализма и идеологии четников, однако на деле это были просто громкие слова, помогавшие бичевать попытку сближения Сербии и России и все прочие проявления свободы, таящиеся в этом городе.

Когда мои силы были уже на исходе, мне пришла в голову мысль, что мое место было там, в этом городе, где выходил еженедельник «Нин»[43] где жили Александар Петрович, Живоин Павлович и прочие кинорежиссеры Черной волны[44], там, где все интересовались философией, где дружили Матия Бецкович[45] и Милован Джилас[46] где жил Драгослав Михайлович, автор романа «Когда цвели тыквы», и где издавался журнал «Студент». Город, где жители просыпались под звуки голоса великого Дуско Радовича, звучащего на радиоволнах.

Дожидаться разрешения съемок «Папы в командировке», словно «Конца игры» Самюэля Беккета, совершенно не входило в мои планы. Нужно было уезжать. Либо в Белград, либо на Запад. Но как появиться на Западе с незавершенным фильмом? Измученный этими раздумьями, я встретился с Мирой Ступицей в аэропорту Сараева. Мы еще ни разу не пересекались, но знали друг о друге понаслышке. В сентябре 1981 года она повлияла на решение своего мужа, Цвиетина Миятовича, президента Югославии и Верховного главнокомандующего армией СФРЮ, который разрешил мне отправиться в Венецию за «Золотым львом», несмотря на мою службу в армии. Встречу с Мирой устроил мне Вук Бабич, мой друг-режиссер, который снял вместе с ней телесериал «Кика Бибич». Мира возвращалась из приморской Трпани, где у Цвиетина была летняя дача.

Очень быстро мы принялись жаловаться друг другу на трудности жизни артиста. Я объяснил ей, что мне осточертел Сараево и я не уверен, что выдержу глупую политическую блокаду, которой подвергался «Папа в командировке». Со своей стороны. Мира поделилась со мной своим желанием быть хорошей мачехой для дочерей Цвиетина и спросила меня, не могу ли я поспособствовать поступлению юной Майи Миятович в сараевскую Академию драматических искусств. Я ответил, что сделаю все возможное, и она пригласила меня навестить их осенью в Трпани, чтобы лично поведать Цвиетину о своих несчастьях.

* * *

В середине сентября 1983 года мое такси остановилось у виллы Цвиетина Миятовича. Я был удивлен, обнаружив

президента Югославии[47] нежащимся на солнце в купальном костюме и теплых носках. Стареющий президент лежал перед домом — ничто не указывало на то, что это скромное строение предприятия «Кривае» из Завидовичей принадлежало президенту. Он загорал на солнце, но при этом надел толстые вязаные носки из чистой шерсти. Цвиетин заметил, что я смотрю на его ноги.

— Плохая циркуляция крови, мой дорогой Эмир! — объяснил он мне. — Когда-то эти ноги были кошмаром вратарей футбольных команд старой и новой Югославии. А сейчас это даже не ноги, а настоящее бедствие: они моментально превращаются в ледышки, стоит только маленькому облачку скрыть наше адриатическое солнце.

Мы втроем отправились на машине в Дубровник, чтобы поужинать. Там Мира Ступица сыграла решающую роль. Всякий раз, когда она чувствовала, что я захожу слишком далеко, ругая чиновников партии Тито в Боснии, она совершала отвлекающий маневр, с нежностью заговаривая о дочках Цвиетина и подчеркивая мое влияние, которое могло бы стать решающим при поступлении Майи Миятович в Академию драматических искусств в Сараеве. Я уже выпил несколько бокалов вина и, несмотря на несходство наших с Миятовичем политических симпатий, чувствовал, что по мере продвижения вечера начинаю пользоваться у него все большим уважением и он даже готов простить мне мою дерзость. Поэтому я без колебаний взобрался на своего любимого конька:

— Единственная сила, вызывающая трагические события на Балканах, — это политика. И проблемы, которые она ставит героям наших фильмов, театральных пьес или книг, являются единственным достоверным драматическим материалом. Точнее говоря, у нас нет ни одной трагедии, которая не была бы политикой!

— Это твое видение вещей, но не говори, что не бывает трагических мотивов в повседневной жизни!

— Конечно бывает! У французов и бельгийцев!

— А у испанцев? — спросил Цвиетин, обращая разговор в шутку.

— Вы мне не поверите, но они тоже убивают друг друга вовсе не из-за трагедий в повседневной жизни. Не зря самые великие творения испанской жизни пропитаны сильным политическим подтекстом. Взять, к примеру, Гойю! Испанцы долгое время разговаривали друг с другом через оптический прицел ружей. Именно так Андрич объясняет причину, по которой жанр драматической литературы не смог развиться в Сербии.

Чтобы добиться расположения Цвиетина, я без конца

упоминал о возможности своего переезда в Белград. Я расписывал свободные традиции этого города, а также свое глубокое убеждение, что разыграть карту можно только в свободном Белграде.

— Ты хоть представляешь, сколько неприятностей нам доставляет сербский национализм в Белграде? Этот Михиз[48] и ему подобные подрывают наше югославское государство!

— Не знаю, подрывают они его или нет, но образованные националисты — приятные собеседники. С ними можно вести дискуссии по-мужски. Мне надоели все эти отбросы общества, Цвиетин, с которыми ты вынужден опошлять собственную речь, чтобы не выглядеть педантом, если, по несчастью, произносишь иностранное слово. Или же, встретив образованных людей, чувствовать безысходность, поскольку они не могут добиться успеха в затхлой атмосфере, царящей в Сараеве. Белград — большой город, широкое пространство для круговорота финансов и идей, в отличие от Сараева, у которого не было ни своего капитана Коцы[49] первого богача, ни нескольких дюжин ученых, мыслителей и деятелей эпохи Просвещения.

Полагаю, что, слушая меня, Миятович начал обдумывать стратегию, которая помешала бы мне последовать примеру Меши Селимовича[50], одного из бесчисленных перебежчиков, которые променяли Сараево на Белград. Судя по всему, он понял, что обязан сделать все, чтобы «Папа в командировке» снимался в Сараеве, и доказать таким людям, как Михиз, что Сараево способен выпустить фильм на запрещенную тему. Миятович воспринял бы как личную неудачу мой переезд в Белград с неоконченным фильмом.

На обратном пути в Трпань он впервые продемонстрировал некоторую симпатию к моей искренности и дерзости, с которыми я выкладывал свой взгляд на действительность самому президенту Югославии.

— Ты утрируешь, — сказал он мне, — но это неважно: ты молод, у тебя своя голова на плечах. К тому же демократия в том и состоит, чтобы позволять людям иметь разное мнение, не устраивая при этом резню. Но скажи-ка мне, о чем твой новый фильм?

— Это продолжение «Долли Белл», но с возвратом в прошлое: история мальчика, который растет со своей матерью и ее братом, после того как отца арестовывают и отправляют в «Голи-Оток» за историю с флиртом, в которой он не так уж и невиноват. Фильм не повествует непосредственно о «Голи-Оток», как роман Антония Исаковича «Трен-2». Я не интересуюсь лагерем «Голи-Оток» как историческим фактом — с помощью этого фильма я просто хочу

показать, как это событие отражается на юном Малике. Это мелодрама, которая выводит на сцену тех, кто обычно живет на заднем плане. Цвиетин, это будет особенный фильм!

* * *

Фильм «Папа в командировке» был снят через два года после моей встречи с Цвиетином Миятовичем, а затем награжден «Золотой пальмовой ветвью» в Каннах. До этого события дочь Цвиетина, Майя, была принята в нашу Академию, а я обзавелся новым другом.

Милош Форман, президент жюри Каннского фестиваля, был для меня одним из примеров для подражания в кино, человеком, приближение к которому вызывало волнение, стимулирующее мои новые кинематографические поиски. Когда он предложил мне должность преподавателя в Колумбийском университете Нью-Йорка, я согласился без колебаний.

«Папа в командировке» с успехом прошел по всему миру. Кладка паркета в квартире моего друга Младена, в качестве объяснения моего отсутствия на вручении «Золотой пальмовой ветви», была предлогом, позволившим мне избежать комментариев по поводу моих плохих отношений с боснийскими властями. За три дня до окончания фестиваля, когда даже портье роскошного отеля в Канне знали, что победит «Папа…», я вернулся домой, и никто не попытался меня удержать.

Во время премьеры в Сараеве произошло нечто не менее важное, чем эта победа. В тот вечер, когда «Папа в командировке» впервые демонстрировался в Сараеве одновременно в трех кинозалах, я получил настоящую психологическую разрядку благодаря своему семилетнему сыну. Откланявшись перед публикой в кинотеатре «Дубровник», я предстал перед зрителями кинотеатра «Романия», где энтузиазм и эмоции, вызванные фильмом, достигли апогея. Но реакция моего сына Стрибора превзошла эту экзальтацию. Пока я раскланивался перед публикой, которая встретила меня бурными овациями, Стрибор издал душераздирающий крик, выражая таким образом свою боль от разлуки с отцом. Он протянул ко мне руки и разрыдался. Чем громче раздавались аплодисменты, тем больше он вопил и заходился в рыданиях. Когда его привели ко мне на сцену, расположенную перед экраном, я взял его на руки, и Стрибор вцепился в меня так, словно не хотел больше никогда покидать мои объятия.

Сладкие грезы

В 1986 году нам предоставили государственную квартиру на улице Сеноина, одной из самых коротких улиц Сараева, соединяющей улицу Тито с улицей Обала. После каннского триумфа «Папы в командировке» глава сараевской Академии драматических искусств Разия Лагумджия сумела выбить нам жилье через мэрию. Незадолго до этого она заявила в газете «Ослободженье»: «Друзья мои, мы же не позволим «Золотой пальмовой ветви» продолжать жить у своей тещи, это просто нонсенс!»

Перед нашим переездом из этой обшарпанной австро-венгерской квартиры с высокими потолками, но без ванной была изгнана какая-то студентка. Соседка Февза клялась, что она была проституткой. Мы покрасили потолок, сломали стены и поменяли пол, и в это время на горизонте замаячила новая битва: «Пальмовой ветви» полагался телефон! Этот аппарат, уже немало поживший на свете, был передан Сараеву лишь в целях экономии. Потребовался еще год «окопной войны», чтобы мне выделили телефонный номер. В конечном счете, после того как я пожаловался в прессе, что со мной не могут связаться из-за границы, произошли разительные перемены: перед домом номер 14 по улице Сеноина как по волшебству возникли рабочие PTT. Пока они карабкались на столб и протягивали кучу проводов, соседка Февза проявила бдительность:

— Что это вы делаете? Кто вам позволил загромождать двор?

— Мы устанавливаем телефон «Пальмовой ветви», — ответил ей один из них.

Те, кто до сих пор противился этому, в конце концов осознали, что так они получат прекрасную возможность прослушивать мои разговоры. Воплотились в реальность мечты низкорослого крепыша из окошка Управления внутренних дел, который при выдаче моего первого паспорта предложил мне стать информатором *UDBA*.

Когда я пришел на телефонный узел, чтобы подписать договор на предоставление мне телефонного номера, служащий-черногорец, с симпатией относившийся к моей манере свободно выражаться, открыл пухлую книгу, напоминающую школьный журнал, и сказал:

— Я в восторге от твоего интервью в «Нин»: как ты их приложил, этого Микулича и его дочь! Снимаю шляпу! Моя дочка изучает восточные языки, и она сказала мне, что Кустурица переводится с арабского как «очень острое маленькое лезвие,

которое вставляют в рубанок, чтобы обрабатывать стволы деревьев». А я ей ответил: «Это вовсе не маленький Кустурица, дочка, а очень даже большой!» Держи, брат, выбирай себе любой номер, какой понравится!

Я немного оторопел, но эта неожиданная ситуация мне понравилась. Нужно было выбрать шесть цифр для моего номера. Я некоторое время смотрел на бесконечные колонки с цифрами и в итоге закрыл глаза:

— 212–262! — быстро произнес я.

Черногорец подвел итог:

— Продано! Отныне это твой номер телефона, теперь поставь маленький автограф в договоре.

Этот черногорец расхваливал мое смелое публичное заявление, вобравшее в себя все то, что мой отец высказывал, находясь подшофе, бессонными ночами в течение последних двадцати лет.

* * *

После моего триумфа в Венеции Мурат больше не брал с собой в ночные загулы парня того же роста, что и я. Он значительно сократил количество спиртного из-за страха перед инфарктом. Обычно днем он обходил все сараевские кафе, упоминая своего сына по любому поводу, но чаще всего по политическому. Отец гордо спрашивал у своих собеседников:

— Читал в сегодняшнем «Нине», как мой сын их всех вздул?

На самом деле я воплотил в жизнь все его мечты о свободе.

Он был счастлив видеть, что я никому не делаю поблажек. С каждым днем Мурат все больше выглядел как человек, довольный жизнью, осознающий, что он полностью выполнил свой долг. Иногда, с аппетитом поглощая ягненка и запивая его белым вином, разбавленным сельтерской водой, когда во время важной беседы о нашем будущем дискуссия заходила в тупик и никто больше не находил решений, которые могли бы приблизить нас к лучшей жизни, отец небрежно бросал:

— Друзья мои, почитайте интервью Эмира в «Нине»! Там все сказано.

Таким образом он подтверждал мои слова, подразумевая, что за ними стоит он сам. Еще важнее было то, что своим поведением Мурат признавал, что все наши конфликты отцов и детей давно остались в прошлом, а он получил право открыто плевать на всех, включая главу Центрального комитета Боснии и Герцеговины.

Это означало, что он достиг Олимпа своей социальной жизни.

* * *

Уже в ту пору почти вся ответственность главы семьи легла на мои плечи. Мурат прятался от моих друзей, когда напивался в городе, и если в одном из кафе Сараева он встречал Сидрана, то возвращался домой в компании писателя перед самым рассветом. Сидран и мои родители жили в соседних подъездах, и, перед тем как отправиться по своим квартирам, отец говорил ему:

— Не поддавайся искушению! Не говори Эмиру, что мы сегодня пили!

Основной проблемой Мурата была его склонность к полноте. Он садился на диету, которая приводила к скромным результатам. Иногда он принимался ограничивать себя в еде, но стоило мне отправиться в поездки, связанные с показами «Папы в командировке», как он снова расслаблялся и моментально набирал четыре-пять килограммов. Вспомнив о моем скором возвращении, он звонил Майе, к примеру, в пятницу:

— Майя, напомни мне — когда приезжает мучитель?

— В следующий четверг.

— Ого! Значит, с понедельника мне снова придется сесть на диету.

От удовольствий уик-энда он не отказался бы ни за что на свете. Его не останавливал даже страх перед тем, что его снова будет отчитывать мучитель, в данном случае я, за избыточный вес и беспечное отношение к своему больному сердцу, которое в любой момент могло не выдержать.

— Все, сажусь на диету с понедельника по четверг. Ты даже не представляешь, — говорил он Майе, — какое это наслаждение — лакомиться ягненком с белым вином, разбавленным сельтерской водой прямо из сифона!

* * *

Во время знойных летних месяцев мой отец оставался в Сараеве и наслаждался одиночеством, пока Сенка загорала и купалась на Макарской Ривьере. В течение всей второй половины июля и до начала августа совершенно пустой Сараево превращался в красивый город.

Мой отец приобрел новую привычку: приходить к нам после обеда на сиесту. Ему нравились дома австро-венгерской эпохи, поскольку за счет высоких потолков в них не нужны были кондиционеры. Однако он быстро понял недостатки подобных визитов: если он спал как ангел, то просыпался голодным как

волк.

«Значит, сначала надо поесть, а уже потом — на боковую», — решил он, сидя за своим рабочим столом и глядя, как за окном мимо здания Исполнительного совета пробегают по сверкающим рельсам трамваи чешского производства. Он радовался предстоящему дню. Итак, завтра после работы, в предвкушении вкусного обеда, он пройдет по прохладной тени здания Исполнительного совета и через Марьин двор дойдет до Кварнера. Дальше ему придется идти по залитому солнцем парку. Разумеется, там не будет тени от зданий, но можно потерпеть, когда знаешь, что в конце прогулки тебя ждет вознаграждение, — при таком раскладе можно выдержать все, даже палящее сараевское солнце.

* * *

Мурат твердо решил встать завтра утром пораньше, чтобы приготовить себе обед и отнести его в квартиру в доме номер 14 на улице Сеноина. И лишь после этого он отправится на работу. Он заранее потирал руки, предвкушая этот день, когда он сможет совместить два своих любимых занятия: сладкий послеобеденный сон и предшествующее ему небольшое пиршество. Это будет панированный эскалоп, поскольку ему следовало соблюдать диету.

* * *

Мисо Мандич, отец Майи, работал в Судебном департаменте, расположенном в сотне метров от улицы Сеноина. Специализируясь на рассмотрении гражданских дел, он поставил себе целью принимать решение по тридцати делам в месяц. Обычно он рассматривал все дела в течение первой недели, так что у него оставалось много свободного времени. Чаще всего он приходил проведать свою дочь, но также любил побеседовать со мной. Следуя сараевскому выражению, он «оттачивал мой взгляд на историю». С наступлением лета он продолжал приходить в нашу квартиру, несмотря на то что с первых дней июня мы уезжали в Високо, в наш загородный дом. У Мисо была странная привычка: поздоровавшись с соседями, он первым делом направлялся к холодильнику. В большинстве случаев из чистого любопытства. Часто он наполнял наш холодильник лакомствами, которые закупал в боснийских провинциях, куда отправлялся с

инспекционными проверками. Вероятно, это был рефлекс бывшего заключенного «Голи-Оток», испытывавшего страх перед голодом.

* * *

Поднявшись рано утром, Мурат Кустурица принялся скрупулезно выполнять предварительно намеченный план. Он обвалял в сухарях эскалоп, нарезал в миску салат, накрыл обе емкости прозрачной пленкой и отправился в путь на улицу Сеноина. Солнце только начало подниматься, когда он вошел в нашу квартиру и выложил эскалоп с салатом в холодильник. Придя в офис, он констатировал, что ожидается один из тех июльских дней, когда в секретариате Министерства информации Республики Босния и Герцеговина заняться особенно нечем. Большинство его коллег уже отправились в отпуска. Несколько раз Мурат Кустурица с удовольствием думал об ожидавшем его эскалопе и о последующей чудесной сиесте, которая продлится не меньше двух часов в прохладной квартире с высокими австро-венгерскими потолками.

* * *

Мисо Мандич еще не уехал в отпуск. Он тоже остался один в пустом городе. Каждый день он приходил в нашу квартиру, где его дочь перед отъездом на каникулы навела идеальный порядок, естественно, опустошив холодильник. Голодный мужчина никогда не теряет надежды отыскать что-нибудь съестное. Поскольку холодильник упорно был пустым, Мисо не оставалось ничего другого, как после очередной грустной констатации закрыть его и лечь спать, чтобы отдохнуть душой и телом от тягостных гражданских дел.

* * *

Около 14 часов 30 минут Мурат вышел из здания Исполнительного совета и направился к дому номер 14 по улице Сеноина.

«Пора пойти перекусить!» — сказал себе помощник министра информации Республики Босния и Герцеговина, счастливо улыбаясь. Он даже принялся насвистывать свою любимую

мелодию: «Я бродяга… мне трудно усидеть на месте». Словно кот, он замедлил шаг, приближаясь к своей добыче. «Эй, мой маленький эскалоп! Недолго тебе осталось ждать, скоро настанет твой последний час. Я слопаю тебя!» — повторял он про себя.

* * *

Мурат остановился в Градине, купил хлеба и специй для салата. Проделывая это, он учтиво поздоровался с Ризо, известным гомосексуалистом Сараева.

— Как дела, Ризо, есть здесь для тебя молодежь? — спросил его отец, в то время как тот дымил сигаретой; говорят, что сигарету он не выпускал изо рта, даже когда спал: погаснув, она так и оставалась висеть у него в уголке губ.

— Шутишь, Мурат? Если бы кто-нибудь тебя услышал, то, не дай бог, решил бы, что я… — с улыбкой ответил Ризо.

— Да кому в голову придет такое? Все знают, что ты — нормальный.

Мурат взял хлеб и направился к улице Сеноина. Он бодро открыл дверь нашей квартиры, вошел на кухню и подумал: «Как же хорошо, что здесь высокие потолки! Такая прохлада! Молодцы австрийцы, не зря они правили миром и распространили повсюду свою цивилизацию и архитектуру!» Он взял с полки тарелку, поставил ее на стол, разложил приборы и, напевая, направился к холодильнику. Открыл его и… не поверил своим глазам! Не может быть! Как пережить такой шок? Кто-то съел его эскалоп!

— Господи, как несправедлив мир, — сделал вывод Мурат, жуя кусок хлеба.

Он набрал номер в Високо и пожаловался Майе:

— Если бы ты знала, невестушка, как я предвкушал этот момент… И вот я остался с носом. Это ведь он украл мой эскалоп?

Отец подумал о своем сыне, не предполагая, что эскалоп окончил свой путь в желудке Мисо Мандича, который был ему несказанно рад! Судья Мандич был вознагражден за упорство, с которым каждый день открывал холодильник на улице Сеноина. В конце концов он нашел там панированный эскалоп Мурата.

* * *

Старая, несколько обветшалая квартира в доме номер 14 по улице Сеноина как магнитом притягивала разношерстную

сараевскую публику. Она располагалась в удачном месте, поскольку выходила на главную магистраль города — улицу Тито.

— Давай зайдем к Кусту, это недалеко, — говорили мои друзья, жившие в Виснике или в Косеве.

Стоило им оказаться в центре города, они неминуемо проходили по улице Тито. Таким образом, у них складывалось впечатление, что Куста живет рядом.

Кто только не приходил в эту квартиру! Наши родители регулярно посещали ее раз в день, и редко когда кто-нибудь из наших знакомых не оставался у нас на ночь. Этот бесконечный круговорот гостей напоминал мне комнату в доме номер 2 на улице Войводы Степы, где я родился. Тогда тоже к родителям нежданно являлись гости.

— Это не квартира, а проходной двор! — возмущалась Сенка.

История повторялась, но на этот раз речь шла о более спокойной компании, чем эти отчаявшиеся бедолаги пятидесятых годов. До нас добрались мировой прогресс, *«Levi Strauss»*, кока-кола и рок-н-ролл.

* * *

Жизнь между двумя фильмами: «Помнишь ли ты Долли Белл?» и «Папа в командировке» — протекала в ритме «великих надежд». В период, последовавший за смертью Тито, и даже в предыдущие годы рокеры исполняли песни на политические темы. Наиболее яркий след среди них оставили Бора Корба и Азра де Дьёни Стулич. Но больше всего публике нравились выступления под открытым небом рокера Горана Бреговича. Ему удалось перевести тексты песен *«Led Zeppelin»* на простонародный язык. После концерта у фонтана Гайдука, где собралось более ста тысяч фанатов, тетя Весны Байцетич так прокомментировала манеру исполнения Бреговича:

— Если бы его мать была жива, он бы такое не вытворял!

Не успели *«Led Zeppelin»* исчезнуть со сцены, как Брегович уже включил в свой репертуар диски следующей волны. В своем желании дожить до ста лет он даже сочинил песню, в которой выражал свою неприязнь к столетним старожилам.

* * *

Появление группы *«No smoking orchestra»*, певца Элвиса Джи

Куртовича и телевизионной передачи «Сюрреалисты» стало по-настоящему революционным событием. Это популярное искусство позволило наследникам «Травницкой хроники» и «Моста на Дрине»[51] узнавать друг друга в песнях и телевизионных пародиях. Таксисты, мясники, булочники смотрели «Сюрреалистов» и смеялись над пародиями на самих себя в скетчах, созданных по аналогии с британской комедийной группой *«Monty Python»*. Это был не плагиат, а обыгрывание клише, чем успешно занимались ранее Терри Джонс и Гиллиам[52]. Именно это сделал великий немецкий кинорежиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Он увидел в гиганте Голливуда Кирке Дугласе и его грандиозных мелодрамах настоящие стереотипы. На их основе он создал современные кинематографические произведения, прославившие немецкое кино 1980-х годов, и среди них — самый известный фильм «Замужество Марии Браун». Фассбиндер был одним из тех редких режиссеров, кто, используя стереотипы, сумел удержать возле телеэкранов миллионы зрителей, заставив их смотреть настоящее искусство. Это был телесериал «Берлин, Александерплац». В то время телевидение могло создавать настоящие шедевры.

Мы собирались в квартире на улице Сеноина вместе с Нелле Карайличем, смотрели творение Фассбиндера и узнавали в нем приемы, которые сами применяли в фильмах и рок-н-ролле. Восьмидесятые годы стали важными для кино и музыки, поскольку оригинальность художника измерялась дистанцией, которую он соблюдал или не соблюдал по отношению к существующим стереотипам, но также и его уважением к основам мелодраматизма — будь то Еврипид, Шекспир или судьба Бабы Атифа, попавшего под поезд, — уважением, из которого фонтанировала эмоциональная мощь пережитого опыта. Этот опыт требовал присутствия художника, способного его понять и отреагировать по-своему, сообразно своей эпохе. Мы упивались музыкой группы *«The Clash»,* поскольку Джо Страммер был героем, который порой голодал, а когда мы в сотый раз крутили его альбом *«London Calling»*, он отправился в Никарагуа сражаться на стороне сандинистов. Мы бы не смогли так поступить, поэтому он стал нашим идеалом. Панк-движение, даже если оно было стилистическим творением лондонского менеджера Макларена, имело свои хорошие стороны. Оно будило уснувшее чувство справедливости, которое культивировали «дети цветов» — хиппи — до 1968 года, до того как продаться Уолл-стриту.

* * *

Появление Доктора Карайлича[53] вписывалось в логическую последовательность европейского дивертисмента, каким его ввели в наш темный вилайет австро-венгры со своими духовыми оркестрами и капельмейстерами, а также потомственными цирковыми акробатами. Нет необходимости исследовать его корни. Подобно всем творческим личностям, Карайлич прибыл из ниоткуда, с некой летающей трапеции, и любой вопрос о его происхождении меркнул на фоне проявляемого им артистического мужества. Он был лучшим представителем идеи панк-рока. Карайлич носил свитер, который связала ему мать, и презирал притворство. Он применял к футбольным теориям свои собственные философские схемы, что было для него своеобразной гимнастикой ума, которую он переводил на популярный язык. Он читал книги, упорно играл на тотализаторе и делал нереальные ставки на победы ФК «Железникар». Тогда как было очевидно, что его любимый клуб не имел никаких шансов на триумф.

* * *

В 1986 году на концерте группы *«No Smoking Orchestra»* в хорватской Риеке Доктор Карайлич заявил со сцены: «Маршал сдох». Это вызвало всеобщее замешательство. Одни утверждали, что он имел в виду усилитель марки «Маршал», но другие ни на секунду не усомнились, что он говорил о маршале Тито. Такое непочтительное отношение к Тито шокировало большинство наших сограждан. Самым сложным для них было принять мысль о том, что Тито был действительно мертв. Эта провокация Доктора Карайлича осталась в памяти югославов, стремящихся к свободе, как смелая шутка на тему тотемной сущности товарища Тито. Но очень быстро выяснилось, что играть со стереотипами на телевидении и в жизни было не одно и то же.

Когда Карайлич свернул на улицу Сеноина, направляясь к моему дому, чтобы обсудить творческие и политические проблемы, он не знал, что простая прогулка по городу заставит его прочувствовать всю значимость своего политического преступления. В газетах и на телевидении уделили совсем мало внимания инциденту в Риеке, но при этом вынесли дело на улицу, чтобы боснийский народ сам наказал злодея. Доктор Карайлич появился в моей квартире, прерывисто дыша, и показал мне рассеченную бровь над правым глазом. На улице на него напали несколько человек и попытались свалить на землю, обрушив град ударов. Пока они избивали его, один из них бросил:

— Если Тито тебе не нравится, собирай свои вещи и

уматывай в Белград, мать твою так-то!

Их спугнули громкие крики прохожих, прогуливавшихся по улице Тито, и они не смогли уложить Карайлича на асфальт. Вне себя от гнева, я бросился на улицу в одних носках, чтобы проучить подонков, но, разумеется, их уже и след простыл. Нам оставалось лишь строить предположения: действовали ли они по собственной инициативе или же их организовали иностранные спецслужбы, что в Боснии было обычной практикой? Если ты впадал в немилость у политических властей, как правило, следовала ответная реакция «улицы» — на дороге с односторонним движением ты мог вдруг оказаться перед грузовиком, едущим в запрещенном направлении и пытающимся тебя раздавить. Именно это произошло с поэтом Райко Петровым-Ного. А чего еще можно было ожидать от наших сограждан? Когда писатель Меша Селимович стал вызывать подозрение у Бранко Микулича, мало кто осмеливался здороваться с ним на улице. Лишь доктор Лагумджия, глава Академии драматических искусств, продолжала храбро шагать под руку с писателем по улицам Сараева. Даже лучшие друзья Селимовича отворачивались и переходили на другую сторону. А в отеле «Европа» все прятались за развернутыми газетами или хватали свои пальто и скрывались на соседних улицах.

* * *

Стрибор появился на свет, когда я еще тащил за собой груз своего прошлого в Горице — этой бедной, но притягательной атмосфере, где я провел свое детство в поисках ответов на важные экзистенциальные вопросы, которые позднее перевел на язык искусства. Эти трудные времена были увенчаны высокими наградами на международных кинофестивалях. И вот — о чудо! — первые наблюдения Стрибора и его первые фразы затрагивали те же самые вопросы. Отсюда его беспокойство за нашего пса Пикси и страх, что его может съесть «Золотой лев» после победы «Долли Белл» в Венеции.

* * *

Его сестра Дуня появилась на свет под звуки группы *«The Clash»* и в клубах сигаретного дыма в нашей квартире в доме номер 14 по улице Сеноина. В ту пору мы могли до рассвета вести нелепые споры, пытаясь выяснить, какая зажигалка лучше:

«Ронсон» или «Дюпон», учитывая, что первая пользовалась большим спросом на рынке. В другой раз мы дождались рассвета, успешно расшифровывая оперу Уилсона «Эйнштейн на пляже». Это было время, когда наше сознание занимали два основных вопроса: политическая нищета Сараева, последовавшая за крушением титоизма, и надежда на лучшее будущее. Все это подкреплялось мощью музыки *«The Clash»* и эксцентричной и такой же популярной панк-культурой восьмидесятых годов, которые встали преградой на пути зарождающегося монстра канала *MTV* и его «нечистот», начинающих изливаться с маленького экрана, грозя утопить нас в своем музыкальном дерьме.

* * *

Вопрос, отражающий мысли миллионов людей, впервые сформулированный Джо Страммером в песне «*Should I stay or should I go*»[54] разрешился моим отъездом из Сараева в Соединенные Штаты. Это решение не имело под собой никакой политической подоплеки, просто мой родной город больше не соответствовал одежде, которую я любил носить, и перестал котироваться на финансовой шкале моих будущих творческих работ. Я принял приглашение Милоша Формана заменить его в Колумбийском университете и во второй раз в своей жизни — но на этот раз навсегда — покинул Сараево.

Стоял 1988 год, и, пока мы готовились к отъезду из дома номер 14 по улице Сеноина, в окружении печальных лиц наших друзей и родителей, по телевидению передавали прямой репортаж о «йогуртовой революции»: тот самый момент, когда Воеводина потеряла свою автономию и по всей Югославии начала растекаться грязь.

До свидания, любимая страна

Все пути к большому миру при отъезде из Сараева, так же как и все возвращения в родной город, неминуемо проходили через Белград и квартиру тети Бибы. Так же было и на этот раз, когда Дуня, Стрибор и мы с Майей отправлялись в Соединенные Штаты. Дорога в Нью-Йорк вела через дом номер 6 на площади Теразие. Для меня это означало настоящий праздник. Я был счастлив вновь увидеть тетю Бибу, бодрость и прозорливость которой наполнили мой период становления решимостью и силой, похожими на свежий ветер, внезапно оживляющий слабое пламя костра и позволяющий гореть ему с большим задором. Она была наставницей моего отца, но также одним из столпов моего собственного развития. К сожалению, на момент моего отъезда в Нью-Йорк, где я собирался преподавать в Колумбийском университете, взгляд моей тети был уже не таким пронзительным, а сияние, исходившее от нее, где бы она ни находилась, с годами потускнело. Неизбежная грусть, вызываемая старением, у нее усиливалась дополнительным разочарованием: отношения с ее мужем Любомиром Райнвайном достигли крайней степени конфликта. Он подцепил где-то юную художницу, младше его на тридцать лет, некую Гавранкапетанович, и теперь мечтал лишь о том, как бы получить максимум денег от своей совместной жизни с Бибой, чтобы перебраться в Герцег-Нови. Единственным способом раздобыть нужную сумму для этого журналиста, недавно получившего звание профессора, была продажа квартиры на площади Теразие. Моя тетя отказывалась наотрез, ссылаясь на то, что не может жить без культурных мероприятий и учреждений, которые обогащают ее жизнь и находятся, по ее собственному выражению, прямо за дверью.

— Эмир, мой мальчик, стоит мне выйти за порог моего дома, и я уже рядом с рестораном «Дусанов град», где подают лучшие горшочки с мясом во всем Белграде, а через сто метров от меня — Национальный театр и музей. Десять минут пешком — и вот я в парке Калемегдан и в пятнадцати минутах ходьбы от кафе «Коларац», что на улице Кнеза Михайлова.

* * *

Достаточно было одной из сторон воспротивиться продаже, чтобы сделка не состоялась. Позиция Любомира Райнвайна осложнялась еще и тем, что в его интересах было сохранять

спокойствие и не показывать, до какой степени он ненавидит мою тетю. Однако он смотрел на нее так, словно в любой момент был готов наброситься и разорвать на части. Он надеялся, что с нашей помощью и с помощью остальных «разумных» членов семьи ему удастся получить как можно больше денег, чтобы позволить себе достойную жизнь на южном побережье Адриатического моря. Но каждое утро моя тетя, сидя в осаде в принадлежащей ей части квартиры и прислушиваясь к шагам своего бывшего мужа, кричала ему с нескрываемым удовольствием:

— Вы забрали даже аккордеон Славенки, шайка проходимцев! Знаешь, когда ты меня одолеешь, Любомир?! Никогда!

У тебя будет лишь часть квартиры, размером не больше, чем расстояние от кисти до локтя! — добавила она, адресуя ему соответствующий жест.

* * *

В следующем году, когда я вернулся из Нью-Йорка в Белград для получения премии *AVNOJ*[55] самой высокой награды Социалистической Федеративной Республики Югославия, моя тетя выглядела уставшей и измученной. Несмотря на это, и сама Биба, и ее объятия были такими же пылкими. Они стали для меня лишним подтверждением того, что мои успехи были для тетушки как бальзам на раны, полученные ею в последней битве.

Перед тем как отправиться на церемонию, я уступил настойчивой просьбе Любомира Райнвайна и зашел к нему на кухню. Он пытался убедить меня положить конец их совместной жизни, превратившейся в ад, пока не случилась какая-нибудь беда. Каждую секунду моя тетя открывала дверь кухни.

— Он хочет меня выгнать из собственной квартиры, — бросала она. — Это давний замысел семейки Райнвайнов, они уже двадцать пять лет этого добиваются! Эмир, мальчик мой, не верь ничему, что он говорит, это бандит, такой же, как его сестры, немецкие шлюхи!

— Вот видишь, Эмир, как я живу, — комментировал Райнвайн.

Только моя тетя исчезала за приоткрытой дверью, как тут же ее профиль возникал снова, как в фильмах Чарли Чаплина.

— Что это еще за «как я живу»?! Любомир, прошу тебя, не отравляй моего мальчика своими лживыми россказнями! Эмир, дорогой мой, он женился на мне только из-за моего статуса ветерана войны, чтобы сделать карьеру в журналистике! Если бы ты не сошелся со мной, то до сих пор собирал бы сплетни на

рыночной площади для титоградской газеты «Победа» и ноги бы его не было за границей!

Дядя твердил, что следует сохранять здравый смысл, и умолял меня поспособствовать разделу квартиры, чтобы он мог продать свою долю, поскольку, помимо непрекращающихся военных действий, моя тетя грозилась «убить его, пока он спит». На самом деле Биба устала от жизни и уже не раз попадала в больницу. Сначала ее лечили от болезни легких. Позже — от недомоганий, возникших на почве одиночества. Она принимала сильные снотворные, и ее психическое состояние лишь усиливало ее страх перед будущим.

* * *

Биба была невероятно счастлива, когда я сообщил ей, что на церемонии вручения награды она будет сидеть на почетном месте. После очередной стычки с Райнвайном тетя начала тщательно готовиться к вечернему выходу.

— Райнвайн Любомир, этот австрийский бандит и его сестрички, — твердила она как заведенная, накладывая макияж, — хотят выгнать из своей квартиры Бибу Кустурицу, награжденную медалью ветерана войны!

Несмотря на усталость и слабость, моя тетя по-прежнему любила красивые наряды и выходы в свет. Это напоминало ей о былых временах, когда она работала в европейских столицах, организовывала официальные приемы в Берне, Праге и Белграде и у нее в доме бывали Винавер, Вьекослав Африч и такие ученые, как известный биолог Синиша Станкович.

* * *

Холл Федерального исполнительного совета, где должно было состояться торжественное вручение премии *AVNOJ*, был переполнен известными людьми, которые пришли, чтобы добавить блеска церемонии. Среди всего этого бомонда я заметил известную поэтессу Десанку Максимович. Вопреки моим ожиданиям, она по-прежнему смотрела на мужчин глазами женщины, а не пожилой дамы. Я познакомился с другими гостями и в дверях встретился взглядом со Стипе Шуваром[56].

— Какой славный молодой человек, — говорила всем обо мне Десанка. — Настоящий Дионис, просто красавец!

Тетя Биба подошла к поэтессе и с широкой улыбкой

протянула ей руку.

— Я — тетя Эмира, — представилась она.

Десанка повернулась к Бибе и удивленно спросила:

— Какого Эмира?

* * *

В тот вечер я произнес речь, которую написал чуть раньше в доме своей тети, пользуясь редкими минутами затишья между словесными перепалками Бибы и Любомира.

«Когда мне предложили произнести благодарственную речь от имени лауреатов премии *AVNOJ*, я без колебаний согласился, хотя мне известно, что в наше время слова обесцениваются быстрее динара. [Я подумал, что для меня это была прекрасная возможность высказать во всеуслышание свое мнение о стране, гражданином которой я являюсь.]

Я делаю это с еще большим удовольствием, поскольку не принадлежу ни к одной политической партии. Поэтому я могу говорить от имени поколения, принесенного в жертву идеологии Союза коммунистов Югославии и его руководителей, которые в течение долгих лет планомерно, методично и с поразительным усердием разрушали нашу страну. Они в этом отлично преуспели, как показывает статистика. Единственное, чего им не удалось сделать, — это сломить наш дух: как и все, что находилось на нелегальном положении, он остался в глазах моего поколения — и, вероятно, других поколений тоже — единственным ценным даром, сохранившемся в этой жестокой социальной игре.

В те дни, когда в моей стране на глазах целого мира разворачивались великие исторические события, я следил из Нью-Йорка за происходящим, испытывая огромное волнение и замешательство. Я глубоко переживал все эти катастрофы, гораздо болезненнее, чем распад Югославии. Какой смысл получать высочайшую награду страны, представляющей собой всего лишь сборище народов, враждебных друг другу племен, накануне глобальной войны? Страны, система ценностей которой разбилась вдребезги, где власть имущие обманывают свой народ, где полуграждане по сей день прячутся за стенами своих домов из гладкого кирпича, оставаясь, с исковерканным политическим сознанием, за кулисами жизни, страны, задавившей в них любое стремление к политическому анализу?

Как получать награду в стране, которая внезапно оказалась в самом хвосте истории, позади практически всех стран Европы, за исключением Албании и Румынии? В стране, где в результате

массовых движений, спровоцированных политическим возмущением, в югославском социализме возник вид монархо-большевизма?

Почему же я тогда приехал сюда и согласился принять награду *AVNOJ*?

Потому что я отказываюсь жить без веры. Ведь остаться без веры, как написано в Евангелии, равносильно концу существования. Поэтому я оказываю самому себе небольшую услугу, продолжая верить и, несмотря ни на что, надеяться.

Я смею надеяться, что призыв, брошенный с этой сцены, где собрались люди, творчество которых заслужило высочайшую награду страны, будет воспринят должным образом и даст нам новый шанс вписать в наши хроники слова надежды и веры в истину.

Я отношусь к тем, чье сердце вздрогнуло от радости, когда в прошлом году в Жуте Греде черногорский народ, с молчаливого согласия федеральной верхушки, забитый своими вождями, пытавшимися в течение многих лет свести его к уровню жизни, достойному народов Конго, смог наконец отплатить им той же монетой и свергнуть существующую власть.

Мое сердце вздрогнуло от радости, но очень быстро сжалось от тревоги, когда я понял, что ничего не выйдет за пределы этой республики. Возможно, из-за этих самых полуграждан, спрятавшихся в своих кирпичных домах, построенных на деньги, которых они не заработали. Деньги, которыми народные массы делились со своими правителями, а те возводили себе виллы и строили «курорты» для народа с целью обеспечить себе долгое правление.

Разве эти полуграждане не превратились на разобщенном югославском рынке в таких же разобщенных гарантов цивилизации, готовой к социальным и политическим бунтам, которые мы сегодня наблюдаем по всему миру?

Если черногорское восстание, которое вначале было мятежом, носившим социальный и политический характер, осталось на национальном уровне (тогда как мы уже стали свидетелями подобных событий в Чехии, Польше и Германии), возникает вопрос для истории: каким образом и откуда остальные югославские народы, находящиеся в такой же нищете и состоянии глухой взаимной враждебности, черпают силы для своей толерантности, чтобы молча следовать за своими сомнительными вождями, исключив себя из мирового освободительного движения?

Нет никакого сомнения в том, что мир меняется под воздействием напора улицы. События в Праге и Берлине говорят

нам об этом открыто: была свалена не только стена, но и сам тиран, бассейн которого, как доказательство его коррумпированности, показывали по американскому телевидению две недели кряду!

Что произойдет, если не сегодня-завтра сотни наших Хонеккеров[57] — если предположить, что защитники справедливой системы не примутся вопить как раненые звери, а пустят в ход полицию, использующую сталинские или демократические приемы, — начнут сажать в тюрьму тех, кто обкрадывал нас, строя себе виллы?

Или же все эти регионы, оставшиеся в стороне от радикальных перемен, кончат, как персонаж Андрича Алиходье, который встретил новую власть с приколоченным к мосту ухом? Или нужно, чтобы обнищание и уровень цивилизации упали так низко, чтобы эти полуграждане, на коррумпированность которых рассчитывает власть, начали соскребать со стен штукатурку, чтобы не умереть с голоду?

Конечно, мы все хотим войти в Европу. Только для того, чтобы сесть на идущий туда поезд, нельзя брать с собой в попутчики политиков, построивших свою карьеру параллельно с Хонеккером, Чаушеску, Ходжей и Живковым[58]…

Мы не можем идти туда вместе с теми, кто является сегодня главными продолжателями их политики.

Мы не можем идти туда, поскольку в Европу не вступают с нерешенными проблемами.

Я склоняюсь к мнению одного из персонажей Вацлава Гавела[59], утверждающего, что антикоммуниста он ненавидит еще больше, чем коммуниста.

Проблема не в том, что кто-то ненавидит или любит коммунистическую идеологию. А в том, что политическая концепция развивалась на монархической тирании однопартийной системы — провинциальной, замкнутой на себе, подпитываемой в большей степени озлобленностью, чем реальными человеческими нуждами, — и она не прошла испытание временем.

Судя по нынешнему положению вещей, эта концепция и этот менталитет будут выжидать, пока не прольется кровь, чтобы на их месте появилась не идеология, но нечто качественно ей чуждое.

Первобытный человек приложил массу усилий, чтобы выбраться из хаоса, введя порядок, установив классификацию вещей, дав им названия, написав книги, чтобы общаться и понимать себе подобных.

Современный человек нашел средство коммуникации и взаимопонимания в политике, поскольку религиозная книга стала

сборником метафизических понятий, и эту книгу надо было изучать.

Я считаю Союз коммунистов Югославии и его идеологию достаточно спорным средством коммуникации, средоточием югославской смуты, поскольку он нарушил и сделал невозможной связь между людьми на всем югославском пространстве.

Мы получаем награду организации *AVNOJ*, в создании которой участвовал Союз коммунистов, но я считаю, что имею право просить о том, чтобы наша родина была спасена без участия Союза коммунистов Югославии, поскольку весь наш прошлый опыт исключает его из этой игры.

Я начал свой первый полнометражный фильм словами: «Дорогие товарищи, ситуация сложная», вложив гамлетовскую фразу в уста коммунистического идеолога, с хмурым видом сидящего перед бутылкой газированной минералки и управляющего нашим детством, юностью, всей нашей жизнью…

Для этого политика все, что касалось ежедневных потребностей, обычной жизни и духовных чаяний человека, имело меньше значения, чем его собственные великие замыслы и взгляды на вечность.

Из-за этой самой идеологии югославский дух 1940-х годов старался держаться в тени подполья.

Лишь придворные художники, ловкие служители этого режима, умудрялись приукрашивать идеологию по вкусу нашего амбициозного, практически мумифицированного политика, хмурящего брови при виде мелких человеческих проблем.

Я считаю, что все, кто был сегодня награжден, в некоторой степени принадлежат к этому подпольному духу, которому удавалось поддерживать в себе силы и сохранять свою подлинность вопреки всему.

Сделав это, они спасли лицо маленькой страны в глазах всего мира, который теперь нагрянул сюда со всей мощью своей технологии и заставил ее осознать собственную ничтожность. Мы справились, вопреки правящей идеологии. И невзирая на тиранию однопартийной системы, социальный прорыв все же произошел.

А правящая идеология тем временем распахнула двери югославскому катаклизму, продолжая тянуть нас в пропасть.

Если сторонники этого замысла, проиграв по всем статьям, не отступятся, не освободят свои места патриотам — предвестникам гуманизма и перспективным политикам, завтра мы можем спросить себя, какую же награду мы на самом деле получили».

* * *

Пока я читал свою речь, было понятно, что чиновники Федерального исполнительного совета рассчитывали услышать совсем не это.

* * *

После вручения награды, во время вечеринки в Клубе писателей, тетя Биба открыла Майе важную тайну из истории нашей семьи. Она пристально смотрела на меня, пока на другом конце стола я слушал словесный поединок между Момо Капором[60] и Душаном Ковацевичем[61]. Мне очень нравилась оригинальность театральных пьес Душана, а Момо был моим кумиром поп-арта. Момо утверждал, что некоторые члены Сербской академии наук и искусств были абсолютно безнравственны и обманывали своих жен, финансируя любовниц и не «решаясь оформить юридический развод с супругами».

Биба не скрывала своего удовлетворения от того, что ее племянник преуспел в жизни. Она была счастлива, что результаты моей работы обратили всеобщее внимание на фамилию Кустурица и прославили ее. Но больше всего тетю Бибу радовало то, что в определенный период жизни ей удалось спасти нашу семью.

— Поскольку я не смогла сохранить свою собственную, я решила попробовать спасти семью своего брата! — призналась она Майе.

И она рассказала моей жене историю начала 1970-х годов, когда мой отец без памяти влюбился в блондинку из Загреба.

— В ту пору я имела кое-какое влияние и предотвратила семейную катастрофу: я не могла допустить, чтобы мой Эмир рос без отца! Брат влюбился в эту девицу из Загреба. Сенка не знала ее, но без конца находила в чемоданах и вещах Мурата различные вещи, которые эта нахалка подкладывала с единственной целью — разбить семью. Однажды Сенка не выдержала и призналась мне, что в жизни Мурата происходит нечто трагичное! Тогда я приоделась и села на первый же поезд до Сараева. Ворвавшись в их маленькую квартиру, я обнаружила Сенку в угнетенном состоянии, мрачно разглядывающей кухонный линолеум. Эмир гулял где-то в Горице. «Биба, кто спасет его и оградит от дурного пути? Половина его приятелей уже сидит в исправительных учреждениях или в тюрьме. Он любит меня, просто обожает, но ничего не хочет слушать. Господи, помоги!» — плакала она. При этих словах я навела марафет и направилась прямиком в Федеральный секретариат, где постучалась в дверь своего друга с

партизанских времен. Он был большой шишкой в *UDBA* на федеральном уровне. Я с порога ему заявила: «Товарищ, нужна твоя помощь! Мой брат спутался с девицей из Загреба и из-за этой шлюхи хочет бросить жену и сына, чтобы отправиться вместе с новой пассией на дипломатическую службу». Этот друг, хорошо знавший Мурата, пошел проверить, о какой женщине идет речь. Он быстро вернулся и объяснил мне: «Это не простая зверушка, а двойной агент. Она работает на нас, но также на немцев. Против нее мы бессильны, зато можем кое-что сделать, чтобы помочь семье Мурата. Больше не беспокойся об этом, Биба!» План Мурата по использованию своих связей в дипломатическом мире с треском провалился. Он не был назначен консулом в Бонн, а его подружка из Загреба быстро нашла ему замену и выскочила замуж — так наша семья избежала катастрофы.

Биба не стала рассказывать моей матери о своем участии в этой истории.

* * *

По возвращении в квартиру на площади Теразие, не успев повернуть ключ в двери, тетушка снова завела свою шарманку, нападая на Любомира Райнвайна.

— Они забрали даже аккордеон Славенки, эти грязные фрицы! — крикнула она в надежде, что он ее услышит. — Этого я вам никогда не прощу, для вас нет ничего святого!

Явно страдая от того, что бывший муж ей не отвечает, тетя сменила тактику.

— Дети мои, — посоветовала она нам вполголоса, — лучше не ходить ночью по квартире. Кто знает, что может прийти в голову этому немецкому бандиту!

— Тетушка, Райнвайны — австрийцы, а не немцы! — в очередной раз напомнил я, чтобы завершить вечер на спокойной ноте.

— Это одно и то же, мой мальчик. Ты просто их не знаешь!

Мы с Майей поспешили с ней согласиться.

В тот вечер по телевизору мы смотрели в прямом эфире, как в Румынии выносили приговор Чаушеску. Я никогда не питал симпатии к этому человеку — он и его жена скорее вызывали у меня неприязнь. Однако когда «революционеры» поставили обоих к стенке и расстреляли, мы с Майей были потрясены до глубины души.

* * *

Мы спали в гостиной на диване-кровати. Старому матрасу было больше тридцати лет, он служил еще тогда, когда тетя жила со Славко Комарицей в Швейцарии. В моей памяти осталось каждое движение той ночи, не только из-за грустных мыслей о несчастной судьбе моей тети, но также из-за боли, причиняемой мне пружинами матраса.

Мое место в этой истории

В 1992 году умер мой отец. В этом же году с лица земли исчезла Югославия. После отделения Хорватии на первом канале французского телевидения новости начались с фразы: «Югославии больше нет»[62].

Проведя два года в Соединенных Штатах, мы с Майей, Дуней и Стрибором вернулись в Европу, собираясь жить часть времени в Югославии, часть — во Франции. Франция была страной, где в Версале после Первой мировой войны был подписан договор о создании первой республики Югославия. Мы были еще больше потрясены, когда дикторша канала *TF1* сообщила печальную новость голосом, полным воодушевления.

Наши планы жить в скором времени на две страны рухнули. Югославии больше не было, и нам ничего не оставалось, как поселиться во Франции, ставшей соучастницей уничтожения Югославии. Чьих рук это было дело — Ватикана, Германии или, в конце концов. Соединенных Штатов? Это тоже однажды выяснится. Станет известна вся правда. Только все это уже будет неважно.

* * *

В феврале 1992 года, накануне окончательного распада Социалистической Федеративной Республики Югославия, мы с Джонни Деппом находились в Сараеве. Я хотел организовать кинофестиваль на горе Яхорина в стиле белградского «Феста».

— Какой еще фестиваль ты выдумал? Бери ноги в руки и бегом отсюда! — твердила мне моя мать.

Мне казалось, что зима, снег и Джонни Депп были достаточными аргументами для проведения подобного мероприятия. В ледяном кабинете Министерства культуры Республики Босния и Герцеговина мы так долго ждали министра, что Джонни простудился. Когда наконец министр, некий доктор Хасич, появился и вяло пожал нам руки, он бросил на Джонни вопросительный взгляд, наверняка приняв его за одного из моих цыган.

— Твоя Яхорина — не самое лучшее место для фестиваля, езжай лучше в Беласицу. Яхорина — это тебе не морской курорт! — сказал министр, пытаясь сплавить меня в Беласицу, где население было сплошь мусульманским.

Разумеется, никакого фестиваля не получилось. Два месяца

спустя в Боснии разгорелась война, и министр сбежал в Швецию.

* * *

Наша дружба с Джонни Деппом завязалась, когда появилась первая трещина в государственном устройстве Югославии. Начало съемок фильма «Аризонская мечта» совпало с первыми трагическими событиями. Футбольный клуб Белграда «Красная звезда» стал чемпионом Европы, а в это время в сараевской Баскарсии Сеад Сусич, брат легендарного футболиста Сафета Сусича, дрался с лавочниками, не скрывавшими своей ненависти к «Красной звезде» и ко всему, что было с ней связано. «Сукин сын четников!» — злобно шипели ему вслед почтенные торговцы. В этот же период в деревнях на сербских свадьбах появилась привычка рисовать кресты на стенах мечетей по пути шествия в церковь.

В самом начале съемок «Аризонской мечты» я, по своей старой привычке, впал в депрессию. Человек, который помог мне выбраться из этого тягостного состояния, был как раз Джонни. Когда этому супермену с периферии потребовалось переступить черту, он сделал это без колебаний, как цыгане из Горицы моего детства: несмотря на нищенские условия жизни, они никогда не бросали своих в беде.

Только Джонни рисковал гораздо больше, чем «индейцы». Цыганам из моего квартала терять было нечего, тогда как Депп как раз в эту пору становился самой оплачиваемой голливудской звездой.

Чтобы добиться для меня временной передышки, он симулировал внезапный приступ гастроэнтерита, предоставив мне, таким образом, семь дней отдыха. Я убежден, что этот перерыв спас «Аризонскую мечту».

Но на этом мои мучения не закончились. Съемки фильма часто прерывались, и в конечном счете я сбежал. За мной началась настоящая охота, возможно, самая глобальная в истории кино. Страховые компании, продюсеры, психиатры пытались меня отловить, преследуя до самого Сараева и Черногории. Все это время Джонни терпеливо ожидал развязки и отказывался от предложений других киностудий, оценивающихся в миллионы долларов. Его позиция была твердой: «Нужно подождать, пока автор «Времени цыган» преодолеет свой психологический кризис». В итоге фильм был снят и даже получил «Серебряного медведя» за режиссуру на Берлинском кинофестивале. Во Франции и в Италии он прошел с большим успехом.

Впоследствии я с удовольствием наблюдал за взлетом карьеры Джонни. Не каждый день король Голливуда ведет себя как «индеец» из Горицы, а не как янки из Кентукки.

* * *

В Сараеве февраль всегда был самым холодным месяцем года. Настоящий собачий холод. Сараевские морозы, как любила говорить моя мать. Ньето, Труман, Зимици Авдо и Бели, Зоран Билан, Кука, Сладьё, Рака Иевтич, Златан Мулабдич разожгли мангал во дворе кафе «Сеталист». Там был еще и доктор Карайлич, Нелле. Он принес два громкоговорителя и один усилитель, чтобы было лучше слышно глас свободы в борьбе с несправедливостью. Паша присоединился к ним чуть позже, поскольку по воскресеньям он обычно совершал прогулку в компании своей жены Куны. Для этого он просил ее надеть самые узкие брюки, чтобы были лучше видны ее округлости. Вдвоем они прохаживались от Свракина Села до Марьиного двора, где они держали ювелирную лавку. Речь шла не о банальной прогулке по Сараеву, когда пары, обнявшись, слоняются по улицам без определенной цели. В данном случае Куна шла перед Пашей, в то время как он внимательно оглядывался по сторонам, словно пес, готовый к прыжку. Он ждал только одного: чтобы кто-нибудь неудачно пошутил в адрес его жены. Если таковой появлялся, реакция Паши была мгновенной. Он тут же отправлял наглеца в нокаут. Случалось даже, что муж и жена объединялись, чтобы устроить хорошую трепку тому, кто пускал слюни и чрезмерно возбуждался при виде крупного зада в обтягивающих брюках.

* * *

Кафе «Сеталист» было первым, но также и последним портом приписки, в котором пришвартовались мои компаньоны. Теперь они бились о причал под новыми ветрами, во власти неведомых бурь, подталкиваемые волнами и подводными течениями, вызванными расколом Югославии, который начался гораздо раньше, чем это стало заметно. Не окончившие школу, с разбитыми мечтами и распавшимися браками, они были, тем не менее, довольны собой. Некоторые уже лечились от алкоголизма, один умер от героина, у кого-то родились дети, другие давно развелись, и мало кому удалось достигнуть уровня жизни своих родителей — боевых товарищей Тито. Большую часть своего

времени они проводили за столиками кафе «Сеталист», которое теперь у них хотели отобрать.

* * *

На первых же демократических выборах мусульмане, сербы и хорваты разгромили нас в пух и прах, хотя мы наивно полагали, что достаточно быть простыми гражданами на Балканах. Нас победили. Народ Боснии сделал выбор в пользу националистических политических партий. Мы были уверены, что этот путь ведет прямиком к войне. После выборов реформисты Марковича, которых поддерживали мы, дети партизан, были изгнаны, тогда как все именитые граждане — те, кого называли горожанами, — клялись и божились, что проголосовали за него. На самом деле они боялись всего на свете: органов государственной безопасности, а также новых националистических властей, представлявших политическое будущее Боснии и Герцеговины. Лишь один предприниматель-строитель, серб из Пале, выпив лишнего в кафе «Сеталист», был вполне искренним.

— За кого ты голосовал, Вукота? — спросил его я.

— Знаешь, братишка, когда я зашел в кабинку, моя рука потянулась к реформистам Кецмановичу и Сидрану, но мое сердце приказало карандашу пойти в другую сторону, и я отметил Караджича.

* * *

Жизнь при демократии вскрыла новые язвы, тогда как старые еще не зарубцевались.

Национальные противоречия обострились. Напряженность стала привычным настроением всех — тех, кто голосовал, и тех, кто не сделал никакого политического выбора. Так устроены люди. Они привыкают ко всему и скрывают все внутри себя. Сербы не хотели выходить из состава Югославии, а мусульмане, преобладавшие в Боснии и Герцеговине, считали, что государство теперь принадлежит им. К несчастью для сербов, они не хотели быть частью этого нового государства, и хорваты тоже, поскольку видели в нем копию Югославии, от которой как раз и стремились отделиться. Возникла идеальная ситуация для того, чтобы кто-то извне пришел и разрешил все дилеммы. В Хорватии уже свирепствовала война. Большинство людей в Сараеве

предпочитали думать, что их это не коснется: «Нет никакого риска, братишка, что война доберется до нас».

* * *

Я не знал, как обычно войны приходят к домашнему порогу. Но в 1990 году у меня произошла встреча, которая стала прелюдией к грядущей войне.

Как-то раз, когда я делал покупки на рынке, ко мне подошел один мусульманин, Омерович, из верхней части квартала Високо:

— Ты приятель Вампо?

Он говорил об одном пройдохе, державшем кафе в центре Високо, который смахивал на вампира, потому что его лицо было обожжено в результате автомобильной аварии.

— Да.

— Вампо сказал мне, что тебя интересуют кое-какие игрушки из моей коллекции, — продолжил он заговорщицким тоном.

Я посмотрел на него с беспокойством.

— У меня есть «Калашниковы», братишка, готовые взорваться, словно зрелые груши, — шепнул он мне на ухо.

Омерович потащил меня к своему дому, и мы спустились в его погреб, где под брезентом выстроились десятки деревянных ящиков, наполненных автоматами. Этот тип с бандитской физиономией не шутил;

— Придет время, и мы им покажем! Покончим со всеми разом: и с четниками, и с усташами!

— Я попрошу Вампо связаться с тобой, когда соберу нужную сумму, — сказал я, мечтая лишь о том, как бы скорее убраться из этого сырого боснийского погреба.

— Брат, ты из наших. Если хочешь, могу уступить тебе по сто пятьдесят марок за штуку. На рынке ты не найдешь дешевле трехсот. Так что решай…

Я был уже во дворе, когда он нагнал меня у калитки.

— Нигде больше не найдешь товар такого качества, братишка. Только никому ни слова! Неважно, какой ты веры, главное — быть мусульманином. Ха-ха-ха…

— Я приду к Вампо, как только получу гонорар за свой фильм. Мы свяжемся с тобой, и мы обо всем договоримся, — сказал я, поклявшись себе, что ноги моей больше не будет в этом дворе.

Потрясенный, я поспешил вернуться домой.

* * *

В Сараеве единственным местом, где зарницы войны казались менее гнетущими и не такими пугающими, было как раз кафе «Сеталист». По отношению к этим событиям завсегдатаи напоминали двоечника, отталкивающего от себя мысль о предстоящем экзамене. Он ни минуты не сидел над учебником, но во время экзамена намерен смотреть преподавателю прямо в глаза. Он ничего не знает, но надеется, что ему повезет.

* * *

В «Сеталисте» на повестке дня не было ни одного серьезного и глубокого размышления о войне. Пьяницы старшего поколения повторяли:

— Чего вы боитесь? С тех пор как мир стал миром, люди дерутся и трахаются. Я уже не могу ни того, ни другого, но не прочь был бы на это взглянуть… Чисто из любопытства!

— На что взглянуть — на первое или второе?

— Да не все ли равно, большой разницы нет. Ты садишься и смотришь на войну в перерыве между двумя кружками пива, отрезаешь себе несколько ломтиков копченой ветчины и травницкого сыра, и благослови тебя Господь!

* * *

Кафе «Сеталист» принадлежало «Балканам», обанкротившейся ресторанной компании. Акулы из круга богатых торговцев уже считали его своей собственностью. Но мои друзья детства имели на этот счет другое мнение. У них не было денег, чтобы выкупить кафе, но они не собирались расставаться со своим салуном и делали все возможное, чтобы помешать приобрести его оптовому торговцу фруктами и овощами, бывшему полицейскому Делимустафичу.

* * *

В разреженном морозном воздухе мангал еле-еле горел. Вверх поднималась тонкая струйка дыма, весело шкворчали шампуры с мясом. Мои друзья держали в руках плакаты: «НЕ ОТДАДИМ НАШЕ КАФЕ!», «ДОЛОЙ КАПИТАЛИСТОВ!», «УБИРАЙТЕСЬ, ЖУЛИКИ!» Это не оставило Джонни Деппа равнодушным, так же как и камеры сараевского телевидения.

— What a proud people! — сказал мне Джонни, артист с чувствительной душой. — They fight for their bar. I have never seen it my life[63], — добавил он.

На самом деле мы были похожи на пленников драмы Чехова, у которых малейшая вероятность перемен вызывает страх и паралич. И этот страх удерживает их в состоянии, похожем на дурной сон, не давая сделать первый шаг навстречу другой жизни, чтобы проснуться в совершенно новой эпохе и, возможно, даже в преображенном пространстве.

* * *

Этой акции протеста, со всех сторон исключительной, предшествовал визит в кафе «Сеталист» мэра Сараева, господина Мухамеда Кресевляковича. Встреча была организована политическим деятелем, защитником прав человека, дипломатом Срдяном Диздаревичем. Диалог открыл старейший из посетителей кафе, господин Йоза Франьцевич, который не стал ходить вокруг да около:

— Господин мэр, поймите меня правильно, я не пьяница, а обычный завсегдатай кафе, поэтому заявляю со всей ответственностью, что клиенты «Сеталиста» никогда не откажутся от своих прав на кафе!

Мэр, не совсем понимавший, о каких правах говорит Франьцевич, а потому опасавшийся этого дела, как и многих других трудноразрешимых дел Сараева, не предпринимал никаких усилий, чтобы разобраться в ситуации. Очевидно, еще нигде посетители не отстаивали своих прав на кафе подобным образом.

Изображая из себя гостеприимного хозяина, мэр предложил мятежникам «Сеталиста»:

— Может быть, по стаканчику, господа?

На что Йоза Франьцевич тут же ответил:

— Лучше сразу по два, чтобы вашему секретарю лишний раз не бегать.

* * *

Общение с прохожими было характерной чертой моих приятелей из кафе. Женщин с красивыми фигурами обычно приветствовали аплодисментами.

— Не хочет ли наша соседка немного посидеть в кафе и

выпить соку или, быть может, легкого аперитива, ликера, к примеру? — спрашивали те, что постарше.

Стимулируемые присутствием высокого гостя, они принялись состязаться в остроумии. Когда мимо ехал мотоциклист, укутанный в шарф, один из наших «чревовещателей» — думаю, это был Кука — вначале изобразил скрип тормозов, затем крикнул: «Эй, дружище!» Обернувшись, несчастный мотоциклист повернул руль и улетел в кустарник, в то время как его мотоцикл врезался в ствол дерева. Это происшествие вызвало взрыв безудержного смеха и шуток. Стоя с шампуром в руке, Джонни Депп тоже веселился от души, пока Зоран Билан, гигант во всех смыслах слова, наполнил его бокал ракией и произносил тост:

— Давай, американос, двигайся ближе! Выпьем с тобой по одной!

* * *

Я дал Джонни Деппу свою куртку, поскольку он совсем замерз. После барбекю в «Сеталисте» я повез его обедать в квартиру на улице Каты Говорусич. Мурат угостил нас своим коронным боснийским блюдом из мяса и овощей и на протяжении всей трапезы беседовал с Джонни на английском языке. Это стало настоящим облегчением для нашего именитого гостя, поскольку все предыдущие часы он провел, словно актер немого кино. По своей старой привычке я не стал предлагать ему отдохнуть после обеда в квартире моих родителей. Я хотел, чтобы он поехал со мной на встречу с укладчиком паркета в нашей новой квартире в доме номер один по улице Петара Прерадовича. Скажете, неприлично приглашать такого гостя в квартиру, находящуюся в стадии ремонта? Несомненно, но я всегда испытывал потребность делить приятные моменты жизни с людьми, которых люблю. Никто, даже моя мать, не могли мне в этом помешать. Позже я заметил, что мои дети, Дуня и Стрибор, увидев в фильме интересную сцену, не могли устоять перед желанием поделиться ею со своими близкими.

— Зачем ты мучаешь Джонни? — спросила меня Сенка во время обеда. — Дай ему хоть немного поспать, он должен как следует отдохнуть.

С недоуменным видом Джонни смотрел на китайский ковер, накрытый прозрачной пленкой под столом в гостиной. Он бросил на меня вопросительный взгляд.

— Так моя мать борется с быстрым и неумолимым разрушением дорогих ее сердцу вещей, — со смехом объяснил я

ему.

— Вау! — прокомментировал Джонни.

* * *

Итак, мы отправились на мою новую квартиру. Согревая дыханием замерзшие руки, Джонни осматривал просторные комнаты и повторял «Great man, really great!», в то время как я обговаривал с мастером последние детали по кладке паркета. Достигнув консенсуса, я проводил мастера до двери и остановился, чтобы насладиться приятным мне зрелищем.

Для меня самое счастливое воспоминание о переездах — а их было немало в моей жизни — это беспорядок, создаваемый разбросанными по всему пространству вещами. Приоткрытые коробки, сумки и шкафы, предметы, готовые высунуть свой нос и взглянуть человеку прямо в глаза. И тогда создается впечатление, что видишь их в первый раз. То же самое с фотографиями, сложенными в коробки из-под обуви: чем длиннее жизнь, тем больше их становится… Берешь одну, затем другую, и вот они уже выскальзывают из рук и разлетаются во все стороны. Они норовят удрать вслед за событиями, покидающими вас и исчезающими в лабиринтах забвения.

* * *

Встреча с желанным беспорядком очень волнует, и все бы шло хорошо, если бы человек не был проклят. Даже когда он принимает решение убрать с глаз долой те или иные предметы, они, под воздействием неведомой силы, опять возвращаются к нему. Эти нежеланные вещи вновь попадаются ему на глаза, словно движутся по своей собственной орбите. И тогда начинаешь жалеть, что не выбросил их вовремя. Так из небытия возник журнал *«VOX»*, где на обложке была изображена карикатура на Иво Андрича, посаженного на перьевую ручку, словно на кол. Джонни склонился над картинкой.

— It looks like commercial add for horror movie?[64] — спросил он.

Я ничего не ответил, но вспомнил, что, увидев эту обложку, воспринял ее как подтверждение шутки нашей соседки Велинки. Это был не скетч: наша соседка, обладательница внушительного зада, шлепнулась на него и, чтобы отвлечь всеобщее внимание от этого досадного события, бросила следующую фразу: «Стоит

убрать одну ножку у трехногого боснийского табурета, как все летит к чертям!»

Гротескная карикатура представляла собой массированный удар по боснийскому строению и подрыв его фундамента.

— This guy is our Nobel price writer[65], — объяснил я.

Джонни не понимал, почему кто-то захотел нанизать нобелевского лауреата на перьевую ручку.

— Why they treated him like this?[66] — спросил он.

На первый взгляд мне было сложно навести порядок в своих разрозненных мыслях, отражавших состояние моей квартиры, но на самом деле в этом хаосе я чувствовал себя прекрасно. Когда мысли теснятся в различных ящиках моего мозга, мне гораздо проще ими управлять. Мне не составило труда объяснить Джонни, кто был нашим нобелевским лауреатом и почему он оказался нанизанным на перьевую ручку.

— Этот рисунок намекает на жестокую расправу с героем книги «Мост на Дрине» Радиславом, которого посадили на кол. По ночам он ломал то, что строители возводили за день. Поскольку строительство моста не продвигалось, Радислава поймали и наказали таким ужасным способом. Действие происходит в эпоху господства на Балканах Оттоманской империи. Строительство моста финансировалось Мехмедом Пашой Соколовичем, сербом, обращенным в ислам турками и ставшим почетным, богатым гражданином и военачальником. Мост был его данью народу. Описание казни Радислава относится к самым страшным натуралистичным страницам нашей литературы. Андрич — мой кумир. Хорват по рождению, но серб по призванию. Он перешел на сторону того народа Балкан, у которого было меньше всего шансов на победу. Этот писатель столь же гениален, как Томас Манн. Когда маленький народ имеет среди своих граждан творческую личность такого масштаба, это означает, что в некоторых областях он чувствует себя на равных со своими крупными европейскими собратьями. Биография этого выдающегося писателя очень насыщена, он даже был членом «Молодой Боснии» — организации, спланировавшей покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве. Андрич не принимал прямого участия в этом деле. Он получил в Вене докторскую степень, чем заслужил ненависть боснийских мусульман. В своей диссертации он, в частности, написал, что духовность во время турецкого господства в Боснии была жива лишь в православных монастырях.

* * *

Андрич был послом Королевства Югославии. Тито не любил его, но ничего против него не предпринимал, оставив писателя на своем месте в литературе. Ни один человек не знал лучше, чем Андрич, своих земляков, он достиг высшей степени проницательности в разоблачении человека с Балкан. Он был единственным, кто понял всю сложность этой трагической триады — ислама, католицизма и православия, симпатии которых, как он писал, были такими далекими, а ненависть невероятно близкой. Мусульмане устремляли свой взор к Истамбулу, сербы — к Москве, а хорваты — к Ватикану. Именно там были их симпатии. А здесь оставалась их ненависть. Одним словом, гений.

— And this magazine, form where it come?[67] — настаивал Джонни.

— Это результат демократии. Они потратили уйму времени на то, чтобы выявить всех, кто по своей фамилии или имени принадлежит к мусульманской «национальности»[68]. Они уверяли, что просто собирают вместе заблудших овец. При этом они не уставали оскорблять Абдулу Сидрана, автора сценариев двух моих первых фильмов. Насаживание Андрича на перьевую ручку было способом предупредить Сидрана, что его ждет такая же участь, «если он продолжит есть свинину». Мною они тоже интересовались. Сидрана в итоге заставили замолчать, но со мной этот номер не прошел из-за атавистической «любезности» моего характера, а также потому, что я переехал в другую страну. Еще задолго до выборов *«VOX»* публиковал статьи, в которых говорилось, что сербы будут жить в мусульманской стране в качестве второстепенных граждан. «Остроумие» этих молодых людей вызывало широкую улыбку на лице президента Боснии и Герцеговины Алии Изетбеговича.

— You cannot call it funny![69]

— Мне тоже кажется, что вряд ли можно назвать остроумным того, кто считает человека другой религии или национальности второстепенным гражданином в едва сформированном государстве.

— It’s scary, man![70]

— Президент Изетбегович охотно позировал перед фотокамерами с журналом *«VOX»* в руках, демонстрируя Андрича, насаженного на перьевую ручку. «У этих молодых людей довольно симпатичный юмор!» — говорил он. А я задавался вопросом, как бы восприняли этот симпатичный юмор капитаны, полковники и генералы *JNA*. Ведь даже если такой мелкий торговец оружием, как Омерович, продавал столько «Калашниковых», нашептывая им, словно детям, нежные слова, можно представить, какие слова шепчут сербские солдаты своим

пушкам, танкам и бомбам. Или, что еще хуже, какие нежности они шепчут оружию, которое держат в руках. А уж чего-чего, а оружия здесь в избытке. Югославия не зря занимает четвертое место в мире по производству оружия.

— I didn't know you have such big production of weapons![71]

— Me neither. I was just told this few weeks ago![72]

Я сварил кофе, окидывая взглядом вещи, разбросанные вокруг нас. Внезапно скупое зимнее солнце озарило гостиную своими лучами. Джонни разглядывал сотни фотографий, которые время от времени выскальзывали из его рук. Он собирал их, смотрел на них вновь, иногда спрашивая меня, кто изображен на том или ином снимке. Солнечный свет и присутствие Джонни усиливали ощущение пространства и уюта в квартире.

Наибольшее очарование этому месту придавал вид из окон, простирающийся с юга на восток. На юге гора Требевич возвышалась над рекой Миляцка, тогда как с другой стороны открывалось большое пространство парка, за которым виднелась православная церковь, а слева от нее — католический собор. Башни-минарета мечети видно не было, но слышно ее муэдзина было хорошо. Перед домом располагалась единственная площадь, которая сделала Сараево похожим на европейские города эпохи Возрождения. После моего возвращения из Соединенных Штатов именно этот шарм пробудил во мне невыразимое желание вновь поселиться в моем родном городе. Несмотря на мнение друзей, считавших безответственным мое решение поменять Соединенные Штаты на страну, в которой, по утверждению ЦРУ, должна была вот-вот вспыхнуть война. Возможно оттого, что жизнь коротка, человек старается не думать о войне во имя сиюминутных, более возвышенных чувств. Иначе вся планета переселилась бы в Соединенные Штаты, поскольку там не бывает войн. Или все вокруг превратились бы в американцев, чтобы избежать войны. Но, боюсь, далеко не всем подошел бы их образ жизни. В людях все же живет тяга к приключениям.

— Если честно, для меня лучше прятаться от гранат, чем умирать от тоски в Мамаронеке, — сказала мне Майя.

Тихой жизни в округе Вечестер штата Нью-Йорк она предпочла возвращение на беспокойную родину. Я разделял ее мнение, что американское одиночество — очень хорошо описанное в новеллах Карвера[73] — представляет собой еще более рискованное психологическое приключение, чем жизнь, предполагающая полную его противоположность, включая риск быть убитым в собственной квартире.

* * *

Я смотрел, как за окном дефилировали персонажи романов Андрича. Единственным отличием было то, что речь больше не шла о трогательной теме жизни сообща и на кону давно не стояла дружба. Не осталось и следа от остроумия и тепла «Сеталиста», согревавшего когда-то целые кварталы Сараева. Прямо под моим окном важно расхаживала боснийская интеллектуальная элита, поскольку неподалеку располагался издательский дом «Светлост». Я называл этих людей *тутумраци*[74] у каждого из трех народов были свои собственные тутумраци, которые изо всех сил стремились опровергнуть слова Андрича о том, что симпатии представителей трех местных вероисповеданий были очень далеки, а ненависть клокотала прямо у них под носом. Эти люди оказались на перепутье между прошлым, откуда они пришли, и новыми временами, навязавшими им не только демократию, но и национальную принадлежность. В только что родившейся национальной демократии им следовало найти спасительное решение, которое помогло бы избежать войны.

В Сараеве поэтам, критикам, главным редакторам, академикам, телевизионным дикторшам, певцам, композиторам никогда не удавалось иметь более сильное и решающее влияние, чем простым торговцам фруктами и овощами, ходжам, попам и мясникам. Самые именитые ассоциации и академии не могли состязаться с мощью религиозных обрядов в мечетях и церквах, где с успехом правили ходжи и попы.

* * *

Я наблюдал, как тутумраци прогуливались вокруг бронзовых бюстов в парке возле улицы Петара Прерадовича. Они курили, садились на скамейки, с сомнением глядя на Андрича, Селимовича, Куленовича, Копича, и спрашивали себя: «Где мое место в этой истории?»

Они представляли свой собственный бюст, который, в соответствии с ценностями неотвратимо надвигающейся новой эпохи, станет достойной заменой «набившим оскомину» великим именам. Впрочем, большую часть задачи они уже выполнили. В течение долгих лет они работали над своим персональным монументом. Они уже вырыли фундамент для своей тумбы, и теперь оставалось лишь залить туда бетон. Опалубка была выполнена за счет Югославии Тито, ныне разлетевшейся вдребезги, а бетон оплатили националисты. Еще немного везения — и кто-нибудь закажет для них бронзовые бюсты, чтобы, став знаменитыми, они взирали на сараевцев своими холодными

глазами.

* * *

Превращение произошло, когда им удалось пристроиться на службу новой системе путем создания комиссий, редакционных комитетов и прочих «социальных» причуд. Единственное, чего им недоставало, так это творчества. Являясь в большинстве своем бездарными писаками, они использовали эти смутные времена как шанс получить некий статус и напитать свои тщедушные и уязвимые души успехом, добытым любой ценой. Даже ценой войны. Изображать из себя жертв или быть преступниками — для них годилась любая роль. Главное — действовать по протоколу, который соответствовал бы «справедливости и просветительским замыслам». В этом их «величие души» сыграло решающую роль: они дошли до того, что назвали Андрича слабым человеком! (Да простит он мне эту цитату!) Между делом, в порыве невероятной щедрости, они соблаговолили присвоить ему статус великого художника. Потому что в процессе разрушения ценностей в военное время художник вызывает меньшее уважение у улицы, чем храбрый человек. Наилучшим путем для достижения их цели стала «дьяволизация» великого писателя. Чтобы затем спокойно заявить: «Если внимательнее приглядеться, в его творчестве нет ничего особенного». Не имея реального стремления к литературе, не достигнув высот в личной жизни, эти виновники беспорядков, дилемм, трагедий и переворотов запутались в сетях собственной аморальности, которую они назвали — только им известно каким образом — «нравственностью». Лишь крысы Сараева радовались выходу их произведений, поскольку знали, что никто никогда не станет читать эти толстенные тома и они быстро окажутся в подвалах издательств. Эти люди, доставляющие радость лишь грызунам, выливали на нобелевского лауреата потоки грязи. И на этот раз все снова сводилось к вопросу воришки Керы: «Где мое место в этой истории?» Когда речь шла о тутумраци, ответ был прост: «Нигде!» Порочный нарциссизм этих людей блокировал любую их реакцию на общественную жизнь. Их деятельность в самом сердце общества убивала в зародыше любую надежду и веру в будущее.

* * *

Когда мы с Джонни уже собирались покинуть квартиру на

улице Петара Прерадовича, я заметил в коробке сваленное в беспорядке полное собрание сочинений Иво Андрича. Я надеялся найти там «Травницкую хронику» и «Мост на Дрине», чтобы подарить их Джонни. Но наткнулся на английский перевод одной из его новелл «Барышня».

— This is not the best what he has done, but anyway…[75]

И я предложил прочесть ему отрывок, который мой кумир в литературе и философии написал о простых людях, живших в Сараеве до начала Первой мировой войны.

— I am afraid this could happened again[76], — сказал я Джонни, прежде чем начать читать.

* * *

«Нужны вот такие дни, чтоб увидеть, кем населен город, рассыпанный, словно горсть зерна, по крутым скатам окрестных гор и в долине около реки. Нужно случиться событию, подобному вчерашнему или хотя бы и менее значительному, чтоб обнажилось все, что скрыто в людях, которые обычно работают, бездельничают или нищенствуют на крутых и кривых улочках, напоминающих водомоины. Как во всяком восточном городе, в Сараеве была своя нищенствующая голытьба, то есть тот сброд, который, по видимости акклиматизировавшись, десятки лет живет тихо и обособленно, но который при определенных обстоятельствах, согласно законам некоей неведомой общественной химии, внезапно объединяется и вспыхивает, как затаившийся вулкан, изрыгая пламя и грязную лаву самых низменных страстей и нездоровых желаний. Этот люмпен-пролетариат и голодные городские низы составляют люди, которых отличают друг от друга верования, привычки и одежда, но объединяют врожденная вероломная жестокость, дикие и низменные инстинкты. Приверженцы трех главных религий, они с рождения и до самой смерти живут в постоянной взаимной вражде, вражде безрассудной и глубокой, перенося свою ненависть и в загробный мир, который видится им в блеске собственной победы и славы и постыдного поражения соседей-иноверцев. Они рождаются, растут и умирают с этой ненавистью, с этим чисто физическим отвращением к людям другой веры; но часто жизнь проходит, а им так и не представляется случая излить свою ненависть во всей ее ужасающей силе. Однако стоит какому-нибудь крупному событию поколебать установленный порядок вещей и на несколько часов или несколько дней прекратить действие закона и разума, как этот сброд, вернее,

часть его, найдя наконец подходящий повод, заполняет город, известный своей утонченной вежливостью и сладкоречием. Долго сдерживаемая ненависть и затаенное стремление к насилию и разрушению, которые до сих пор владели только чувствами и мыслями, выбиваются на поверхность и, словно огонь, долго тлевший и наконец получивший пищу, завладевают улицами, плюют, измываются, крушат до тех пор, пока их не сломит более мощная сила или пока они не перегорят и не ослабеют от собственного бешенства. Затем они снова уползают, поджав хвосты, как шакалы, в души, дома и улицы, где, притаившись, снова годами живут, прорываясь лишь во взглядах, брани и непристойных жестах»[77].

* * *

— Amazing. If this represents the worse, what could be the best? [78]

— This, — сказал я, показывая ему не переведенные издания: «Травницкая хроника», «Мост на Дрине» и «Проклятый двор», и добавил, показывая на книгу «Знаки вдоль дороги»: — But this, if there is another world up there, I would send them this to study. This is the best example of painful history of human kind[79].

Когда мы вышли на улицу в сараевские сумерки, в час, когда загрязненный воздух наполняет ноздри, фразы Андрича все еще эхом отзывались во мне. Внезапно я вздрогнул при мысли, что сила этой толпы, ее разрушительная мощь однажды затопит Боснию. Когда я читал Джонни отрывок из «Барышни», я не ждал с его стороны полнейшего понимания. Не знаю почему. Возможно, по причине этой провинциальной, глубоко укоренившейся в нас убежденности, что иностранцам не дано понять наших проблем. Между тем иностранцы — как это было в случае с Джонни — прекрасно понимают, что имел в виду гениальный писатель. Вопрос лишь в том, есть ли мы у них в сегодняшнем меню и хотят ли они нас понять.

* * *

В «Барышне» Андрич описал руку, которая после его смерти поспешит снести его статую. Через некоторое время после выхода мерзкой карикатуры на обложке журнала *«VOX»* память нобелевского лауреата была осквернена в городе Вишеград. Там между мостом и городским лицеем был опрокинут воздвигнутый ему памятник. Это было дело рук некого Мурата Сабановича,

человека, прямиком вышедшего из черни, описанной в «Барышне», и регулярно появлявшегося под разными личинами в крупных боснийских волнениях.

И вот я в свою очередь задался вопросом мелкого воришки: «Где мое место в этой истории?» Они разрушили памятник покойного Андрича, а что они сделают со мной, живым, если я не примкну к замыслам и идеям мусульманских тутумраци? Что бы ни случилось, я никогда не отрекусь от копченой далматской ветчины, высушенной на ветрах Краины[80]. Ни за что на свете я не позволю себе забыть, что получил жизненно необходимые порции жирных кислот, поедая куски хлеба с салом, посыпанным красным перцем. Андрич в своем произведении предвидел почти все реакции своих персонажей. Размышляя о том, чего он не мог предвидеть, я задавал себе вопрос: стала бы земля более приятным местом для жизни, если бы этот Сабанович прочел «Мост на Дрине», и принял бы он после чтения самостоятельное решение снести бюст Андрича? Возможно, придя в ярость от содержимого книги или стиля нобелевского лауреата, он отправился бы крушить памятник, чтобы выразить свое личное несогласие с автором. Хотя нет, вряд ли. Если бы он посвятил несколько дней своей жизни чтению этого романа, то, в случае успеха этого мероприятия, мог бы только отполировать до блеска бюст великого писателя.

Поскольку он никогда и ничего не читал из творчества Андрича, я сомневаюсь, что он смог бы вынести такие воспитательные меры. Принудительная терапия, заставляющая прочесть полное собрание сочинений Андрича! Что стало бы с этим невежей? Возможно, после первых же страниц с ним случился бы нервный припадок, вследствие непомерного умственного напряжения, и он сломался бы, словно мост из плохого бетона под слишком тяжелым грузом. Второй день чтения приблизил бы Сабановича к роковой развязке. «Убейте меня или дайте покончить с собой! Я больше не могу терпеть эту пытку!» — взмолился бы он в надежде обрести покой. Но я был бы непреклонен и ни за что бы не отменил терапию пациенту; я бы потребовал, чтобы он прочел все произведения Андрича от корки до корки.

* * *

Во многих жилищах Сараева, как в нашей квартире в доме номер 9 А на улице Каты Говорусич, общение играло важную роль в социальной жизни Боснии. Партизаны и именитые граждане

Сараева приходили к нам и наполняли дом своим остроумием и оригинальностью. Их ирония позволила им пережить эпоху Тито. Эту иронию я усовершенствовал в Праге и привез обратно в Сараево. Используя диалоги Сидрана, разрывающие тишину словно громкоговорители, я стал основателем сараевской мифологии. В этой мифологии не было тех, кто подтолкнул человека, не читавшего «Мост на Дрине», к разрушению бюста нобелевского лауреата. Наверняка вокруг Изетбеговича вился целый рой тутумраци, ожидавших своего часа.

Подобно Нелле, мы с Сидраном переосмысливали драмы наших отцов и переводили на свой язык, создавая из них песни, романы, фильмы.

Раньше, когда меня наказывали за прогулы в школе, я был вынужден слушать, как взрослые обмениваются друг с другом шутками в нашей гостиной. И я на секунду представил себе, на что могут быть похожи сегодняшние интеллектуальные круги, где обсуждался план разрушения памятника, воздвигнутого в честь одного из столпов европейской литературы.

* * *

Кресевляковичи приезжают в загородный дом к Изетбеговичам. Выпив освежающих безалкогольных напитков, сыновья мэра принимаются сыпать шутками. Алия Изетбегович говорит их отцу:

— Право же, Мухамед, твои сыновья, Сенад и Сеад, стали совсем взрослыми!

— Не говори мне об этом, не сыпь мне соль на рану!

— Почему же, что тебе не нравится? У тебя хорошие ребята. Посмотри на них — чистые ангелы. Эй, малыш, скажи мне, как твои успехи в учебе?

Кресевляковичи-младшие тушуются перед авторитетом дядюшки Алии. Их отец отвечает за них:

— Конечно, они очень милые, но это настоящие черти, прости меня Господи, они просто не могут усидеть на месте! Стоит им только начать шутить, и они уже не могут остановиться. Что ты сказал сыну сербского соседа Ковацевича, когда поссорился с ним?

— Дай бог, чтобы твоя мать узнала тебя в гамбургере! — сказал первый Кресевлякович.

— По цвету твоих глаз, — добавил второй.

— Ну вот, видишь? Если какой-то Ненад Янкович[81] может смешить целую Югославию, почему бы твоим ребятам не

повеселить нашу Боснию? — воскликнул дядя Алия.

— Ты что, правда видишь их на телевидении?

— Ну, может, и не на телевидении, но ведь есть и другие средства массовой информации. Пусть заканчивают учебу и продолжают шутить. Я больше не хочу, чтобы всякие Янковичи пародировали боснийских мусульман и отпускали шуточки в наш адрес!

* * *

Кресевляковича не пришлось долго уговаривать, чтобы он подтолкнул своих детей к действиям. «Это станет настоящим хитом!» — должно быть, подумал президент Изетбегович, совсем как Макларен, когда услышал первую песню *«Sex Pistols»*. Юные Кресевляковичи отыскали Зорни и послушались дядюшку Алию. Они основали журнал *«VOX»*, на страницы которого выплеснули потоки грязи и жестокости, день за днем разрушающей общественную жизнь Боснии. Они полагали, что своей вульгарностью и сарказмами затмили Доктора Карайлича, короля сараевского юмора. Они стремились заменить новым видом юмора остроумные реплики Нелле, направленные против стереотипов, и его смелые сценические выходки, достойные номеров воздушных гимнастов. Эстетика, выработанная в рядах интеллигенции тутумраци, предвещала бурю, даже если она не использовала тяжелую артиллерию средств массовой информации. Поскольку тутумраци еще не наложили лапу на телевидение и ежедневные газеты.

* * *

Я очень хотел, чтобы Джонни увидел скрытую красоту жизни Сараева. Поэтому повел его к своему другу Младену Материчу.

Когда Младен Материч поставил пластинку Лу Рида на граммофон *«Dual»*, Джонни смог прочесть в моих глазах восхищение и радость, которые он вряд ли связал с Лу Ридом. Для него слушать *«Take a walk on the wild side»* было вполне обычным делом.

— Did you see it?[82] — без конца повторял я.

— What do you mean?[83] — не понимал Джонни.

— My friends, they like Lou Reed[84].

«Что в этом удивительного?» — должно быть, подумал Депп, после чего просто сказал:

— Да, они молодцы.

Он не мог понять, что такие мгновения, проведенные в доме Младена, были связаны для меня с самым красивым образом Сараева. Это столь горячо желаемое слияние Запада и Востока, это пленительное смешение, объединяющее две части света, стирающее границы между духом Возрождения и меланхолической духовностью Востока. Дух баллады, присутствующий в песнях Займа Имамовича, озарил театральные пьесы Младена и мои фильмы, а также наши мысли. Когда-то чрезмерное увлечение турецким кофе представляло для Младена реальную опасность: он рисковал встретить свое семидесятилетие в характерной восточной позе, сидя на софе в курильне «У Авдо». С косяком, который скручивал Младен, Сараево превращался в настоящее чудо. Даже улица Скерлич становилась сносной. Крутая, темная, втиснутая в узкое пространство между невысокими жилыми домами, она прославилась своей повышенной опасностью в зимнее время из-за льда, сковывающего асфальт, как только выпадал первый снег, и связанными с этим постоянными авариями. Как говорил Андрич, здесь улицами служат бывшие овраги.

Этой ночью мы как следует налегли на травку, как это делали когда-то партизаны, перед тем как пойти в наступление на гитлеровские войска. Было очевидно, что Джонни имел богатый опыт курильщика. Перед моим взором представали автомобили, скользящие по заледеневшей улице. Я словно монтировал фильм, перематывая пленку назад несчетное количество раз и просматривая аварии с самого начала. Чем больше нас окутывала дымка марихуаны, тем быстрее рассеивалась тяжелая атмосфера нашего города. Помойки, выстроившиеся под окнами квартиры Младена, испускали аромат гниющих отбросов. Несмотря на неприятный запах, это зрелище необъяснимым образом успокаивало меня. В нашем тумане вырисовывались киты, дельфины и прочие странные видения, порождаемые марихуаной. И тогда Младен начал рассказывать историю о целующихся китах, а я принялся доказывать, что слово «брусника» — производное от Брюса Ли. И захохотал во все горло. Веса, жена Младена, и Джонни тоже не удержались от смеха. Мне казалось забавным, что я никак не могу передать Джонни атмосферу, царящую в моем родном городе. Слова здесь совершенно не помогали. Все мои попытки произнести хотя бы одну фразу о том, что ожидало нас завтра, прерывались взрывами безумного хохота. Вначале ненавязчивый, смех быстро превратился в настоящую истерическую реакцию на реальность, которая в Сараеве была скорее предчувствием, чем очевидным фактом жизни. Любая

попытка побороть этот смех и дать возможность включиться рассудку оборачивалась неудачей. По окончании долгих и неиссякаемых приступов смеха в моей голове билась лишь одна мысль: сожаление от того, что я так и не смог объяснить Джонни, куда он пришел в гости и насколько особенным был этот сараевский дом, где слушали Лу Рида и где святым покровителем был Боб Уилсон.

* * *

Пока мы спускались по улице Скерлич, дурман от марихуаны постепенно улетучивался. Теперь невидимое вещество, циркулирующее в крови, вместо того чтобы стимулировать в мозгу рецепторы смеха, впрыскивало в него слабые дозы паранойи. Я показал Джонни на одно из окон и произнес:

— Летняя жара в Сараеве бывает изнурительной, и улицы становятся совершенно пустынными. Теперь представь этот крутой спуск в разгар лета, когда здесь нет ни одной живой души. Как-то прошлым летом, когда в июльском зное ощущалось приближение грозового ливня, один из жителей высунул в окно граммофон и динамики. И внезапно раздалась музыка, которую никто не ожидал здесь услышать: «Волшебная флейта» Моцарта. Музыка разливалась по всем уголкам призрачно пустынной улицы.

— Местные жители редко слушают Моцарта, — продолжил я, — возможно, лишь на атеистических похоронах. И если кто-то включает Моцарта на пустынной улице, это означает, что он хочет снять накопившееся напряжение. А вовсе не для того, чтобы насладиться невероятной гармонией и космическим равновесием, подаренными нам Моцартом.

* * *

Судя по всему, моего гостя выбили из колеи мои абстрактные рассуждения о грядущей войне. На следующий день у Джонни поднялась температура, и он не смог встать с кровати. А может быть, причиной был ледяной холод Министерства культуры Республики Босния и Герцеговина. Или на Джонни так подействовала музыка Моцарта, величественная красота которой однажды разлилась по пустынной улице Сараева, предвещая войну? Или же холод пробрался под одежду моего гостя и подорвал его иммунитет, когда он присоединился к моим

друзьям, защищавшим кафе от притязаний капиталистов?

Как бы то ни было, Сенка сумела быстро сбить температуру благодаря проверенной годами алхимии. Компрессы из виноградной водки и чай из шиповника сотворили чудо.

— Your mother Senka saved my life, great woman![85] — повторял мне позже Джонни.

В тот день Джонни остался лежать в кровати, а я через некого Миру Пуриватру, жена которого была родственницей Изетбеговича, получил приглашение встретиться с президентом Боснии и Герцеговины в квартире его сына.

* * *

Изетбегович с виду показался мне вполне миролюбивым. Это впечатление усиливалось присутствием его беременной невестки и сына Бакира, которого я знал еще со школьной скамьи. Когда его отца бросили в тюрьму из-за написанной им книги «Исламская декларация», я, по наущению Добрицы Косича[86], подавал петиции о его освобождении. Они оказали положительное воздействие на моральный дух Изетбеговича, находившегося тогда в заключении.

* * *

— Тебе известно, Эмир, что мы, все Изетбеговичи, в прошлом объявляли себя сербами. Белград нам ближе, чем Загреб, — начал Алия.

— Я этого не знал, очень любопытно, — ответил я, прежде чем продолжить: — Мы умирали со смеху, глядя на комика Цкалию по сербскому телевидению, нам так нравился его юмор. Что касается Нелы Эрзисник, чтобы не обидеть ее, моя мать говорила: «А она ничего».

— Только дело вот в чем, — перебил меня Алия, — когда видишь, как сербы ведут себя по отношению к албанцам, у меня не остается никаких иллюзий по поводу того, какое место они отвели бы нам, мусульманам, в объединенном государстве!

Изетбегович намекал на соглашение, заключенное между мусульманами и сербами, которое Милошевич уже подписал и которое собирался ратифицировать Зульфикарпашич, лидер более умеренной мусульманской партии, обращенной к Европе[87].

— Допустим, — ответил я, — но попробуй поставить себя на

место серба: ты дорожишь своей территорией, своими монастырями, духовным наследием Лазаря, это ведь что-то значит.

Сейчас я говорил больше как защитник Югославии, а не как заступник сербов.

— Это к делу не относится, Эмир, — вмешался Бакир, — обычная сербская пропаганда. Для албанцев это вопрос демографического взрыва, мы вовсе не хотим прогонять сербов. Клянусь матерью, никто не собирается никого никуда выгонять.

Сын Изетбеговича изо всех сил пытался убедить меня и поколебать мои сложившиеся убеждения. Я вспомнил, каким был Бакир во времена учебы. В перерыве между уроками он вынимал сосиску из своего сэндвича. Затем с брезгливой гримасой пересекал всю столовую и демонстративным жестом, с неизменным «Фу, гадость!», бросал ее в мусорное ведро.

Когда его обзывали Али Желтым, из-за его рыжих волос, Бакир старался принимать это с юмором.

— Я — не желтый, я — зеленый! — отвечал он, лишний раз напоминая о своей исламской принадлежности.

* * *

— Хорошо, а как мы научим албанцев из Косова платить за электричество? Будет ли кто-нибудь брать налог за крупные земельные сделки? Насколько мне известно, страховые компании и основные государственные учреждения не функционировали уже при Тито. Все началось задолго до Милошевича!

Изетбегович не стал в это вникать, а решил сразу перейти к делу:

— Не обижайся, но я считаю, что ты слишком много философствуешь. Сейчас важно не это, мы должны сосредоточиться на ключевых проблемах.

Президент выдержал паузу, как истинный актер, — ровно столько, сколько требовалось, чтобы следующая фраза прозвучала во всей своей значимости:

— Знаешь, Эмир, у сербов скоро останется совсем немного генералов в Боснии. Им следует свыкнуться с этой мыслью.

Сообщая мне это, Изетбегович полагал, что наш разговор будет передан Добрице Косичу. Он считал, что Косич имеет решающее влияние на Милошевича. Но довольно быстро выяснилось, что это не так.

— Да, если Босния — страна мирных граждан, — ответил я шутливым тоном, — логично, что солдаты в ней занимаются

своим делом.

Но он не проявил того же чувства юмора, с каким отнесся к милым мальчикам из *«VOX»:*

— Конечно, логично. А при мусульманах станет еще логичнее!

* * *

Если бы я продолжил выражать свое мнение, это неминуемо привело бы к конфликту. «Не очень-то любезно со стороны гостя пакостить в доме хозяина», — промелькнуло в моей голове. Но я все же настаивал на угрозе войны.

— Мы все как следует обдумаем, — продолжил президент, — и испробуем все мирные пути. Но если придется драться, мы будем драться. Знаешь, я не меньше других хочу достичь согласия с сербами. По моему мнению, следует переселить мусульман из районов, где их меньшинство, а сербов большинство, в наши края. То же самое нужно проделать с сербами. Чтобы наши жили среди своих, сербы — друг с другом, и в Боснии воцарится мир!

Как он себе представлял переселение этих автономных народов, у которых даже школьный автобус не мог отправиться на экскурсию без скандальных организационных накладок?! Для президента Изетбеговича главным источником вдохновения явно была Турция. По всей видимости, кто-то из историков навел его на эту мысль, основанную на известном эпизоде турецкой истории — масштабном переселении народов в 1922 году. Турки из Восточной Греции и с островов были переселены в Измир, а греки выселены из него. Этот глобальный обмен населением произошел за два дня. Именно таким образом до нас дошла греческая музыка-андерграунд «ребетико» — прямое следствие всех этих потрясений. Мне не известно, знал ли Изетбегович, что тогда, в 1922 году, всего за два дня триста тысяч греков были загнаны в нищенские условия существования. Я спросил его, боится ли он войны.

— Я боюсь только Аллаха, — ответил он, — и мне хочется верить, что существует мирное решение и для нас, и для остальных народов.

Возможно, именно его вера лежала в основе этой непоколебимой уверенности? Или же он эксплуатировал свой авторитет, позволивший ему взять штурвал Боснии из рук одряхлевших коммунистов товарища Тито?

* * *

Вот уже многие годы дети коммунизма больше походили на переведенных в низшую категорию дворецких, но никак не на людей, способных вести за собой народ. Единственным из них, кто имел шанс стать политическим лидером в это смутное время, был Фикрет Абдич. Он создал экономическое чудо в Боснийской Крайне. Позже, наказанный боснийскими коммунистами соразмерно своим головокружительным успехам, он превратился в жертву. В политических вихрях, сотрясающих страну, Абдич перешел в *SDA*[88] то есть стал членом партии Изетбеговича, не подозревая о том, что его там ждет. Вероятно, в самом начале он просто хотел вновь запустить свою фирму «Агрокомерц» и для этих целей принял участие в президентских выборах в Боснии, уверенный, что при любом раскладе сумеет возродить экономическую жизнь в своей Крайне.

На первых демократических президентских выборах от партии *SDA* было два кандидата: Изетбегович и Абдич. И неожиданно с большим отрывом победил Абдич, получив на несколько десятков голосов больше, чем Изетбегович. Этим голосованием боснийские мусульмане отдали приоритет тому кто был наследником присущих Югославии Тито комфорта и модернизма. Они не поддержали Изетбеговича, представителя мусульманской клерикальной Боснии. Таким образом, Фикрет Абдич мог бы стать президентом Боснии и Герцеговины, но этого не случилось.

После победы на выборах состоялось собрание *SDA* в Тесани. Во имя поддержания дисциплины в партии Абдича вынудили смириться с тем, что президентом Боснии и Герцеговины вместо него станет Алия Изетбегович. Новость ему сообщил легендарный Сенга, секретарь *SDA*. В зале, где проходило собрание, рядом с руководителями партии сидели вооруженные до зубов люди в черной униформе и темных очках, специально прибывшие из Сандьяка[89]. Боснийцам дали понять, что Абдич не стремится к исполнению президентских функций. Вся лживость этой ситуации прояснилась во время войны, когда Абдич создал собственную армию и столкнулся в военном конфликте с Изетбеговичем, ставшим его заклятым врагом.

Он был не единственным, кто любой ценой стремился избежать войны с сербами. Адил Зульфикарпашич, представлявший наиболее умеренное мусульманское течение, подписал с Милошевичем соглашение о ненападении между мусульманами и сербами. Соглашение, которое Изетбегович выбросил в мусорную корзину.

* * *

Мой разговор с президентом прерывался долгими, тягостными паузами, полными недосказанности. И тогда хозяева попытались разрядить обстановку. Ведь они пригласили меня для того, чтобы переманить на свою сторону, а вовсе не с целью запугать. Именно этим я объясняю перемены в их поведении. Пока Алия, его сын Бакир и беременная невестка рассказывали анекдоты о Хасане Ценгиче, секретаре их политической партии, на которого Нелле, Доктор Карайлич, делал забавные пародии, я ненадолго унесся в своих мыслях далеко от этой квартиры.

А размышлял я вот над чем: стратегия президента на самом деле отличалась от обычной балканской политической тактики почти двухвековой давности. «Маленький брат» с Балкан получил от «Большого брата» мира — в данном случае Запада — гарантию, что тот придет ему на помощь, «если кто-нибудь обидит малыша». В основе этой стратегии лежит сценарий ресторанной потасовки. В балканских кафе драки обычно начинаются так: к столу, за которым сидит компания крепких ребят, подходит паренек. Взяв со стола стакан с водой, он выплескивает содержимое в лицо одному из воинственно настроенных здоровяков. Тот, не раздумывая ни секунды, дает парню оплеуху и направляется прямиком к столику, откуда подошел обидчик, который тем временем выбегает на улицу. Облитый и его дружки набрасываются на сидящих за столиком провокаторов. И в тот самый момент, когда зрители уверены, что конфликт исчерпан, в кафе вновь появляется тот самый паренек, а за ним — двухметровые амбалы, которые в свою очередь мутузят тех, кто уже считал себя победителем в этой маленькой ресторанной войне.

* * *

Мирсад Пуриватра был сыном знаменитого дизайнера мусульманской нации в Боснии. Он обожал *«Sex Pistols»* и получил должность в Академии драматических искусств за то, что принес двадцать метров коаксиального кабеля для спектакля по пьесе Младена Материча «Танец года».

Театр «Обала» родился в связи с потребностью сараевцев тоже иметь в своем городе место, где могло бы самовыражаться альтернативное искусство, и живой театр, контрастирующий с апатией публичного театра. Среди этих сараевцев был и Пуриватра. Его любовь к панк-музыке, европейская внешность и упорное стремление одеваться в черное стали определяющими факторами в решении Младена принять Мирсада-панка в наши

ряды. Для Мирсада это был неплохой маневр, даже если он и не был хорошим стратегом. По мере того как приближалась война, он все меньше демонстрировал свою принадлежность к движению панков и все больше утрачивал черты бунтовщика. Младен Материч научил его любить Джерома Боша в живописи и Боба Уилсона в театре, тогда как во время многочисленных гастролей спектакля «Татуированный театр» Весна Байцетич приобщала его к своим утонченным замечаниям об искусстве и жизни.

Незадолго до войны Мирсад осознал, что мусульмане Сандьяка довольно далеки от Боша и Уилсона. Поэтому он постепенно начал забывать известные имена альтернативной сцены. С живописью было то же самое. В начале враждебных действий Мирсад организовывал выставки и вернисажи, но, сообразив, что кино намного выгоднее, переквалифицировался в директора кинофестиваля. Именно в этот период он признал творчество своего отца.

Во время гастролей театральной труппы «Обала» Младен Материч и Мирсад Пуриватра вели долгие беседы о войне. Младен напомнил, что сербский народ всегда сражался за свою автономию — у него не было другого выбора, кроме как сражаться.

— Это единственный маленький народ, который заплатил за свое выживание миллионами погибших. С тех пор как он освободился от турецкого гнета, он воюет не на жизнь, а на смерть, защищая свои национальные интересы. Сербы никогда не примут никакого хозяина.

После крупного слета в Фоче, организованного *SDA* Изетбеговича, — на котором, по данным средств массовой информации, собралось более ста тысяч человек, — толпа принялась угрожающе размахивать саблями. Одетые в форму зловещего дивизиона «Ханджар»[90], манифестанты оживили в памяти воспоминания о тех временах, когда боснийские мусульмане содействовали дивизии СС в ее неудавшемся наступлении на Москву. Теперь они подняли свои сабли против сербов, угрожая отомстить за мусульман, которых четники убили во время Второй мировой войны. Они кричали, что теперь готовы убивать сами.

— Не следует так провоцировать сербов, вы рискуете заплатить высокую цену, — заметил Младен Мирсаду.

— Если сербы нас побьют, мы найдем другое средство.

И он рассказал ему историю о ресторанной драке!

* * *

В распределении ролей, по словам Пуриватры, сербам должно было здорово достаться от американцев. И я наконец понял, почему президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович, казалось, совсем не опасался того, что весь военный арсенал находится в руках *JNA*. Все вокруг бряцали оружием, а президент как будто и не боялся войны. Омерович продолжал наращивать запасы «Калашниковых» в своем подвале. Повсюду на Балканах спрос на оружие резко повысился. Что касается *JNA*, всем было известно, что хранилось на ее складах. И тогда страх стал обычным состоянием всех жителей Боснии.

В конце нашей беседы я сказал Изетбеговичу, что этот страх и эту ненависть лучше всего описал Андрич в своей новелле «Письма из 1920 года». Было видно, что Изетбеговичу это не понравилось, и от одного упоминания имени писателя по его лицу пробежала едва заметная тень. Он промолчал и напомнил мне тем самым мою боязливую соседку из Високо Даринку, говорившую о моем отце Мурате намеками: «Майя, когда приедет ваш друг?.. Не решаюсь произнести его имя…»

Реакция президента Изетбеговича была такой же, за исключением того, что он предпочел промолчать. Я нисколько не сомневался, что за его добродушной маской скрывается мстительная натура. Лишь в коридоре, когда мы обувались, собираясь выходить из квартиры его сына, он не смог больше сдерживать свои чувства:

— Скажи-ка, это правда, что ты собираешься снять фильм «Мост на Дрине»?

— Собирался, но это очень дорогостоящий проект. Здесь нужна крупная киностудия.

— Зачем тебе это, друг мой? — продолжил он. — Литература Андрича пропитана ненавистью, ведь он был всего лишь лакеем на побегушках.

Едва покинув квартиру его сына, я уже знал, что Изетбегович не может быть моим президентом. И даже не потому, что за ненависть Нобелевских премий не дают, просто я отказывался принимать тот факт, что мой президент может говорить такие вещи о моих кумирах.

* * *

Из Парижа мне позвонила Майя и попросила съездить в Високо. Нужно было проведать нашу летнюю резиденцию. Я обрадовался, что смогу показать Джонни нашу семейную гордость. Увидеть Джонни Деппа в Високо — какой неожиданный

поворот! Настоящий хеппенинг[91] концептуального искусства!

* * *

По сравнению с большинством местных строений наш дом был прямым воплощением дистанции, на которую мы отдалились от нашей страны. Это все равно что смотреть в перевернутую подзорную трубу на расположенные рядом предметы: только тогда начинаешь понимать, насколько они далеки. Именно в эту перевернутую подзорную трубу следует разглядывать индивидуальный почерк, уже в то время характеризующий мои фильмы, и особую красоту нашего дома. Ни то, ни другое не выросло подобно плоду, зреющему на дереве, которое берет соки из нашей земли. Внешний вид дома словно призывал покинуть окружение, которому так и не удалось насадить свои эстетические правила, чтобы основать собственный стиль. То же самое с моими фильмами. Их успех никак не повлиял на творческих людей из нашей среды. Не возникло никакого течения, потому что для его развития не хватило времени. Как только наиболее талантливые боснийцы достигали каких-либо результатов, они сразу же покидали родную страну, чаще всего по политическим причинам. В итоге Босния осталась страной без стиля, похожая на футбольный клуб третьей категории, где выдающиеся игроки долго не задерживаются. Не только по причине незавидных финансовых условий, но прежде всего из-за узких и ограниченных взглядов на жизнь и провинциальности, в которой погрязла самая худшая из народных политик.

* * *

Стремление к красоте здесь было вытеснено не подлежащими обжалованию судебными постановлениями. Причиной всему — нищета: социальное явление, глубоко укоренившееся в моей стране. Эта бедность нашла свое отражение в поэзии, в частности в народных песнях. В то же время средний класс, включающий в себя заказчиков, потребителей и создателей эстетических канонов, не был признан социальным фактом. Все это прекрасно подходило тутумраци, которые представляли собой многовековое, но пагубное явление в Боснии.

* * *

Во имя принципов, процветающих в самых бедных социальных слоях, были уничтожены розы и виноградные кусты Домицелей, бабушки и дедушки Майи, которых австрийцы доставили из Словении по первому железнодорожному пути. Их отправили в Високо, так как местное население не внушало доверия властям Вены, констатировавшим, что турки оставили после себя примитивное восприятие мира, а древний славянский обычай измерения времени и вовсе никуда не годился. Отныне больше ничего не могло планироваться приблизительно. Только что проложили железную дорогу, и восточные привычки создавали проблемы новым веяниям, доносящимся до Боснии с Запада. Способы отсчета времени требовали радикальных перемен. По мнению австрийских оккупантов, следовало покончить с пагубным обычаем, когда сделки заключались словами «обсудим это на неделе». Железная дорога стала самым ощутимым признаком этих перемен: поезд приходил не «на неделе», а в конкретный день, ровно в 8 часов, чтобы снова отправиться в путь… в 8.15. Учитывая неотложность этой адаптации и новые требования времени, торговля в Боснии стала в основном сферой деятельности иностранцев.

Наш сосед, рачительный хозяин Митар, был не единственным, кто назначал встречи и совершал сделки по крестьянскому принципу «обсудим это на неделе». Подавляющее большинство населения так и не отказалось от древних славянских часов и продолжало определять время, поднимая глаза к небу.

Митар купил один из трех домов Домицелей спустя некоторое время после смерти самых старших членов семейства. Он переехал в ближайший к нам дом и выкорчевал розы, виноградные кусты и цветники, возделываемые десятилетиями.

— Моей бабушке Даринке не видно дороги. Вся эта растительность загораживает пейзаж, — объяснил он. И добавил: — Господи, сколько же можно было посадить картошки на месте этих роз!

Когда во время уик-энда Мисо обрезал цветы перед домом, Митар, смакуя свой кофе после тяжелого трудового дня, наблюдал за ним с того самого места, где отныне он мог наслаждаться видами окрестностей.

— Если бы ты сажал что-нибудь поумнее, чем эти розы, что-нибудь для пропитания, то мог бы называться достойным судьей! — бросал он через ограду в адрес Мисо.

* * *

Еще не совсем оправившись от своего гриппа и утомившись от вихря событий, который я вечно поднимал вокруг себя, Джонни отправился спать, как только мы прибыли в Високо. Я же взобрался по склону над нашим домом и сорвал яблоко. Немного найдется на земле мест, где земля и небо приносят такие сочные плоды! Впившись зубами в яблоко, я посмотрел на маленький дом внизу и заплакал. Не знаю, что было тому причиной: моя прошлая жизнь или мысли о будущем. Как бы то ни было, я плакал, и слезы стекали по моему лицу. Соленая вода смешивалась с кисло-сладким вкусом самого прекрасного яблока на свете, воскрешая в памяти воспоминания моего детства. В то время слезы чаще смешивались со вкусом земли. Переживания, излившиеся сейчас в виде слез, были лишь ничтожной частью той бури, что бушевала в моей душе. Позже я понял, что все эти так долго сдерживаемые рыдания были предвестниками гораздо более серьезных и трагических событий.

В тот день я выплакал все свои слезы по нашему дому. Джонни, мой почетный гость, стал последним, кто спал в нем. Этот дом уже горел раньше: в первый раз — во сне бабушки Даринки, жены нашего соседа Митара, выкорчевавшего розы и виноград. Он также приснился горящим Давору Дуймовичу, актеру, сыгравшему главную роль в фильме «Время цыган». Моему сыну Стрибору тоже часто снился наш дом в языках пламени.

Если этот маленький дом уже столько раз горел в разных снах, что хорошего могло его ждать в неотвратимо надвигающиеся смутные времена?

* * *

Слово «Сандьяк» настолько врезалось в память Джонни, что, когда несколько дней спустя такси доставило нас из парижского аэропорта к башне Сен-Жак, он спросил меня:

— Is it connected to people from Sandjak?[92]

Мы расстались как старые друзья. Джонни отправился на съемки фильма «Гилберт Грейп», а я два месяца спустя сел в самолет до Нью-Йорка, где мне предстояло читать лекции по режиссуре еще один семестр. В очередной раз я взялся за три дела сразу. Подобно Софоклу, переплетавшему по несколько интриг в своих драмах. Я снимал «Аризонскую мечту» в Париже, читал лекции студентам в Нью-Йорке и начал писать «Андерграунд». Не успел я ступить на посадочную полосу аэропорта Кеннеди, как увидел на телевизионных экранах первые

выстрелы в Сараеве.

* * *

После референдума о независимости Боснии и Герцеговины, в котором сербское население не принимало участия и который стал последней каплей для тех, кто верил в эту независимость, сербы начали воздвигать в городе баррикады. Для меня это было достаточным основанием для того, чтобы перевезти Сенку в Герцег-Нови, в Черногорию. По прибытии в Нью-Йорк я позвонил своим родителям и вздохнул с облегчением, узнав, что они вместе. У Сенки могли возникнуть крупные проблемы в Сараеве из-за моих политических убеждений. Но внезапно одно за другим произошли более серьезные события.

Из Нью-Йорка я регулярно звонил в квартиру в Герцег-Нови.

— Сиба Крвавац умер, — однажды сообщила мне мать.

— Как так? От чего? — Я произнес слова, лишенные смысла, какие обычно говорят в такой ситуации.

— Сердце.

— Как к этому отнесся Мурат?

— Это ужасно, он рыдает без перерыва! Погоди-ка, я дам ему трубку.

Отец всхлипывал как ребенок, не в силах сдержать слез. Он смог лишь вымолвить:

— Знаешь… у меня никогда не было брата… Но в моей жизни он значил гораздо больше…

Я попытался его успокоить, насколько это было возможно по телефону.

* * *

После лекций в Колумбийском университете я взял за привычку прогуливаться по Бродвею. Мои ноги сами несли меня к центру города, поскольку обратное направление вело в Гарлем, где присутствие белых, и не без основания, было нежелательным. К югу, до площади Коламбус-серкл, тянулись небоскребы, но мне уже не хотелось поднимать голову к драматическому нью-йоркскому небу. Мне хватило одной неудачной попытки сосчитать этажи на небоскребе, чтобы больше никогда не испытывать желания смотреть вверх. Охота любоваться тем, что ограничивает твой взгляд, быстро пропадает.

Сиба Крвавац нашел для меня спасительное средство в мой

подростковый период: он заразил меня страстью к кинематографу. И теперь его смерть наполнила собой нью-йоркский пейзаж. Пока я шел, меня охватывало глубокое отчаяние, когда мой взгляд натыкался на огромные здания. Американские мегаполисы больше походили на выставку новых стройматериалов под открытым небом, чем на то, что мы, европейцы, привыкли называть городом.

* * *

На какое-то мгновение мне показалось, что наши несчастья скоро закончатся. Когда стало известно, что португальский дипломат Кутильеро подготовил мирный план, я был вне себя от радости, не понимая, куда бежать и что делать. Мне хотелось выскочить на улицу и броситься на шею прохожим. Мне казалось, что войны можно избежать. Но счастье оказалось недолгим. Вначале Изетбегович подписал европейский мирный план, получивший название «Лиссабонские соглашения». Но после встречи с американским послом в Белграде, господином Зиммерманом, президент Боснии и Герцеговины отозвал свою подпись. План был отклонен, и в тот же день, 7 апреля 1992 года. Соединенные Штаты Америки признали независимость Боснии и Герцеговины. Это и стало настоящим началом войны.

* * *

Мои мысли и чувства вновь вернулись к кошмару, связанному с уничтожением миров. Еще ребенком я видел подобные сны, после того как мой кузен Эдо рассказал мне историю конца света. Будучи впечатлительным по натуре, я выработал целую стратегию, чтобы подготовить себя к этой катастрофе. Я сделал вывод, что главное спасение для меня — в моей семье. Даже оторвавшись от своих корней, барахтаясь в потоке прибывающей воды, необходимо во что бы то ни стало уцепиться за этот ствол. Сегодня мой сон стал реальностью, и самым важным для нас было оставаться вместе. И будь что будет! Земля проваливается под нашими ногами, небо трещит по швам, но до самой последней секунды остается надежда. Можно спастись, если действовать согласно правилам богатого арсенала моих снов. И конечно же не терять надежды. Война — это еще не конец света. Это самое прибыльное предприятие, изобретенное человеком за его долгую историю существования. И всегда найдется способ

справиться с этим бедствием, не прибегая к прямым конфликтам. Если бы не приходилось защищать дорогих тебе людей от постоянной угрозы, война могла бы стать вдохновением для авантюристов, желающих обогатиться за ее счет, а также для творческих людей. На мои мечты о жизни сообща действительность ответила самой большой утратой из тех, что мне доводилось переживать до сих пор.

* * *

Двадцать девятого сентября 1992 года в Герцег-Нови скончался мой отец. Я узнал об этом довольно странным образом. Мирослав Циро Мандич, режиссер, живший некоторое время у нас в Париже, разговаривал с Майей в тот момент, когда она звонила мне в Нью-Йорк, чтобы сообщить печальную весть. Прежде чем произнести привычное «алло» и не зная, что связь уже установлена, она советовалась с Циро, следует ли ей сообщить мне о смерти Мурата сейчас или лучше дождаться моего возвращения в Париж. Я принял этот удар молча. До рассвета я выкурил свою последнюю пачку сигарет, а после полуночи компанию мне составил Момчило Мрдакович. Этот техник, настоящий невропат, мечтавший, несмотря на свой преклонный возраст, когда-нибудь снять собственный фильм, оказался идеальным компаньоном, способным поддержать меня в моем горе. Он принес бутылку сливовицы, наполнил стаканы. Согласно обычаю мы пролили половину содержимого для души Мурата и выпили остальное за моего покойного отца. На следующий день в Колумбийском университете мои лекции были отменены. На доске объявлений значилось: «No class today, Emir's father passed away»[93].

* * *

Когда мы со Стрибором приехали в дом номер 8 по улице Норвецка, где теперь моя мать жила одна, мы увидели на большой застекленной входной двери объявление о похоронах Мурата Кустурицы, с его именем, фамилией и фотографией с красной звездой наверху. Этот визуальный шок был лишь преамбулой к окончательному осознанию смерти моего отца.

Когда умирает кто-то из близких, время меняет свой привычный ход. В ту секунду, когда ты узнаешь эту новость, в некоторой степени умираешь и сам. Ты начинаешь хуже слышать,

тише говорить и становишься похожим на уличный фонарь, который непонятно каким образом продолжает светить. А затем ты отправляешься к месту захоронения, и именно там отчаянное желание не умирать вновь возрождает тебя к жизни.

Стрибор разглядывал фотографию своего дедушки.

— Это когда-нибудь закончится? — спросил он.

Он имел в виду все те несчастья, которые обрушивались на нас одно за другим.

— Даже если кажется, что этому нет конца, будь уверен, вечно так продолжаться не может, — ответил ему я.

Как, наверное, это было тяжело для моего Стрибора! Больше всего на свете мне хотелось его утешить и хоть немного приободрить, подобно тому, как мой отец успокаивал меня, когда это было необходимо. Так произошло, когда я впервые увидел мертвого человека. Тогда отец прогнал страх смерти из моего взгляда так же быстро, как ветер разгоняет облака на небе. На протяжении всей жизни воспоминание об этой сцене было поддержкой для моей впечатлительной натуры. Когда кто-то заявляет с подобной уверенностью, что «смерть — это непроверенный слух», он парализует страх перед концом жизни с помощью самой сильной анестезии. Я всегда помнил о том, как отец свел смерть к банальному факту из газетной рубрики происшествий, в то время как его остроумие и проницательность герцеговинца придавали мне смелости. Главное не в том, что у тебя тяжело на сердце, а в том, что ты несешь этот груз не один. В этом и состоит роль отца — научить ребенка преодолевать бремя невзгод, обрушивающихся на него на протяжении жизни.

* * *

Из какого теплого, нежного источника отец черпал свои силы? На чем держалось его заразительное обаяние, делавшее его любимчиком среди сараевских друзей? Как он стал опорой, на которой выстроилась вся моя жизнь? Я едва помню его родителей. Но их история — это кратчайший путь, ведущий к источнику, который я хочу познать.

* * *

В городе Травник отец Мурата, Хусейн Кустурица, был ответственным работником суда, человеком, который каждое утро, ровно в семь часов, отправлялся на свою работу с кусочком

мела в кармане и в нарукавниках из черного люстрина. Ровно в 9 часов 30 минут, когда начинался перерыв, он возвращался домой, чтобы приготовить завтрак своей *efendinica*[94]. Для обычаев Травника — и, признаться, даже для Вены — это было проявлением мужского либерализма в высшей степени. Они жили на единственную зарплату и ни в чем не нуждались благодаря доблестному чиновнику Хусейну. Он покинул стены суда Травника, когда пробил час его выхода на пенсию. Хусейн старательно возделывал небольшой огородик возле своего дома в травницком квартале Потур, что позволяло им экономить на некоторых продуктах.

Кустурицы были одной из тех редких семей Травника, самые молодые члены которой в свое время присоединились к партизанам. Еще до войны тетя Биба состояла в рядах Коммунистической молодежи Югославии, *SKOJ*. Вместе со своей сестрой мой отец убежал в лес в самом начале Второй мировой войны и примкнул к Народному освободительному движению. Если бы он этого не сделал, то мог бы погибнуть от рук тех самых чернорубашечников, которые вынудили мою тетю бежать. Провожая свою сестру на поезд, он вскоре решил отыскать ее в лесу. В сущности, к партизанам он пришел один. Мурат стал солдатом первой бригады Народного освобождения Боснийской Краины. В этой боснийской провинции мой отец и его сестра были подвергнуты суровой критике. Мало кто становился на сторону «этих чокнутых сербов, которые снова собрались драться с немцами». Вторая сестра моего отца, Лала, скептически смотрела на их политическую активность, но делала все возможное, чтобы никто не узнал об их довоенной революционной деятельности. Большинство немусульманского населения Боснии не имели ни наследия, ни склонности к революционным идеям, и еще меньше — к идеям социалистическим. Встав на сторону угнетенных людей, которым грозила опасность, Мурат и Биба подтвердили свою приверженность левым взглядам и вернулись к своим сербским корням. В конце Второй мировой войны они вместе отпраздновали победу над фашизмом в качестве бойцов победившей армии, в отличие от тех, кто примкнул к победителям в последний момент, в самом конце войны. Они давным-давно выбрали этот лагерь. Мурат обучался в христианском лицее Травника. Приобретенные там обширные знания не только дали ему развернутый взгляд на мир, но и отдалили от религиозной идеологии, которая рассматривала оккупацию усташей как неизбежную судьбу. Частенько Мурат, когда варил яйца в мешочек, читал на латыни молитву «Отче

наш», протяженность которой позволяла ему определить нужный момент для снятия кастрюли с огня.

Когда война закончилась, тетя Биба обосновалась в «Билграде», как ее родители называли столицу Югославии. Она вышла замуж за Славко Комарицу, которого некоторое время спустя назначили генеральным консулом Югославии в Швейцарии. Моя тетя была на седьмом небе от счастья, получив возможность организовывать незабываемые приемы. Молодая женщина из Травника была счастлива принимать у себя важных персон и быть частью этого блестящего общества, жить рядом со Славко Комарицей. Когда она уезжала в Берн в качестве жены консула, ее радости не было предела. Она получила от государства шикарное меховое манто и сумочку, набитую деньгами. Все это было прекрасно, но она говорила об этом слишком много: «Наше государство очень умное — оно поступает так, чтобы мы производили в мире хорошее впечатление и чтобы никому не пришло в голову нас подкупить».

Выйдя замуж во второй раз, Биба обустроила жизнь со своим мужем Любомиром Райнвайном и принялась с нетерпением ждать в гости своих родителей в новой белградской квартире в доме номер 6 на площади Теразие. Этот визит, подготавливаемый несколько раз, никак не мог состояться. Что-то постоянно ему препятствовало. А ведь выдающаяся белградка, служившая в Институте международного рабочего движения, заранее отправляла билеты на поезд своим родителям. Она даже воспользовалась своим статусом ветерана войны, чтобы достать более дешевые билеты. Но Биба не знала, что на пути из Травника в Белград для ее родителей возникло непреодолимое препятствие… Супруга эфенди не могла разгуливать по улицам Белграда в старом пальто!

Подобные проблемы, как и многие другие в жизни своей жены, решал чиновник Хусейн. В данном конкретном случае он проникся сочувствием к положению своей супруги. Он купил ткань для нового пальто, взяв необходимые деньги из своих сбережений, которые откладывал втайне от супруги, чтобы однажды приобрести место на кладбище. Суммы оказалось недостаточно для портного, но Хусейн снова отнесся к возникшей проблеме со всей ответственностью. Мой отец догадался об этой истории по письму, прибывшему на его сараевский адрес в посылке, которую его родители отправляли ему из Травника раз в месяц. В письме Хусейн извинялся, что смог прислать всего одну бутылку масла, два килограмма знаменитого травницкого сыра и два килограмма чернослива. Никто так и не узнал разгадки этой тайны, но пальто было сшито, и Кустурицы отправились в

Белград. Рассказывают, что моя бабушка побывала в гостях у всех жильцов дома номер 6 на площади Теразие, что она переходила из одной квартиры в другую и пила кофе с женщинами, сумев за рекордно короткое время завоевать их сердца.

«Моя мать была настоящей принцессой!» — однажды сказал мне отец.

* * *

В конце войны Антифашистский фронт женщин инициировал акцию «Отмена чадры у женщин». Ища поддержку в семьях Травника, они связались с Бибой и попросили помочь им найти человека, наиболее подходящего для этой агитационной акции. Выбор пал на мать партизан Мурата и Бибы Кустурицы.

Собравшимся женщинам *efendinica* убедительно представила все причины, по которым следовало покончить с мракобесием прошлого. Для нее это не составило труда, поскольку она была уроженкой семьи Авдич. Авдичи, как и Кустурицы, были герцеговинцами, и в их душах также постоянно шла внутренняя борьба между герцеговинцем и человеком. После своей замечательной речи о необходимости освободиться от чадры супруга эфенди с удовольствием выслушала похвалы от прогрессистов, но особенно от своих детей.

— Мадам Кустурица, вас следует избрать мэром, нам бы это не повредило! — говорили ей некоторые.

Однако на следующий день события приняли иной оборот. Моя бабушка пришла на торговую площадь с чадрой на голове! Когда ее дочь, опешив от изумления, узнала об этой неожиданной выходке, она направила телеграмму своему брату.

— Мать, зачем ты это сделала? — спросил мой отец, примчавшись в Травник.

— Не знаю, мне кажется, так намного красивее, когда у женщины видны одни глаза.

— Ты не можешь так с нами поступить, мама. Партия дала тебе ответственное поручение, — настаивал отец.

— Послушай, сынок, такие вещи сразу не делаются! Иногда ты ее надеваешь, иногда — нет. Вот как надо!

* * *

На самом деле она вела совсем другую борьбу. Ее ближайшими соседями было семейство бея Вехбии Сахинпасича,

жена которого наотрез отказывалась снимать чадру. Вот они и сражались друг с другом за то, кто будет пользоваться наибольшим авторитетом в квартале. Моя бабушка боялась, что из-за всей этой истории может утратить свое влияние на местных женщин и утратить свои позиции, когда они в очередной раз соберутся по-соседски выпить по чашечке кофе. Отсюда и ее компромисс: «Иногда ты ее надеваешь, иногда — нет».

Когда она была при последнем издыхании в больнице Косева, то накануне своей смерти попросила отца привезти ей мою подушку, чтобы умереть, прислонившись к ней.

* * *

Мой отец умер одновременно с моей любимой страной. Он ушел вовремя, чтобы не видеть, как рушится сооружение, в которое он собственноручно вложил несколько камней и которому отдал большую часть своей жизни. Основание этого здания уже давно расшатывалось иностранными спецслужбами, нерешенными историческими конфликтами между сербами и хорватами, а также усилиями тутумраци. Последние превратились из представителей народной элиты в специалистов по разрушению широкого профиля, не переставая мусолить вечный вопрос «Где мое место в этой истории?»

* * *

За полгода до смерти моего отца Абдула Сидран был проездом в Париже. Когда он поведал о невыносимой обстановке в Боснии и высказал свое мнение о том, что мир на боснийской территории возможно поддержать лишь при помощи ООН, партизан первой бригады из Боснийской Краины ответил ему резким тоном:

— Во время Второй мировой войны я сражался в лесах, чтобы изгнать иностранцев из своей страны, а ты хочешь привести войска ООН в мою Боснию?

Сидран попытался развить свою теорию, которая совершенно не убедила его собеседника.

— Война уже практически началась: первого марта, на референдуме о независимости Боснии и Герцеговины, — отрезал Мурат — Когда третья часть населения игнорирует референдум и отказывается выходить из состава Югославии, война в Боснии неизбежна.

— На референдуме все-таки высказали свои пожелания большинство граждан Боснии, — заметил ему Сидран.

Мурат ударил кулаком по столу, ставя точку в разговоре:

— Югославия была создана на крови, на крови же она и исчезнет! Заруби себе это на носу!

* * *

Теперь мне требовалось отыскать хоть что-нибудь в своей памяти и воспоминаниях, чтобы поддержать Стрибора и облегчить его боль от потери дедушки. Но, как это часто случается в жизни, все произошло с точностью до наоборот. Четырнадцатилетний парень изо всех сил пытался утешить меня. Когда мы поднимались по лестнице дома номер 8 по улице Норвецка, он обнял меня.

— Это как с яблоком, — сказал он. — Сначала появляется цветок, затем плод, он растет, набирается сока, и маленький зеленый плод становится красивым красным яблоком. Солнце его ласкает, дождик омывает, и оно свисает в каплях росы на своей плодоножке. Вот лето подходит к концу, а яблоко по-прежнему красуется на своем месте. Осенью оно сморщивается от холода, уменьшается в размерах, в начале зимы плодоножка не выдерживает, засохший плод падает на землю — и нет больше яблока.

Стрибор пытался таким образом сказать мне, что смерть — естественное явление.

Лишь когда я вошел в маленькую квартирку в Герцег-Нови и сжал в объятиях Сенку, я физически ощутил, что никогда больше не увижу своего отца. Смерть дорогого человека превращается в глубокую печаль в тот момент, когда ты оказываешься рядом с тем, кто был ему ближе всех, и этот человек отныне становится самой сильной символической связью между тобой и покойным. В свои последние мгновения мой отец воскликнул: «Сенка, Эмир, я покидаю вас!» И мы были бесконечно несчастны, поскольку знали, что он больше никогда к нам не вернется.

Стрибор, увидев наше с Сенкой горе, разрыдался. И тогда я нашел способ утешить своего сына.

— Твой дедушка не умер, — сказал я ему, — просто жизнь отправила его в другой мир, чтобы он отдохнул там от своей доброты.

И я продолжил плакать.

Tennis elbow [95]

На крутых склонах Горицы, где остались мои друзья детства, разворачивались драматические события. Началась война нового типа. В моем Сараеве, в моей Горице, где мне был знаком каждый камень. Там осталась моя печаль, осев на покосившихся уличных фонарях, излучающих дрожащий свет. Над Черной горой, словно ночные бабочки, кружатся мои вздохи, а по крутым ступенькам, где я упражнялся в скорости космонавта и медлительности влюбленного, всё катятся футбольные мячи. А я продолжаю бежать за ними.

* * *

В эти тяжелые дни Паше пришлось забыть о своих прогулках в компании жены, которые он регулярно совершал в мирное время от Свракина Села до центра города. Его очень удручало, что он больше не может сводить счеты с «сексуальными маньяками», бросающими похотливые взгляды на задницу Куны, но теперь ему приходилось перемещаться по городу зигзагами, перебегая от одной стены к другой, чтобы не попасть под пули снайперов. Из пригорода он пробирался к центру Горицы, чтобы хоть немного поддержать своего друга Ньего Ацимовича. На улицах Сараева царил хаос: беженцы из восточной части Боснии, мусульмане, изгнанные из Рогатицы и Вишеграда, искали себе новую крышу над головой, в основном в квартирах, в панике оставленных жильцами. Частенько они захватывали жилища сербов, которым не удалось вовремя выбраться из города. Опасность быть выброшенным на улицу для сербов была вполне реальной. Хуже этого могла быть только смерть. Кратчайшим путем на тот свет для сараевских сербов была случайная встреча с аккордеонистом Кацо. Этому музыканту не требовались ноты, чтобы убивать. Часто палач приводил на эшафот в Казане сотни сербов — а по свидетельствам некоторых очевидцев, и тысячи, — под предлогом мести за несчастья мусульман, живущих вдоль Дрины. Дурная слава о нем донеслась до Парижа, и я задавался вопросом, как могли не знать сторонники многонациональной Боснии, что вытворяли их музыканты, когда не играли на своих инструментах.

* * *

Ньего Ацимович провел первые дни войны, дрожа от ужаса, забаррикадировавшись в своей квартире в доме номер 2 на улице Калемова. Он вздрагивал при малейшем звуке голосов на лестничной клетке. Угрозы по телефону, оскорбления и удары в дверь среди ночи стали обычной практикой тех, кто хотел его выселить, чтобы захватить квартиру. Он понимал, что, даже если перестанет праздновать Славу[96] и не будет афишировать свое происхождение, это ничего не изменит. На помощь ему подоспела верная дружба.

* * *

Прорвавшись сквозь заградительный огонь снайперов, Паша приближался к дому своего друга; он нес ему еду. В драках Ньего всегда был самым слабым, а Паша — самым сильным. Их дружба поведала историю, о которой не упоминал ни один телевизионный канал мира. С самого начала войны по этим каналам не было сказано ни слова о дружеских отношениях между сербами и мусульманами.

* * *

Добравшись до верха Горицы, Паша остановился по пути, чтобы занести немного еды своей сестре Аземине, после чего бегом взобрался по склону к дому номер 2 по улице Калемова. Перед входом в дом Ньего он разогнал группу любителей пари и подошел к самому крупному из них. Для начала он влепил ему оплеуху, а затем угрожающе произнес:

— Вали отсюда, если не хочешь огрести по полной программе!

Здоровяк в панике собрал свои деньги и бросился наутек.

— Если еще раз вздумаешь ломиться в дверь, на которой написана фамилия Ацимович, я с тебя шкуру спущу, понял?! — крикнул ему вслед Паша.

Опасаясь, что кто-то имитирует голос Паши, Ньего открыл дверь не сразу. Наконец он отважился подойти к дверному глазку и, увидев Пашу, впустил его внутрь. В присутствии своего друга он моментально почувствовал себя в безопасности. Это ощущение было гораздо сильнее голода, который терзал его уже два дня.

— Ну что, четник, наложил в штаны от страха? — усмехнулся Паша.

Приятели вместе отправились за хлебом в ближайшую

бакалею. Они обогнули людей, уже давно стоявших в очереди. Паша заметил, что какой-то тип, вздохнув, бросил на него взгляд исподлобья. Не раздумывая, он врезал ему по физиономии.

— Эй ты, придурок, — бросил Паша, — сейчас у тебя глаза вылезут из орбит! Ты ведь стучался в дверь Ньего, не так ли?! — И он принялся его избивать.

Так Паша показывал остальным, что их ожидает, если кто-то посмеет покуситься на квартиру или жизнь его друга. Иначе и быть не могло. Поскольку этого требовало их прошлое. Общие воспоминания накладывали взаимные обязательства. Никто из них не мог забыть, как закалялась их дружба, как они вместе изучали правила и этику сараевских улиц. В тяжелое военное время они чтили этот долг. Нет никакого сомнения, что Ньего поступил бы точно так же по отношению к Паше, если бы Горица стала сербской территорией. Ведь их связывали наши незабываемые безумные проделки в те времена, когда мы обчищали киоски Заострога и отправлялись продавать бритвы и жвачку, украденные на пляжах, чтобы позволить себе поехать на несколько недель к морю, что для нас было равносильно возвращению к жизни. Они навсегда сохранили воспоминания о наших потасовках за право быть главными на пляжах и вечерних дискотеках Туцепа. Каждая одержанная победа осталась запечатленной в их памяти как сладкое воспоминание о власти и триумфе, столь необходимых для становления мужчины. Независимо от того, кто наносил удары, а кто их получал, они не забывали о том, что нельзя бросать друга в беде, какую бы цену ни пришлось за это заплатить. Поскольку над всеми законами и правилами преобладал один закон, требующий самопожертвования, — всегда оставаться «человеком чести»!

* * *

Я уже не понимал, что мне делать дальше — заканчивать «Аризонскую мечту» в Париже, продолжать монтаж фильма, съемки которого были такими тяжелыми, или вернуться в Сараево? В смятении я звонил туда днем и ночью. После первых же беспорядков возле здания Ассамблеи Социалистической Республики Боснии и Герцеговины меня попросили высказаться по этому поводу. Я ответил, что граждане ни в коем случае не должны искать столкновения с *JNA*, поскольку их позиции слабы и это может оборвать множество жизней. Я пытался донести следующее: не следует играть в партизан и немцев, потому что при таком безумном раскладе сербы, на этот раз вынужденно,

оказывались фашистами, а мусульмане — партизанами! Большинство восприняло это как оскорбление, хотя я уверен, что многие разделяли мое мнение, но были вынуждены молчать из-за происходящих событий и постоянного страха. Один эстрадный певец решил отреагировать на мою пацифистскую идею. Но сделал это, не отходя от официальной позиции: он заявил, что следует призывать людей к защите Сараева, а проще говоря, к войне против сербов. А вовсе не к миру любой ценой, в чем, собственно, состояла моя мысль.

— Эмир, нам нужен твой крик, а не шепот! — заявил певец. И моментально стал героем города, в то время как автор «Долли Белл» и «Папы в командировке» ступил на прямой путь «предателя своей страны».

* * *

Я твердо решил разделить трагедию своего родного города и купил билет на самолет до Сараева. Но это мое намерение было резко остановлено Зораном Биланом, который позвонил мне на мой парижский номер:

— Дружище, не приезжай сюда, это вопрос жизни и смерти! Тебя здесь завалят.

— Кому это понадобилось меня убивать?

— Патриотам! — в тон мне ответил он.

— Это потому, что в статье в *«Monde»* я сказал, что Алия Изетбегович — генерал без армии?!

— Не знаю почему, просто не приезжай!

— Но ведь я также выступ ил против тех, кто забрасывает бомбами город!

— Ты отстал от жизни, дружище. Ты ничего не понимаешь. Все давно изменилось. Здесь больше не спорят о том, кто худший — первый, второй или третий. Единственные, кто ни на что не годен, — это сербы. Как в ковбойских фильмах, понимаешь? Даже если то, что говорит Нока, правда: «Не знаю, кто для меня хуже — те, кто на меня нападает, или те, кто меня защищает!»

— И что, у Алии действительно есть армия?

— Забудь ты об этом: есть армия, нет армии… Ни в коем случае сюда не приезжай! Если что-то изменится, я дам тебе знать.

* * *

Осквернитель бюста Иво Андрича в Вишеграде получил свою роль в самом начале войны. Это была не такая важная роль, как он надеялся, но достаточная для того, чтобы фигурировать в списке потенциальных «получателей медали». Несмотря на то что он не любил ни сербов, ни партизан, этот Сабанович уже видел себя среди «ветеранов войны». С медалью на груди. Если бы по счастливой случайности его отправили на перевоспитание с обязательным чтением полного собрания сочинений Андрича, думаю, что он взглянул бы другими глазами на миссию, которую поручили ему тутумраци. Он угрожал взорвать дамбу на гидроэлектростанции Вишеграда!

— Я сделаю это, чтобы затопить Сербию до самого Дединье и виллы Милошевича, — заявил Сабанович Радойе Андричу, журналисту ежедневной газеты «Вечерние новости».

В это дело вмешался генерал Куканяц, командующий военным округом Сараева. В своей простонародной манере генерал попробовал образумить возбужденного Сабановича, который утверждал, что хочет взорвать дамбу в отместку за злодеяния, совершенные военизированными частями Аркана в регионе Зворника. В конечном счете к переговорам подключился Алия Изетбегович, и их беседа транслировалась в вечерних новостях.

Президент обращался к Сабановичу ласковым тоном, словно разговаривал с собственным сыном. Но тот продолжал упрямиться и грозил все взорвать.

— Подожди, Мурат, прошу тебя, не надо этого делать, — сказал ему президент. — Пусть пока все остается как есть…

Мы, телезрители, ясно поняли из этой беседы, что, даже если наводнение не произойдет сию минуту, долго ждать его не придется. Возможно, оно произойдет уже предстоящей ночью. Это было похоже на загадочные послания в немых фильмах, где между сценами появляются надписи, сообщающие о грядущих событиях.

* * *

Несмотря на настойчивость президента Изетбеговича и его «пусть пока все остается как есть», Сабанович все же спустил часть воды из дамбы Вишеграда. Поскольку его дом был построен в Незуке, населенном пункте, примыкающем к Вишеграду, в своем стремлении наводнить Сербию до самого Дединье и виллы Милошевича этот тип сумел затопить лишь свой собственный дом! Разбушевавшаяся стихия одним махом смела все на своем

пути. С невыразимой грустью Сабанович смотрел на свое жилище, которое мощным течением уносило в сторону Сербии. Он вспомнил о предвыборных обещаниях *SDA* в Фоче, где сторонники Изетбеговича возбужденно кричали, призывая к мести и обещая в случае войны отомстить за каждого мусульманина, убитого сербами на Дрине во время Второй мировой войны. Но те, кто давал эти обещания Сабановичу, сбежали в Сараево, испугавшись сербской армии. И теперь Сабанович стоял один, печально взирая на разлившуюся реку. Обращаясь к Аллаху, он молил о чуде. Он просил высшие силы повернуть реку вспять. А если Аллах не поможет, возможно, с этим справятся американцы?

В конечном счете он тоже сбежал из Вишеграда в Сараево и там продолжил молиться, чтобы Небеса послали ему чудо. Он хотел, чтобы Дрина повернула вспять и принесла его дом из Сербии обратно в Незуке.

* * *

Я с нетерпением ждал звонка своего друга Билана из Сараева. Изменилось ли там что-нибудь? Есть ли обнадеживающие новости? Неужели меня могли так быстро вычеркнуть из списка сараевцев?

Надежды растаяли очень быстро. Телефонная связь с Сараевом была прервана, и мне пришлось отказаться от мысли о возвращении в свой родной город. Билан не подавал признаков жизни. И дело было не только в отсутствии телефонной связи. Причина оказалась гораздо трагичнее: мать Билана — Кая — была зарезана на пороге собственного дома в Яйце. Она участвовала в партизанском движении и носила медаль ветерана войны. По утверждению ее сестры, оставшейся жить в Белграде, с Каей расправились члены движения «Белые орлы». Я давно знал, что у последних было мало общего с этими благородными птицами, которых принято ассоциировать с традиционной героической борьбой сербского народа за свободу. Тот, кто убил тетю Каю на пороге ее собственного дома, был всего лишь белой крысой, но не орлом.

Мое возвращение на родину все больше усложнялось. И дело не в страхе. Здесь оказалась задействована уже психология. Если бы я вернулся в Сараево, мне пришлось бы претерпеть изменения, к которым я не был готов.

Поскольку я не мог сесть на самолет до Сараева, я попытался представить, что было бы, если бы я все же приехал туда неожиданно для всех. Пожалуй, мне пришлось бы водрузить на

плечи новую голову, сняв прежнюю, завернув ее в газету и бросив в Миляцку. Только с этой новой головой я смог бы наплевать на все, о чем думал и во что верил, на все, о чем говорил. На все, что мне оставил в наследство мой отец! Но эта новая голова так и не смогла бы прижиться, даже в случае успешной хирургической операции. Трагедия в том, что она продолжала бы искать старую голову, которая, славясь невероятным упрямством, попросила бы свою сестру не принимать суждения, навязанные войной, поскольку они не дают исчерпывающего объяснения происходящему. А ведь конечная цель — поверить в то, что ты понял. И если доверять только своим чувствам, вряд ли из этого что-нибудь получится. Поэтому старая голова начала бы упрямиться. Она бы никогда не позволила своей сестре забыть причины, которые привели к этой войне, невзирая на всю их жестокость. И новая голова принялась бы кричать, рассказывать повсюду то, о чем в смутные времена следует молчать, и тем самым подписала бы себе смертный приговор. Одна голова погибла бы оттого, что ее вынудили измениться, другая — потому, что осталась бы под влиянием своей сестры.

* * *

По этим, а также по многим другим причинам, которые не так просто объяснить, я не поехал в Сараево. Прошлое мне виделось таким, каким я показывал его в своих фильмах. «Международное сообщество» со своим абстрактным гуманизмом мне совершенно не нравилось. Не говоря уже о нашем местном хамстве, пример которого я сейчас приведу.

Как-то Сенка показала мне рапорт, который получила от моей кузины, Дуни Нуманкадич. Этот документ свидетельствовал о том, как некий высокий чин военной полиции Боснии и Герцеговины ворвался вместе с несколькими полицейскими в квартиру моего отца, Мурата Кустурицы, на улице Каты Говорусич. В печной трубе он нашел бомбу, которую, следуя рапорту, «спрятал террорист Мурат Кустурица». Соседка Родич подписала этот документ в качестве свидетеля.

— Чем же они ее так запугали, бедняжку, что она согласилась подписать эту чудовищную ложь?! — воскликнула Сенка.

На самом деле борцы за независимую Боснию и Герцеговину помимо защиты города занимались другой, более доходной деятельностью.

— Мерзавцы! В этой трубе я хранила две с половиной тысячи долларов, которые ты дал мне, когда мы уезжали домой из

Соединенных Штатов, — впоследствии призналась мне Сенка.

Когда я привез Сенку из Герцег-Нови в Париж, мы установили спутниковую антенну и смотрели новости со всего мира. Для нас это было важнее еды. Внимательно слушая передачи, идущие по каналам всех стран, я видел различные интерпретации одних и тех же событий, и тогда я понял, что Гитлеру для окончательной победы его преступной политики не хватало лишь телевидения. Никто не смог бы его одолеть, если бы у него были свои собственные телеканалы!

* * *

На деньги, полученные от «Аризонской мечты», мы купили дом в Нормандии. Перед нами больше не стояло дилеммы: Соединенные Штаты остались в прошлом, а с Сараевом мы попрощались навсегда. Думаю, мы все равно пришли бы к этому, даже если бы не было войны. Крупные проекты требуют радикального изменения образа жизни, привычек. Если вы хоть раз попробовали японскую кухню и ваши финансовые ресурсы находятся далеко от вашего родного города, даже аромат жареных котлет не сможет заставить вас вернуться назад.

Большой нормандский дом был увеличенной копией нашего домика в Высоко. С той лишь разницей, что первый по сравнению со вторым был настоящим жилищем, в полном смысле этого слова. Если бы Мурат был жив, он бы наверняка с гордостью показывал всем пенсионерам Герцег-Нови фотоснимки, запечатлевшие размеры и количество комнат новых владений семьи его сына.

* * *

В этом доме Майя довела до совершенства свое врожденное чувство обустройства жизненного пространства. Постепенно она отмела все стили и создала свой собственный.

— It feels good, like if I was in Visoko[97], — заявил Джонни Депп, когда впервые вошел в этот дом.

В итоге в нашем нормандском жилище стало так приятно находиться, что, когда мы долгое время сидели, глядя в окно, никакой потребности в разговоре не испытывали. Мы в буквальном смысле погружались в возвышенные ощущения. Джонни Депп чувствовал это очень хорошо. Когда мы уехали в Черногорию, в уютной обстановке этого дома была зачата Лили-

Роз, дочь Джонни и Ванессы. И я стал крестным отцом этого ребенка.

* * *

Предметы, расставленные с невероятным мастерством в разных комнатах дома, располагались по отношению друг к другу как совершенный монтаж кадров в киноэпизоде: когда они плотно пригнаны один к другому и ничто не может изменить их порядок. Скомпонованные рукой Майи, своим цветом, формой и расположением они точно передавали ее стиль, который постепенно зарождался на наших глазах, устраняя стереотипный декор гостиничных номеров, поблекших, холодных и негостеприимных, в которых, кстати говоря, я провел большую часть своей жизни. Когда-то в Белграде гостиничный номер представлял собой идеальную обстановку для жизни. Все это делалось для того, чтобы посетители могли восторженно повторять: «Роскошно, роскошно!», что зачастую меня раздражало.

* * *

Талант Майи проявлялся в ее особой манере добавлять в ранее существовавшую обстановку предметы, которые она откапывала бог весь где, необязательно дорогие, часто даже совсем дешевые. И все это она «приправляла» какой-нибудь одной деталью, цена которой была непомерной. Таким образом она освежала наше жизненное пространство. То же самое она проделывала и с одеждой. Частенько в самых обычных супермаркетах она покупала себе дешевое платье, сидящее на ней как влитое. И разумеется, при этом она обувала самые дорогие туфли и брала с собой сумочку, купленную за баснословные деньги. Она это просто обожала, напоминая тем самым своего отца. Судья, признанный лучшим экспертом по гражданскому праву, много лет работал в департаменте за скромную зарплату, но на отложенные сбережения покупал себе самые дорогие фотоаппараты. Мисо Мандич с огромным уважением относился к совершенной немецкой технологии. Несмотря на то что он был узником концлагерей усташей и нацистов, он никогда не отзывался плохо о немцах. Об усташах он вообще избегал говорить.

* * *

После моего возвращения из Праги, когда я цитировал писателя Богумила Грабала, то очень расстраивался, что никто не понимает смысла слов литературного героя: «Небеса отнюдь не гуманны, как не гуманен и мыслящий человек. Не то чтобы он не хотел быть гуманным, просто это противоречит здравому смыслу».

— Вот, это как раз то, о чем говорит твой Грабал, — однажды сказал мне Мисо, снимая объектив *«Zeiss»* со своего *«Leica M2»*. — Когда-то мы получили от немцев все самое худшее и лучшее. То же самое происходит сейчас с американцами. Раньше немецкий офицер приезжал на только что завоеванную территорию, стоя в открытом «мерседесе», с висящим на груди фотоаппаратом *«Leica»*. Даже если народы оккупированных стран ненавидели их, они не могли не признавать технологического превосходства немцев. «Мерседес» упрекнуть не в чем, многие люди мечтают оказаться за рулем такого автомобиля. И чем больше они об этом мечтают, тем понятнее становится, что у них никогда не будет такой возможности, и тогда они начинают презирать не немца, а ближнего своего — соседа, того, с кем они живут, работают и умирают. Когда такие люди представляют себя за рулем «мерседеса», большинство из них готовы навечно стать рабами немцев!

* * *

В наше время американцы создали универсальный товар. Человек теряется при таком изобилии продуктов и соблазнов. Люди в состоянии обойтись без большинства этих вещей, но они не могут перед ними устоять. Раньше они ходили молиться Богу, созерцали Небеса и иконостасы, сегодня же, словно стадо баранов, они устремляются в торговые ряды. Люди — это особый вид. Их все меньше интересует «техническое совершенство», как сказала бы Милка Бабович, наш комментатор по фигурному катанию. В современном мире главенствует эстетика. Люди убеждены, что не могут обойтись без солярия, телефона, DVD-проигрывателя, самолетов, кораблей. Первичный патент на эту новую потребность принадлежит американцам. Посредством телевидения они делают людей зависимыми, затем предлагают им те же вещи в реальной жизни, и, следует признать, люди остаются довольны. Советский Союз не вышел победителем из этого состязания. Он успешно соперничал с Соединенными

Штатами в области вооружения и тяжелой промышленности, но проиграл партию в части основных предпочтений людей. Он так и не смог организовать рынок и наполнить его яркими товарами.

* * *

Опасность состоит в том, что, продавая нам эти вещи по низкой цене, американцы своими бомбардировками выставляют такой дорогой счет, что становится невозможно относиться к ним с симпатией. Бомбы сыпятся с неба с высоты десяти километров. Ничего нельзя сделать против тех, кто забрасывает нас бомбами: они нас видят, а мы их — нет. А это происходит всякий раз, когда что-то идет вразрез с их планами по очередному переделу мира. Когда они поставляют нам свои товары или прогуливаются по Луне — это хорошо. Хуже, когда они сбрасывают на нас бомбы, называя их «ангелами милосердия». Но совсем плохо становится, когда понимаешь, что эти две вещи тесно связаны между собой, и первая невозможна без второй, и обе они созданы одним и тем же человеком: тем самым героем Грабала, который не может быть гуманным, извиняясь и ссылаясь на Небеса, «которые тоже негуманны», поскольку, по его утверждению, это противоречит здравому смыслу. Чтобы иметь доступ к чудесным вещам и высоким сферам науки и культуры, человек карабкается к Небесам и раю по лестницам, ступени которых — убитые мученики, жертвы экономической войны. Побочный результат исторического развития! И хорошо, если еще остается надежда на перемены к лучшему! Но при этом возникает вопрос: стоит ли таких страданий то, что находится на самом верху лестницы, устланной трупами?

* * *

В Нормандии Мисо переводил на сербский язык все школьные дисциплины Стрибора, поскольку юный Кустурица только что начал обучение на французском языке. Подобно всем избалованным детям, мой сын регулярно терял тетради с переводом, и терпеливому дедушке приходилось делать все заново.

Стрибор уже вступил в подростковый возраст. Однажды он вернулся из школы крайне взволнованный. Он не сразу рассказал нам, что произошло, — я узнавал в этом свои собственные первые шаги в познании реальной жизни. Оказалось, он подрался с

одним французом, хулиганом из его школы, который издевался над алжирскими учениками. Тем же летом в Будве он выбил зубы какому-то бодибилдеру, отец которого владел бензоколонкой в центре Будвы.

— Стрибор, тебе известно, что такое нанесение телесных повреждений? Что это уголовно наказуемо? — спросил его Мисо, когда тот вернулся во Францию.

Стрибор встревожился.

— Они могут засадить тебя на два года в тюрьму! — добавил Мисо.

Стрибор выглядел еще более взволнованным. После этого предупреждения он не дрался по меньшей мере два месяца.

— Что мне делать? Как с ним справиться? — спросил я Мисо.

— Вряд ли у тебя что-то получится. Попробуй, конечно, но когда в ребенке проявляется кто-то из его предков, к примеру дед, тогда все будет происходить, в точности как у этого деда, и все усилия будут напрасны, — ответил он мне, надеясь таким образом меня успокоить.

Внезапно осознав, что этим предком может быть он сам, Мисо поспешил добавить:

— В генетике такое часто повторяется через поколение, так что ребенок может быть вполне похож на своего прадеда.

Дедушка Мисо не любил быть в центре внимания. Он не был склонен разрешать конфликты физическим путем, как мы со Стрибором. Тем не менее во время трансляции соревнований по боксу он размахивал кулаками, словно сам находился на ринге. Когда боксеры наносили серию ударов и пускали в ход ноги, Мисо проделывал то же самое. Иногда он подпрыгивал так резво, что ногами сдвигал ковер, в результате чего обрушивал с этажерок декоративные предметы, и те, что были из стекла, разлетались на мелкие осколки по всей комнате. Однажды, не заметив осколков, он нашпиговал ими свои подошвы.

То же самое происходило с ним в его гостиной в Косеве во время футбольных матчей, транслируемых по телевидению. Его ноги мелькали в воздухе, словно он находился на поле. Он поддавал ногой каждый мяч. И когда игрок пробирался к воротам, Мисо сам наносил удар. Находясь один в комнате, он резко выбрасывал ногу вперед и изо всех сил ударял по воображаемому мячу.

Однажды Дуня, делавшая уроки в своей комнате, услышала крики Мисо. Сначала раздался мощный «ГОООООЛ!». Затем наступила тишина, за которой последовал вопль, полный боли:

— Я упал и сломал себе ногу! На помощь!

* * *

Мисо, обладая сверхчувствительной натурой, плохо переносил малейшие осложнения в отношениях между людьми. Совсем как Стрибор. Любая сложная ситуация выбивала его из колеи. Именно это произошло, когда Мисо попытался сдать экзамен на право вождения мотоцикла в Високо. В тот момент, когда напряжение на экзамене достигло апогея, он выпустил руль из рук. И мотоциклист упал вместе с мотоциклом. Это объясняет тот факт, что большую часть своей жизни он провел в согласии со своими близкими друзьями и родственниками. Он плохо переносил незнакомые места и трудности, связанные с общением с незнакомцами. Его жена, напротив, обожала путешествовать, открывать для себя новые страны и завязывать новые знакомства. Мисо не возражал против ее путешествий, но всегда предупреждал:

— Лела, езжай, куда хочешь, и оставайся там, сколько пожелаешь, но при одном условии: когда вернешься, не показывай мне фотографий и не рассказывай ничего о том, что видела.

* * *

В Нормандии Лела посадила те же овощи, что и в Високо. Больше всего мне нравился редис. Когда я возвращался из Нью-Йорка, то сразу же отправлялся в обход по огороду и срывал эти маленькие красные плоды, сочные и твердые. Я грыз только что вырванный редис, прямо немытый, весь в земле, словно приехал откуда-нибудь из Эфиопии, а не из Соединенных Штатов. Французы и англичане триста лет сражались за обладание Нормандией, но, на мой взгляд, в здешней земле слишком много песка. В ней нет маслянистой глины моей родной земли, вкус которой я часто вспоминаю вместе с образами из прошлого и слезами, сопровождавшими мое детство.

* * *

В 1994 году умерла моя тетя Биба. Только жизнь может сыграть подобную шутку: известие о ее смерти пришло ко мне одновременно с письмом от ее бывшего мужа Любомира Райнвайна, присланным на мой парижский адрес. Мой дядя, по-прежнему шагающий в ногу с техническим прогрессом, отправил

нам его по факсу, а не по почте. Он не знал, что его бывшая жена умерла, но уход моей тети полностью вписывался в его планы на будущее.

Мой дорогой Эмир!

Абсурдность моей жизни с твоей тетей Бибой достигла своего апогея! В прошлом я не раз пытался решить по-джентльменски вопрос о нашем разъезде, поскольку мы больше не могли жить в гармонии с твоей тетей. К несчастью, это оказалось невозможно. Ненависть, возникшая после нашего развода, растет с каждым днем и грозит обернуться худшим. Больше всего меня угнетают ее угрозы убить меня, пока я сплю. Если бы мы не жили в одной квартире, все было бы намного проще.

Тебе известно, мой дорогой Эмир, что я всегда относился к тебе с симпатией. Уже во времена моей службы в странах Центральной Европы, когда ты приезжал к нам в гости со своими родителями, я старался, чтобы вы чувствовали себя у нас как дома. Вернувшись сюда, я продолжил играть в теннис, поскольку, как тебе известно, Райнвайны прибыли из Австрии, а в Цетинье, который был когда-то городом послов, осталось множество теннисных кортов. На этих землях мой дед, заведовавший протокольным отделом при дворе короля Николы, был одним из первых, кто популяризировал данный вид спорта на Балканах! Став юношей, я тоже начал играть в теннис и участвовал в многочисленных соревнованиях. Я по-настоящему увлекся теннисом. И вместо того, чтобы заниматься им на побережье Черногории, я вынужден выслушивать ежедневные оскорбления. Разве это нормально, когда женщина после двадцати лет совместной жизни заявляет: «С Райнвайнами необходимо всегда быть начеку! Даже когда спишь, нужно следить краем глаза и слушать вполуха»?!

Дорогой Эмир, я вовсе не немецкое дерьмо и не сукин сын, я обычный мужчина с неплохой журналистской карьерой, мужчина, который хочет жить в мире и наслаждаться миром. К чему мне все эти скандалы? Я умоляю тебя помочь мне решить мою проблему: все можно урегулировать путем выкупа моей части квартиры. На эти деньги я смогу приобрести себе небольшое жилище в Герцег-Нови, и, что самое важное, я

смогу там лечить свой tennis-elbow, который мучает меня и грозит превратить в инвалида. Ты, наверное, не сразу поймешь мою проблему, поскольку, когда я говорю о tennis-elbow, ты, прекрасно зная, насколько я увлечен теннисом, можешь подумать, что я просто капризничаю в эти тяжелые времена.

Но это вовсе не так, мой Эмир. Теннис — это моя жизнь, а не просто развлечение.

* * *

Смерть Бибы Кустурицы раз и навсегда положила конец драматической напряженности, царившей в квартире в доме номер 6 на площади Теразие, и Любомир Райнвайн без труда продал квартиру, расположенную в самом центре Белграда. Славенка Комарица, дочь Бибы от первого брака, не препятствовала продаже квартиры. Что касается вещей своей матери, она не захотела их брать. И как поступить по-другому, когда Райнвайны, по словам Бибы, в свое время уже подали дурной пример: «Эти немецкие свиньи унесли даже аккордеон Славенки!»

— Все остальное меня не интересует. Забирайте все, что считаете здесь своим, — заявила Славенка своему отчиму.

И тогда из квартиры было вывезено все, вплоть до последней прищепки на веревках, где покойная сушила белье. Въехал новый владелец, и дядя воплотил в жизнь свою мечту поселиться на Адриатическом побережье, а моя тетя продолжила жить в моих мыслях. В моей памяти часто всплывали картинки из прошлого, связанные с этой квартирой. Невидимые для нового жильца, они, тем не менее, были очень реальными. Даже после своей смерти Биба продолжала наполнять жизнью это место. Утверждение моего отца: «Смерть — это непроверенный слух» — нашло себе очередное подтверждение.

Заметки об «Андерграунде»

В 1994 году умер Федерико Феллини[98]. В том же году в столице Соединенных Штатов было подписано соглашение о создании Хорватско-мусульманской федерации. Когда я узнал, что конституция этой федерации была составлена в Вашингтоне, у меня возник вопрос: не станут ли в будущем основные законы всех стран создаваться в американской столице?

В связи с этим событием президент США Клинтон упомянул хорватского писателя — «фра Ивана Юкича»[99]. Ему захотелось украсить литературой подписание соглашения о боснийской Хорватско-мусульманской федерации, процитировав автора, писавшего о любви в Боснии. Это еще раз доказывает, что у американцев явные проблемы с общей культурой. Или, быть может, все дело в их цинизме?

В Боснии существует лишь один «фра». Его имя — Иво. Его фамилия — Андрич, а не Юкич. И те, кто при ратификации соглашения называют Балканы трагической территорией, вряд ли что-либо в этом смыслят, если не читали ни строчки из Андрича.

* * *

Мой кинематографический отец умер. Это событие стало для меня намного важнее, чем падение Берлинской стены для западной цивилизации, — а ведь объединение Германии означало разрушение Югославии. Смерть Феллини сделала нас, его учеников, сиротами на закате XX века. Эстетика, унаследованная от нашего киноотца, подверглась всевозможным потрясениям. Как научиться жить в мире, где красота, добро и благородство превратились в устаревшие, никому не нужные понятия? Рынок и научная культура начали процесс разрушения идеалов.

* * *

Сенка приспособилась к жизни в нашем маленьком нормандском сообществе. Всю свою жизнь она гордилась тем, что создала собственный домашний очаг, поскольку после свадьбы не жила вместе со своими сестрами, зятьями и родителями в их общем семейном доме. Мисо, Лела и Сенка были у себя дома под нашей крышей, но тем не менее иногда они говорили:

— Как чудесно иметь собственное жилье, свою маленькую

свободу!

Поскольку дом — это не просто строение, как думают некоторые. Это не только площадь, состоящая из квадратных метров, как воспринимает дом современная архитектура. Невидимая нить соединяет дом с человеком. Это не имеет физического воплощения, как скорлупа у улитки или моллюска, но домашний очаг, вне всякого сомнения, является неотъемлемой частью человеческого существа. Если человек теряет свой дом и разоряется, его крах измеряется прежде всего потерянным домом. Это подобно гнезду, которое вьют птицы. Когда на ветке или на крыше дома еще нет гнезда, птица держит его образ в голове, точно зная, каким оно будет. Ей не нужно много времени, чтобы построить его. То же самое происходит с людьми, даже с теми, у кого нет шансов когда-либо обрести крышу над головой.

Дома представляют собой самые большие театры жизни: когда-то это были пещеры, сегодня — небоскребы или имения. Там творится история человека, семейная драма, а у бездомных все это происходит в голове.

Нити, связывающие Сенку, Мисо и Делу с их домами, были навсегда разорваны. Они не переставали чувствовать себя изгнанниками, поскольку понимали, что никогда не вернутся в Сараево. Что происходило в их душах, какие бури там бушевали?

В Париже даже простой переезд с одной улицы на другую вызывает у людей сильнейший стресс.

Мисо покинул свой дом лишь с одним блоком сараевских сигарет «Дрина», а Дела едва успела положить свой домашний халат в пластиковый пакет. Между тем, в отличие от других наших родственников, в докторе Леле Кусеч не было ничего от консерватора. Своими манерами она нередко напоминала мне панка конца шестидесятых годов. Когда журналисты спросили ее, смогла бы она снова жить в Сараеве после того, как была разграблена ее квартира в Косеве, она ответила:

— Пусть те, кто не знает этих людей, отправляются туда и живут вместе с ними, это их личное дело!

Проникнув силой в их квартиру, некий Алия де Нахорева, обнаруживший на письменном столе Мисо Мандича маленький норвежский флаг, воскликнул:

— Здесь жил четник Мисо Мандич! Нужно их всех перестрелять!

Сенка находилась в лучшей ситуации, поскольку жила в Герцег-Нови, но, в отличие от Лелы, она осталась одна.

Сенка не смирилась с тем, что никогда больше не увидит своего мужа. Целыми днями она наводила чистоту в нашем доме в Нормандии, вычищала двор, жалуясь на периодически

охватывающую ее дрожь.

Однажды, принимая душ, она случайно обнаружила на своей груди небольшое уплотнение. Доктор Лела Кусеч неодобрительно покачала головой, и два дня спустя известный французский онколог диагностировал рак груди.

За свою жизнь я пережил множество драм, какие только можно встретить в великих романах. Но эта война давалась мне гораздо болезненнее, чем если бы я находился в Сараеве под бомбами и пулями.

* * *

Сенку прооперировали, и в очередной раз она подтвердила исключительную силу характера. Только на этот раз речь шла не о том, чтобы приклеивать шипы от роз к электрическим лампочкам в лифте. Теперь ей предстояло самой идти по этим шипам. В больничных приемных повторялись сцены из моих фильмов. Сколько раз я снимал визиты родственников к больным в коридорах больниц! Теперь я приходил сюда не для того, чтобы снять киноэпизоды. Эта была моя жизнь.

Сразу после операции Сенку перевезли со второго этажа больницы на первый. Когда я обнял ее, восхищенный ее храбростью, она тут же спросила у Майи:

— Невестушка, нет ли у тебя сигаретки?

Майя без колебаний встала на сторону своей только что прооперированной свекрови. Она прикурила две сигареты и протянула одну из них Сенке. В запрете на курение Майя видела еще одно издевательство со стороны международного сообщества.

— Ты только вдумайся: они травят нас миллионами своих автомобилей и доменных печей, они сбрасывают на нас бомбы, кормят гнилым мясом и возмущаются по поводу сигаретного дыма?! До чего же лицемерна цивилизация!

* * *

То, что Сенка выкурила одну сигарету, было хорошим знаком, несмотря на вред табака. Позже, когда ей пришлось проходить курс химиотерапии и облучения, она настояла на том, чтобы ей оставили ее волосы. Она наотрез отказывалась бриться наголо. Перед каждым сеансом ей клали на голову пакет со льдом, поэтому ее волосы остались нетронутыми. По окончании процедур она регулярно отправлялась по магазинам,

расположенным на окраине Парижа. Это мне напоминало время, когда мы жили в доме номер 9 по улице Каты Говорусич и когда после рабочего дня на факультете гражданского строительства, переделав все домашние дела, она шла пешком до Илиджи. Она так часто проделывала путь из центра в пригород Сараева — Илиджа находился в одиннадцати километрах от центра, где мы жили, — что у местных торговцев вошло в привычку спрашивать у нее: «Как дела у нашей соседки сегодня?»

После смерти моего отца мать больше не черпала энергию в своем биологическом инстинкте выживания. Хоть она об этом никогда не говорила, но теперь признавала свою зависимость от мужа и привязанность к нему, поскольку он был неотъемлемой частью ее жизни. При жизни Мурата Сенка покорялась его боевому духу, но только после его смерти поняла, что образ жизни и даже политические взгляды ее мужа вели к их взаимному раскрепощению. Несмотря на постоянные перепалки, вызванные стремлением Мурата все свести к политике, она часто убеждалась в правильности суждений и прогнозов своего мужа.

Мурат был единственным из семьи, кто предсказал, как будут развиваться события после смерти Тито, а также сообщил о грядущей войне в Югославии. Со своей привычкой будить жену в неурочный час, когда в мире происходило какое-нибудь важное событие — как, например, когда Насер перешел от русских на сторону американцев, — мой отец развил в ней способность к здравому суждению. Во время раскола Югославии Сенка ни на секунду не забывала, что это было то самое югославское государство, отныне погребенное под слоем забвения, которое стало горнилом нашего семейного раскрепощения и блестящей государственной карьеры ее отца. Она выросла в семье, где научились умалчивать о своих политических взглядах — с тех пор как ее отец, полицейский города Вакуф Королевства Югославия, чудом избежал смерти.

Мурат был первым партизаном, которого она встретила в своей жизни, и именно за него она вышла замуж. Она не могла забыть о таком повороте судьбы. По окончании военных действий Сенка в последний раз поговорила со своей знакомой из Сараева, которая отказывалась разделить поровну политическую ответственность за развязывание войны в Боснии. Сенке удалось связаться по телефону с Ханумицей Пипич, в саду которой мы не раз проводили летние ночи в Сараеве.

— Господи, что же они с нами сделали?! — сокрушалась Сенка.

— Ну, не все же виноваты… — ответила Ханумица.

— Как это — «не все»? Все трое! Они все друг друга стоят! —

воскликнула Сенка, имея в виду Изетбеговича, Караджича и Туджмана.

Ее приятельница амнистировала Изетбеговича. Что касается Франьо Туджмана, ей было на него плевать. Сенка восприняла это как оскорбление, даже если нередко мне повторяла:

— Боже мой, Эмир, мусульманам столько пришлось пережить, как и предсказывал Мурат!

Она вспомнила, что накануне первых демократических выборов мой отец не раз подчеркивал опасность сборищ, на которых сторонники политики Изетбеговича угрожали отомстить за невзгоды, перенесенные мусульманами в период Королевства и Второй мировой войны. Чтобы перестать расстраиваться и ссориться с друзьями, Сенка решила больше не подходить к телефону. В том числе, когда звонила ее собственная сестра, с которой она была не очень близка, но о которой регулярно узнавала новости, далеко не веселые.

— Произошли серьезные события, мой Эмир. Эта война была развязана не просто так, весь наш привычный мир утонул в крови. Слава Господу, твои внуки будут жить в мирное время. Я не могу принять называемые ими причины страданий и в то же время не стану отрицать, что они действительно страдали! — ответила она, когда я заметил, что принятое ею решение не подходить к телефону лишено здравого смысла.

— Не у всех кожа да кости, кое-кто может похвастаться неплохой задницей! — сказал я, намекая на одну семейную историю, поскольку хотел вернуть ей хорошее настроение и улыбку.

Иза, сестра Сенки, после смерти их брата Акифа переехала к своей дочери Сабине. Именно там, в квартире Белавы, ее застала война. Она продолжала бороться со своим весом, хотя и утверждала, что как в военное время, так и в мирное ела как птичка.

Сенка вспомнила, как полезен ей был избыточный вес ее сестры Изы на улице Каты Говорусич. Когда Сенке надо было постирать китайский ковер, в итоге избежавший акции по спасению ценных вещей от быстрого и неумолимого разрушения, она всегда звала свою сестру на помощь. Сенка наполняла водой ванную, и тетя Иза всем своим весом топтала ковер до тех пор, пока вода не становилась черной от грязи.

Эта же самая дородность, приносившая столько пользы семье в мирное время, спасла жизнь моей тети в период войны.

Во время обстрела Сараева осколок снаряда залетел на улицу Белавы, где спала Иза. К счастью, он промазал мимо цели и воткнулся в зад моей тетушки…

— Ты хочешь сказать, что задница моей сестры спасла ей жизнь? И тебе не стыдно? Где ты откопал эту историю? — возмутилась Сенка.

— Эдо рассказал!

В итоге Сенка от души посмеялась над спасительными свойствами человеческого зада в военное время, но очень быстро ее веселье сменилось болезненной грустью, навеянной долгой разлукой с сестрой.

* * *

В тот период я пытался оживить в памяти свои воспоминания и до конца познать свои истоки. Я принялся писать истории, этакие картинки из прошлого, которые позволяли мне хоть как-то отвлечься от тревоги, тяжким грузом лежавшей на сердце. Факты, изложенные в моем рассказе «Земля и слезы» (с него начинается эта книга), опубликованном в белградском журнале «Нин», не понравились тете Изе. Она сообщила мне об этом в своем письме, которое я считаю нужным привести здесь не только как подтверждение того, что она действительно спаслась благодаря собственной заднице, но прежде всего из-за его трогательного стиля и волнующего содержания.

Я так и не показал это письмо своей матери.

Дорогие Сенка и Эмир.

Пользуюсь случаем, чтобы послать вам это письмо через Дуню. Я писала Сенке во время войны, но ни разу не получила ответа.

Я совсем недавно узнала о первой операции Сенки, и вот уже случилась вторая. Больше всего меня интересует, как она себя сейчас чувствует. Она часто мне снится, я постоянно о ней думаю. Как твои дела, Эмир? Как твоя семья? У нас дела идут с переменным успехом. Война нанесла травмы всем нам. На Сараево обрушились миллионы снарядов. Десять тысяч сараевцев погибли, из них две тысячи детей. Меня тоже задела шальная пуля в 1993 году, в два часа ночи. Она залетела в окно, по счастью, я спала на боку. Иначе меня бы уже не было в этом мире.

Вчера просматривала в рубрике происшествий фамилии погибших и наткнулась на Хидаета Калкича и Владо Браковича. Мы с Хидаетом приходили встречать

вас с матерью из роддома в 1954 году.

В ежедневной газете «Дани», выходящей в Сараеве, я увидела заголовок твоего рассказа «Второе крушение «Титаника»». Я сразу же прочла текст, поскольку мне интересны все статьи, рассказывающие о тебе.

Мне не понравилось, как ты написал о свадьбе Деда, я хочу сказать, что все это неправда. Прежде всего, у Деда не было братьев, только две сестры: Зейфа и Иза. Моя тезка Иза умерла в юности, а Зейфа дожила до преклонного возраста. Дед не раз рассказывал мне, что у Нуманкадичей в каждом поколении рождался лишь один мальчик. Его дедушка был единственным сыном, затем отец, сам Дед, Акиф и наш Эдо — последний, также единственный мальчик в семье. Это чистая правда, мой Эмир, ведь я хорошо знаю историю нашей семьи, поскольку, выйдя замуж, я прожила с ними более десяти лет.

Часто Мать рассказывала мне о приключениях, связанных с ее замужеством, а женщина по имени Хатидза Хаджиахметович, участвовавшая в похищении, приезжала к нам в гости. Она говорила мне, что Мать заигрывала с Дедом из своего окна и что в женихах у нее недостатка не было, поскольку она была очень красивой и из знатной семьи. Перед их свадьбой Дед сказал ей: «Ханифа, я знаю, что у тебя много претендентов, но они в большинстве своем торговцы, а торговля — дело ненадежное: в любую минуту можно разориться. А я — государственный служащий, мне зарплата всегда гарантирована. Если я умру раньше тебя, ты даже будешь получать пенсию».

Когда Дед умер и Мать получила свою первую пенсию, она рассказала мне об этом.

Поговорим немного о городе Доньи-Вакуф, который был в ту пору небольшим поселком. В нем было два главных квартала: Нижний и Верхний. Дед жил в Нижнем квартале, его семья владела двумя домами. Я по сей день их хорошо помню. И поскольку он был госслужащим, то жил безбедно.

Мать жила в Верхнем квартале, к которому нужно было подниматься по холму. Семье Матери принадлежал дом с двором и садом, который они возделывали. У них была также летняя резиденция, расположенная по пути в Травник, — большое владение с фруктовыми садами, богатыми яблоками, сливами, грушами и множеством

других фруктов.

Теперь перехожу к свадьбе Матери. Она условилась с Дедом, что он придет за ней в одну из ночей, когда ее родственники должны будут уехать за город и с ней останется одна сестра. Она приготовила свои вещи в другой комнате, чтобы не привлекать внимания. В это время Дед ждал ее с Хатидзей в фиакре у подножия холма. Мать улучила минутку, пока ее сестра молилась. По окончании молитвы сестра встала с колен и, обнаружив, что в доме никого нет, разрыдалась: «Мою сестру Ханифу украли!»

Итак, мой Эмир, там не было ни брата Деда, ни пистолетов, как ты пишешь в своем рассказе. У Деда даже детской рогатки не было. Он никогда не увлекался оружием и был совершенно неспособен угрожать сестре и старой матери Ханифы пистолетом.

В Вакуфе Акиф родился в 1920 году, а я — в 1924-м. Дед, как государственный служащий, был впоследствии переведен в Бугойно, где родилась Сенка. Там мы жили до 1939 года, пока Дед не получил новое назначение в Прозор. Мой брат Акиф учился в средней школе в Банье-Луке, закончил Торговую академию, и, когда нашел работу в Сараеве в 1941 году, мы все поехали с ним, поскольку там было спокойнее. Продолжение тебе известно.

Дорогой Эмир, я бы никогда тебе этого не написала, если бы ты сам не затронул эту тему. Если Сенка чувствует себя неважно, разорви это письмо, чтобы лишний раз ее не волновать. Я бы предпочла, чтобы ты прочел его один, поскольку речь идет о твоих Дедушке и Бабушке.

Любящая вас Иза.

* * *

Любовь моей тети Изы к своим родителям, которая выражалась в том, что она писала о них с большой буквы, тронула мою душу, так же как ее стремление установить истину. Неуловимая грань между тем, что произошло на самом деле, и тем, чего не было, породила чудеса. История похищения нашей Матери вовсе не является плодом моего воображения. Ее рассказывал мой дед маленькому мальчику, которым я тогда был, пока Мать готовила нам слоеный пирог. Возможно, он рассказывал ее, чтобы позабавить нас с Матерью? Я не знаю. Она

слушала рассказ, приправленный кинематографическими эффектами, такими как пистолеты и прочие аксессуары. Дед развлекал нас, меня и нашу больную Мать. Прочитав письмо моей тети, я сделал вывод, что в загадочной улыбке Матери и взглядах, которые она бросала на Деда, уже тогда скрывалось то, о чем написала мне тетя Иза, но также и радость от того, что эта версия их свадьбы приносила столько удовольствия их внуку.

После ухода из жизни их брата Акифа смерть и похороны стали ежедневной темой разговора двух сестер. Тетя Иза не хотела, чтобы ее кончина застала врасплох ее дочерей, Аиду и Сабину, став дополнительной обузой для их и без того скудного бюджета. Поскольку дядя Акиф был похоронен на участке в Бараме, Иза настаивала на том, чтобы его эксгумировали и на этом месте сделали семейную могилу. Так она избавляла своих детей от расходов на похороны, деля могилу между несколькими членами семьи. Но Дуня Нуманкадич сразу воспротивилась этой идее:

— Никто не посмеет нарушать покой моего отца! Я даже думать об этом не хочу!

В итоге смерть унесла тетю Изу, подтвердив ее опасения.

Накануне войны Сенка, чтобы помочь сестре, оставила ей свою пенсию служащей факультета гражданского строительства. Несмотря на благодарность, тетя Иза не смогла удержаться от комментария:

— Тебе хорошо, твой Эмир может похоронить тебя хоть в золотом гробу. А что будут делать мои бедные дети?

— Ради бога, Иза, они похоронят тебя, как смогут! Нам что, не о чем больше поговорить?

— Сенка, меня охватывает паника, ночью я не могу сомкнуть глаз: я боюсь земляных червей!

— Каких еще червей? — спросила Сенка.

— Они похоронят меня по мусульманскому обычаю, потому что так дешевле! Для меня это неважно, но я не могу спать по ночам при мысли, что меня просто завернут в простыню и мое тело сожрут черви!

В 1996 году, в конце войны, тетя Иза умерла и была захоронена так, как опасалась при своей жизни. Ее дети сделали это вовсе не из плохих побуждений. Просто это было частью их мусульманской веры, подкрепленной войной.

* * *

В отличие от подавляющего большинства членов моей семьи,

склонных вести оседлый образ жизни — до такой степени, что их даже настигал осколок снаряда в собственной кровати, — меня не могла догнать ни одна пуля.

Я постоянно мотался между Парижем и Нью-Йорком, последний семестр читал лекции студентам Колумбийского университета и готовил вместе с Душаном Ковацевичем «Андерграунд». Майя преодолевала этот сложный период как настоящая героиня. Она даже сдала экзамен на право вождения, несмотря на то что боялась садиться за руль. Ей удалось победить страх своего отца перед торжественными моментами, который сбросил Мисо с его мотоцикла. Она вела хозяйство, воспитывала Дуню и Стрибора, отвозила их в школу, а Сенку — на сеансы химиотерапии. Я был уверен, что для меня единственным способом противостоять войне было продолжать свою личную борьбу. И в моем случае этой борьбой были съемки фильма. В очередной раз я вспомнил Иво Андрича. Он ведь тоже оказался в стороне от войны. И свои ключевые произведения создал именно в период Второй мировой войны.

* * *

После скандала с «Аризонской мечтой» я стал персоной нон грата для страховых компаний и для *«Finance Film»*. А без них мне не представлялось возможным осуществить ни один кинематографический проект. Поэтому мне требовалось найти продюсера, желательно состоятельного человека, которому не пришлось бы выпрашивать банковские ссуды и кредиты. В то время большинство моих коллег считали, что моей карьере пришел конец, поскольку я не раз покидал съемки и вышел далеко за рамки бюджета. Именно тогда произошел счастливый поворот событий, как это часто случалось в моей жизни. «Бинго!» — сказали бы сегодня. Моим спасителем оказался французский магнат *BTP*[100] Франсис Буиг. Несколько лет назад, когда мы еще жили в Нью-Йорке, этот миллиардер уже направлял ко мне Пьера Эдельмана, чтобы довести до моего сведения: самый богатый человек Франции хотел бы финансировать один из моих фильмов. Вместе с женой он смотрел «Время цыган» и вроде бы даже плакал.

— Как вспомню, скольких трудов мне стоило снять этот фильм, у самого слезы наворачиваются! — сказал я Буигу в его парижском особняке, соседствующем с президентским дворцом.

Эдельман неоднократно повторял мне фразу, непривычную для того времени:

— Имей в виду, старик не шутит. Снимай все, что хочешь, и столько времени, сколько потребуется. Он баснословно богат, ему не хватает лишь «Золотой пальмовой ветви» и славы победителя на Каннском фестивале.

Когда шесть лет спустя Франсис Буиг умер, никто по телевидению не упомянул о его богатстве. Никто не озвучил, сколько у него было денег на счетах. И это мне понравилось. Было сказано лишь, что ушел из жизни «человек, построивший ядерный реактор в Иране и хранивший у себя дома под стеклом «Золотую пальмовую ветвь»».

* * *

Вслед за «Андерграундом» меня тоже затянуло в водоворот войны, отголоски которой доносились до меня ежедневно. Попав в открытую рану моей души, вирус этого несчастья проник в мое сердце.

Телевизионные новости, игравшие главную роль в этой войне, продолжали выдавать ложь за правду. Все очевиднее становилась диспропорция между реальностью и вымыслом. Между правдой и ложью! Лгали все. Американцы, англичане, немцы, сербы, мусульмане! Всего через пять дней после начала войны телеканалы, более быстрые, чем пуля, выпущенная из автомата Калашникова, сообщили о 250 000 погибших! Складывалось впечатление, что кто-то запланировал эту цифру и делал все возможное, чтобы ее достичь. Даже гитлеровской Германии не удалось добиться таких результатов в начале военных действий. Дезинформационный бум достиг своего апогея.

* * *

Уникальный опыт, пережитый в годы правления Тито, и особенно в период, последовавший за его смертью, требовал своего отражения в фильме. К тому же я повторял себе без ложной скромности, что сам Иво Андрич написал свои самые важные произведения во время войны, и не только потому, что она свирепствовала у него на глазах, разрушая его иллюзии. Фильм «Андерграунд» вовсе не является биографией Тито, главного символа нашей трагической эпохи. Это рассказ о трагедии тех, кто верит всему, что показывает телевидение. Иначе говоря, это фильм о пропаганде.

* * *

Все, кому доводилось размышлять о феномене Тито, спрашивая себя, кто же на самом деле этот человек: Иосип Броз Тито или лжецарь Стефан Малый?[101] — даже не догадывались, что поднимают полные трагизма вопросы, связанные с характером нашего народа. Ведь настолько странным является тот факт, что он, даже не владевший языком народа, которым управлял, был не только прославлен, но и возведен в ранг божества. На этом история о Тито заканчивается. Теперь следует поговорить о нас самих. Поскольку главное состоит не в том, кто такой Тито и откуда он взялся, а в нашей собственной сущности.

* * *

Тито не создавал мне психологических проблем, как это было в случае с моим отцом. Единственной ощутимой связью между мной и президентом было пионерское движение, давным-давно упраздненное. Поскольку я больше не был пионером и, к счастью, мне удалось избежать Союза коммунистов Югославии, я относился к нему, как представитель чешского народа.

* * *

Когда-то экран нашего телевизора был мишенью для плевков моего отца, который таким образом демонстрировал свою неприязнь к товарищу Тито, большевистскому монарху. Однако, что бы ни говорил об этом человеке мой отец, следует признать: при нем наше государство провело целых полвека без конфликтов. Для Балкан это является настоящим подвигом. Не будем также забывать, что все эти компромиссы, принесшие столько бед сербскому народу, не могли бы превратиться в преступные действия без нашего соучастия. Включая «Голи-Оток» и Косово. Критики Тито твердили, что его успехи представляли собой лишь ничтожную часть мирового прогрессивного процесса и были следствием ситуации, в которой его политическая гибкость не играла никакой роли, но я не разделяю этого мнения. Ведь он очень быстро понял, что в условиях, когда речь идет о мировом распределении доходов от военной экономики, экономического роста невозможно достичь без ответа на вопрос: «Где мое место в этой истории?» Ему разрешили производить и продавать оружие воюющим участникам блока

неприсоединившихся государств. И он стал одним из лидеров в этой области!

* * *

Период его правления был единственным в истории нашей страны, когда доходы в государственный бюджет достигли нескольких миллиардов долларов в год. Из этих доходов родился средний класс, который, шагая в ногу с Европой, поддерживал культурную, спортивную и научную сферы на уровне стран, расположенных к западу от Альп.

Несмотря на эти заслуги, жизнь товарища Тито служит подтверждением того, что не только строители могут возводить здания без разрешения. Мошенничество также является неотъемлемой частью жизни маршала Тито. Он вступил на территорию Балкан во время Первой мировой войны в качестве вражеского солдата. Неважно, где он родился: в хорватском Кумровеце, за Карпатами или бог весть где еще. Важно то, что, будучи австрийским капралом, он стрелял в наших патриотов! Мы понесли внушительные потери: около двух миллионов человек погибли. Впоследствии, демобилизовавшись из побежденной в Первой мировой войне австро-венгерской армии, он вновь появился на Балканах во время Второй мировой войны, но уже на стороне победителей. События сменяли друг друга, как в телевизионном сериале. Используя Россию, он прибыл к нам, чтобы организовать сопротивление немцам. Бывший австрийский капрал сумел удержать хрупкое равновесие между русскими и англо-американцами. Вскоре немцы выпустили приказ о его аресте как предводителя партизан, а также об аресте Дразы Михайловича, командующего четниками. Тито удалось ловко стереть образ Дразы с этой страницы истории, так что в итоге он оказался единственным, кто сражался с немцами. И никто так и не понял, каким образом четники, впоследствии обвиненные в сговоре с оккупантами, могли сотрудничать с немцами. Как эти «подлые изменники» умудрялись совершать предательства, оставаясь в глубине лесов и даже не пересекаясь с врагом? В погоне за покровительством Черчилля Тито обошел Дразу Михайловича. В конечном счете англичане отыскали прокол в биографии Дразы: он верил в панславизм[102] любил русских и был членом панславистской организации в Болгарии. Этого англичане ему не простили.

* * *

В послевоенные годы Тито лучше других изучил тонкости ведения «холодной войны». В первые же дни освобождения он велел расстрелять Дразу Михайловича, патриота, который сражался против него во время Первой мировой войны, а во Вторую мировую воевал в сербской королевской армии, которую предали англичане. Приход к власти Тито стал подтверждением господства англо-американцев на Балканах и их страха перед русским присутствием в Европе. Ему было достаточно это понять — и особенно угадать, какими мы можем быть подхалимами. Половина работы была сделана. Что касается пропаганды, используемой Тито по всей Югославии, она в полном объеме представлена в «Андерграунде».

Смерть Тито лишний раз доказывает, до какой степени его жизнь была полна лжи. Он погребен на чужой земле, что окончательно подтверждает двойственность его натуры. Еще ни разу в новейшей истории Европы захоронение Президента Республики не происходило в таких, не соответствующих нормам условиях. Его останки погребены во владениях г-на Ацовича, архитектора, члена Крунского совета[103]. Последний путь Тито не предназначен для Истории. Он похоронен в безликом саду, поскольку провел всю свою жизнь на чужбине. Поэтому он — всего лишь эпизод в долгой череде несчастий нашей истории. Эпизод, который мы, тем не менее, любили. Ведь нельзя отрицать, что он поднял уровень жизни граждан нашей безнадежной страны.

Если целый народ смог поверить этому человеку и последовать за этим предводителем с акцентом далекой и неизвестной страны, почему бы зрителям не поверить в историю «Андерграунда»? В этом фильме обыгрывается судьба горстки людей, запертых в подземелье. С целью их эксплуатации им не сообщают, что Вторая мировая война закончилась. Им предоставляют механизм пропаганды, безукоризненно работающий в замкнутом пространстве. Узники считают, что на поверхности власть находится в руках фашистов, но что однажды обязательно наступит освобождение. Если вспомнить о привычных методах власти, то эта ситуация не лишена реальных оснований. Единственным отличием является то, что в реальной жизни поле деятельности имеет более четкие контуры. Еде на самом деле господствует фашизм? Внизу, в подполье, где сидят люди, уверенные, что война еще продолжается? Или все-таки наверху?

Человек способен принять подобную ложь, только если она уже циркулирует в его организме, подобно антителам, будь то история Тито или «Андерграунда». Люди лгут с тех самых пор,

как начали говорить правду. И им было бы сложно понять, что такое правда, если бы они не лгали. Проблема состоит в том, что сегодня понятие правды уже не столь привлекательно в мире, где инстинкт воспроизводства по Фрейду и инстинкт выживания по Юнгу были заменены деньгами и торговлей — новыми движущими силами человеческих начинаний.

Такая правда несколько скучновата и не подходит большинству жителей нашей планеты: всем давно известно, что она оказала не слишком большое влияние на жизнь людей и еще меньшее — на ход истории.

* * *

И все же, как настолько невероятная история, как наша, могла стать возможной? «Андерграунд» и преследуемые им цели подтолкнули меня к раздумьям над другой устаревшей темой человеческого прошлого. Передо мной встали вопросы нравственного толка: в истории «Андерграунда», основной движущей силой которого стало содержание людей в подполье и использование дезинформации для того, чтобы внушить им, что война не окончена, я усмотрел прежде всего преступление против нравственности.

Кто в нашей истории способен достойно объяснить понятие нравственности и ее предназначение? Когда-то это были толкователи Ветхого Завета, поэты Марко Милянов и Ньегос. Впоследствии наши современники принялись утверждать, что мучительные проблемы нравственности воплотились в исканиях героев романов. Но за пределами литературы и кинематографа одержала верх совсем другая нравственность. Повсюду, от футбольной команды до верхушки государственной власти, установился закон, основанный на советах, размещаемых в воскресных журналах для мастеров на все руки: «Сделай своими руками» или «Сам себе мастер». Вот что стало с нашей нравственностью, и все это происходило постепенно. Церковь и теоретики всегда находились за пределами реальности, в которой жило, росло и воспитывалось большинство населения. В итоге идея нравственности осталась уделом одной лишь знати. Необходимость в нравственности улетучилась вместе с идеализмом. Когда идеализм превратился у современного человека в порок, исчезла и нравственность.

* * *

Я вырос в квартале, где рядом с домами чиновников администрации и квартирами военных соседствовала цыганская нищета. В таких условиях жизни ложь не являлась нарушением нравственности. Но я учился в Праге, в одном из культурных центров Европы. Там понятия правды и лжи были совсем другими. После учебы передо мной была вся жизнь для сравнения.

Балканцы живут одной ногой на городском асфальте, другой — увязнув в крестьянской грязи. Когда они бросают кому-то: «Эх ты, деревня!», они делают это, стоя на одной ноге, той, что находится в городе, разумеется. Но оскорбление далеко «не уходит», поскольку так они оскорбляют сами себя. Вторая нога, утонувшая в грязи, показывает, насколько поверхностна связь ее городского близнеца с нравственностью и своими истоками: ей невдомек, что все, что идет от ее крестьянской сестры, является их общим историческим капиталом.

* * *

В небольшой деревушке по соседству с городом Узице, что в Центральной Сербии, на вопрос «Что такое нравственность?» крестьяне лишь растерянно молчат. Они ждут, что кто-нибудь подскажет им правильный ответ. Вероятно, это связано с психологическими травмами, полученными в школе, куда их тащили силой. Поскольку подсказки не следует, они молчат еще несколько секунд, пока кто-нибудь из них не произносит:

— Нравственность — это то, как следует поступать!

И когда их спрашивают: «А что такое безнравственность?», все дружно делают логический вывод:

— Безнравственность — это то, как поступать не следует!

Несмотря на все наше воображение, мы не в состоянии понять реальное значение этого заявления. Даже самые изощренные умы нашей страны вряд ли смогли бы дать столь замечательное определение нравственности. И логика такой нравственности вполне вписывается в каноны самой мощной экономики мира. Кто бы мог подумать, что в окрестностях Узице можно услышать наилучшее определение такого сложного понятия, как нравственность?!

* * *

Это языческое понимание нравственности позволило

сербскому крестьянину избежать многих хлопот и усилий. В наше время уже доказано, что понятие нравственности проистекает не из книг, не из дебатов по Ветхому Завету, не из философских дискуссий об этических принципах, а именно из языческой практики. У крестьянина из деревушек, окружающих Узице, не было ни своего Канта, ни Гегеля, ни учебников по истории, наполненных нравственно-правовыми принципами, у него, в сущности, не был сформирован даже собственный взгляд на жизнь. Робко спрашивая себя: «Где мое место в этой истории?», он продолжил витать между основными правилами и Богом, в котором у него были некоторые сомнения, в которого он верил немного или не очень, но которого продолжал чтить, празднуя день семейного святого и зажигая в его честь свечи. Он делал это испокон веков, еще в эпоху с множеством богов, предшествующую появлению единого Бога.

* * *

В Соединенных Штатах люди уже давно пытались убить своего Бога, но поскольку им это не удалось, они решили отвести ему определенную роль. Это произошло в повседневной жизни, а также в ходе развития науки. Потребность уничтожить Бога становилась все более настоятельной по мере продвижения научного прогресса, несмотря на тот факт, что самые крупные ученые, как правило, были верующими людьми. Этот Бог больше не укладывался в рамки новых концепций. Отделившись от католического Бога, он отчалил в открытое море от атлантических берегов Европы, чтобы высадиться в Америке, где обосновался на Восточном побережье. Там, в результате бурной истории, геноцида индейцев, жестокости капитализма, а также Гражданской войны, этот Бог пережил несколько покушений на свою жизнь. В конечном счете он нашел убежище в Голливуде, где и живет по сей день. Американскому Богу торжественно была присвоена роль главного актера, а значит, самой главной кинозвезды среди всех кинозвезд. Он восседает на вершине пирамиды, откуда, подобно другим кинозвездам и святым, служит новой цивилизации. В итоге ему пришлось признать, что новая эпоха науки создала нового язычника хай-тек, который больше не мог верить в классического Бога. И тогда Бог, не мудрствуя лукаво, согласился стать *celebrity*. Он с комфортом устроился на новом месте и перестал бунтовать. В Соединенных Штатах и почти во всем мире.

* * *

Где сейчас этот крестьянин из окрестных деревушек Узице? Как сегодня он отвечает на вопрос: «Где мое место в этой истории?»? Он по-прежнему живет в своей норе и продолжает следовать собственной логике. Он ничего не знает о трудном и тернистом путешествии американского Бога, которому удалось избежать инквизиции и спасти науку от сожжения и пыток. Все это время главный толкователь нравственности в Узице продолжал праздновать день семейного святого. Что касается истории о Боге, он применяет ее в соответствии со своими потребностями. Она то близка ему, то нет. Когда американец вывел Бога из обращения, его коллеге-моралисту из Узице не пришлось ничего менять в своих обычаях и нравах. У него в течение веков все оставалось неизменным. Даже не подозревая об этом, он стал связующим звеном между американским прошлым и настоящим. Этот невероятный переворот в подходе к нравственности и ее восприятию, этот возврат к правде моралиста из Узице и новой этике в наши дни можно увидеть повсюду. Всякий раз, когда американцы готовят свою очередную бомбардировку, превратившуюся в самое крупное шоу в мире, когда вся планета, замерев, ожидает «большого бума», на первый план выходит нравственность. Чтобы защитить в Ираке комфорт своего голливудского Бога, они сначала показывают по телевидению свои военные действия, затем оправдывают себя, следуя логике крестьян из сельской местности Узице: у нас не было выбора, нам следовало провести эту бомбардировку. Сразу же после этого военная операция провозглашается «нравственной». Поскольку то, что следует делать, — всегда нравственно. По всем крупным телеканалам бомбардировки и разрушения представляются как действия, призванные защитить нравственность и цивилизацию.

И вот мы вновь возвращаемся к ответу крестьянина из Узице. Нравственность — это то, что следует делать. И сегодня американские солдаты применяют эту теорию на практике, следуя этическим принципам своего государства.

* * *

Если бы мне захотелось серьезно встряхнуться и освободить свою голову подобно тому, как крестьяне сбивают сливы с деревьев, чтобы сделать из них сливовицу, моей памяти, даже если бы она полностью освободилась, стоило бы большого труда

выложить на стол личные уроки нравственности. А это помогло бы поддержать «Андерграунд» и ответить на вопрос: «Что вынуждает человека жить во лжи?»

В детстве моя мать не расхваливала меня, как другие соседские матери. Когда какая-нибудь соседка хотела похвалить своего сына и выразить свое бесспорное восхищение поведением отпрыска по отношению к внешнему миру, она обычно говорила: «Мой Самир — проворный воришка, просто чудо, а не мальчик!»

Проблемы нравственности определялись жизнью, где царили нищета и исторические невзгоды, но также непринужденной связью с Богом. В этих условиях, когда мать ворковала нежности своему сыну в стиле «мой проворный воришка», окружающие ее одобряли. Этот «воришка» ценился обществом гораздо больше, чем образованный, порядочный и трудолюбивый человек.

* * *

История людей, веривших, что Вторая мировая война еще не закончилась, кажется мне милой шуткой по сравнению с ложью, в которой живет сегодняшний мир.

«Андерграунд» был создан, следуя от конца к началу. Прежде всего мне был известен финал, начало же пришло гораздо позже. Я хотел показать свадьбу, отмечаемую на полуострове, на берегу реки. Эта церемония должна была стать фатальным эпизодом, похожим на концовку «Пепла и алмаза» Анджея Вайды, эпилогом к драме, о которой рассказывает «Андерграунд». Выжившие герои принимаются отмечать праздник, и я вновь прибегаю к своим стереотипам, чтобы уничтожить их совершенно новым способом. Земля проваливается, и прямо у подножия стола новобрачных появляется трещина, а хлынувшая вода уносит кусок земли вместе со свадебным пиром вниз по реке. Никто этого не замечает, продолжая прыгать на столах, танцевать и есть. Так постепенно исчезает из виду гуляющая балканская компания.

Я снимал этот фильм, ощущая, как под моими собственными ногами проваливается земля. Если бы мне пришлось снимать продолжение «Андерграунда», я уже знал бы финал. На этот раз разверзлась бы не земля, а небеса. Такие мысли привели меня к краю пропасти, перед которой отчаявшемуся человеку сложно остановиться и не потерять чувства меры. Чтобы не удариться в патетику, я принялся воображать, как маленькая мышка высовывает свой нос из спортивной шиповки, унаследованной от военного во время моей короткой карьеры легкоатлета, и окидывает взглядом небесную пропасть. Ей необязательно делать

свой круг почета. Она будет исполнять роль дирижера греческих трагедий. В истории о конце света на планете Земля, в продолжении «Андерграунда», мышь спросит себя вслух:

— Где мое место в этой истории?

Прежде чем разочарованно добавить:

— Зачем же люди так бездарно растратили данный им шанс? Пусть бы своими руками рыли себе могилу, но почему должны страдать мы, все остальные?

Сын отца Диониса

В 1995 году в Париже были подписаны Дейтонские соглашения, положившие конец войне в Боснии. Милошевич, Туджман и Изетбегович заключили мир. Те же самые люди, которые втянули нас в демократию, а затем в войну, теперь вели нас к миру. Эта последняя война подтвердила слова Андрича, утверждавшего, что наши военные конфликты никогда не решат наших проблем, а лишь создадут новые, которые нам придется разрешать новыми войнами.

* * *

В том же году «Андерграунд» победил на Каннском фестивале, и я во второй раз получил «Золотую пальмовую ветвь». На этот раз мне вручили высокую награду не за то, что я внес свой вклад в операцию Запада по уничтожению коммунистических режимов в Восточной Европе, как это произошло в 1985 году с «Папой в командировке». Если бы я тогда знал, что этот фильм будет использован для того, чтобы приклеить мне ярлык антикоммуниста, я бы ни за что не стал его снимать. Те, кто присудил мне «Золотую пальмовую ветвь» в 1985 году, наверняка испытывают совсем другие чувства сегодня, когда видят, какую политическую позицию я занимаю; думаю, они вполне могли бы потребовать свою награду обратно.

«Андерграунд» был помещен в другую категорию. На этот раз мою счастливую звезду на фестивале зажгла эстетика фильма. Когда-то эта звезда впервые засияла на закопченном небосводе Зеницы. Теперь она продолжала свой путь из Венеции в Канны, в Берлин и так далее. Я склонен думать, что та эйфория, которая возникла после показа «Андерграунда» в торжественном зале Дворца фестивалей, расположила ко мне членов жюри. Один из кинокритиков даже заявил, что я — прямой потомок бога Диониса. Разумеется, он преувеличивал, но кто знает, что способны выявить сегодняшние эксперты. Я хотел скромно промолчать, но по своей глупости не удержался и ответил.

— На самом деле я — сын отца Диониса, — сказал я по-французски.

Критик бросил на меня озадаченный взгляд.

— То есть вы хотите сказать, что вы — брат Диониса? — спросил он.

— Нет, я — сын отца Диониса, — упорствовал я.

Критик некоторое время в растерянности смотрел на меня и в итоге улыбнулся:

— Даже если это лишено здравого смысла, звучит неплохо!

— Ну что ж, надеюсь, теперь вы меня поняли.

Позже я долго ломал голову, пытаясь разобраться в этой мысли, возникшей на фоне приема снотворного, смешавшегося с пивом. Такой коктейль вдвое увеличивает объем мозга, но при этом начисто лишает его способности мыслить. Для меня снотворное было единственным способом преодолеть напряженную атмосферу фестиваля. В конце концов я перестал искать разумные объяснения этому вздору и присоединился к мнению французского критика: это звучит неплохо.

* * *

Решением присудить мне во второй раз высокую награду я обязан глубокой ностальгии членов каннского жюри по творчеству таких ушедших мэтров, как Бунюэль, Феллини, Бертолуччи. В конце XX века я напоминал им о прошлом. Сегодня я четко вижу, что на мою судьбу повлияли два внешних фактора. Не буду углубляться в анализ внутренних причин. А то забреду в какие-нибудь дебри вроде Достоевского, и это будет не очень *fancy*[104]. Теперь никто и слышать не хочет об этих скрытых движущих силах, тонким знатоком которых был Достоевский. Глубины души — вечная тема, связанная с человеческим существованием… Кому это сегодня интересно? Талант Достоевского даже в России уже не так популярен, как хотелось бы. Там больше вдохновляются Толстым и Пушкиным, вслед за литературными критиками *«Times»*. Они поставили Толстого на первое место, тогда как Достоевский не фигурирует даже среди сотни величайших писателей мира! Это уже не первый раз, когда *«Times»* и русские заблуждаются, поддакивая друг другу.

* * *

Что касается меня, было ясно, что я воплотил в жизнь нескромное пожелание своего отца: «Если не можешь быть Феллини, стань хотя бы Де Сикой». Так и вышло, хотя моей начальной целью было просто не краснеть от стыда за то, что я делаю. И ничего более. Судя по всему, это стало решающим для моего успеха в кинематографии. В жизни, как и в кино, сила характера, унаследованная от моей матери, позволявшая жителям

дома номер 9 А на улице Каты Говорусич ездить в освещенном лифте, всегда меня поддерживала. Словно в упорном стремлении Сенки помешать соседям воровать лампочки уже прослеживалась моя судьба.

* * *

В *«Times»* появилось мое фото в сопровождении статьи Ришара Корли, в которой говорилось не совсем о победе «Андерграунда». Реакция журналиста полностью совпадала с той, что была вызвана в Венеции фильмом «Помнишь ли ты Долли Белл?» четырнадцать лет назад. В сентябре 1981 года по итогам фестиваля в этой же самой газете писали: «Победа присуждена фильму, появившемуся из *Ниоткуда*, снятому *Никем*…» О самом фильме рассказали очень скупо. Это была шутка в колонизаторском стиле, по сути, лишенная злого умысла, за исключением того, что она была колонизаторской. Тогда это был язык западной *cool culture*[105]. С тех пор многое изменилось. На этот раз, в 1995 году, фильм был снят *Кем-то*. Это можно было понять из отзывов критиков, несмотря на то что некоторые из них пытались отрицать этот факт. Впрочем, я сам был в их числе. Порой я тоже ставил под сомнение — к счастью, не так часто — утверждения критиков о том, что я стал *Кем-то*.

* * *

После победы «Андерграунда» в газетах осталось немного места для отзывов о фильме, поскольку на пляже возле отеля «Мартинез» разразилось настоящее сражение, ставшее более интересной темой для обсуждения. «Кинорежиссер отмечает свою победу на кинофестивале масштабной дракой!» Журналисты делали акцент на моем «дикарском» характере. «Если ты сражаешься кулаками, а не оружием, тебя называют дикарем и варваром», — гласит древняя индейская пословица. Но когда ты сбрасываешь тонны бомб, включая атомные, ты выполняешь «цивилизаторскую миссию». В тот вечер 1995 года я выполнял дионисийскую миссию. «Андерграунд» перенесся с экрана большого зала, где он получил «Золотую пальмовую ветвь», на песчаный пляж «Мартинеза».

* * *

Во Дворце мой греческий коллега Тео Ангелопулос появился мечущим громы и молнии. Он был уверен, что этой ночью среди победителей будет блистать его имя. Он был даже немного зачарован собой. Я следил на экране монитора, как он театрально поднимается по ступеням, покрытым красной дорожкой. Он сам, его актеры и члены его команды держались за руки и торжественно шли к «Золотой пальмовой ветви», словно группа фольклорных танцоров. Тео тяжело воспринял тот факт, что получил лишь Гран-при.

— Я приготовил речь для «Золотой пальмовой ветви», но сейчас ее забыл… — заявил на церемонии вручения греческий режиссер.

* * *

Двумя днями раньше этот мизантроп мучился вопросом, читая *«Herald Tribune»*. «Почему в Каннах так любят этого Кустурицу? В его фильмах люди только и делают, что пьют, едят и танцуют, что это за вид киноискусства? Где здесь скрытый смысл, в чем суть?» — спрашивал себя грек, который пытался выглядеть *cool* в своих фильмах. В действительности он вел себя так, словно родился в Гейдельберге, а не в пригороде Афин. Он снимал фильмы больше из желания показать свою любовь к немецкой философии, чем из потребности согреть человека своим творчеством. Словно ему было неизвестно то, что давно уже поняли в Голливуде: фильм длиннее, чем жизнь.

После пресс-конференции и перед встречей с фотографами моя дочь Дуня, незаметно достигшая зрелости, во время торжественных церемоний показала на Ангелопулоса.

— Эмир, будь осторожен с этим типом! — тихо шепнула она мне. — Если у него будет возможность, он утащит твою «Пальмовую ветвь». Я видела, как он смотрел на нее, пока она стояла на столе.

Я крепко держал свою награду в руке, но после предупреждения дочери я взял греческого режиссера за плечо и отвел в сторонку. Он растерялся, когда я сказал ему напрямик:

— Тео, могу одолжить тебе «Пальмовую ветвь». Если хочешь, прогуляйся с ней вокруг Дворца, но при условии, что сразу же после этого ты вернешь мне мою игрушку!

Он посмотрел на меня взглядом, полным неприкрытой ненависти, а также сожаления, что не может разбить мне нос. Что ж, его можно было понять…

* * *

Все участники дионисийского пиршества несли в себе что-то от персонажей фильма «Андерграунд». Все, что так ненавидел Ангелопулос, питая надежду победить в Каннах.

На пляж «Мартинеза» прибыла одна известная актриса, одетая в шикарное красное платье, словно принцесса, выпорхнувшая из дворца «Тысячи и одной ночи». Ее лицо притягивало взгляды всех гостей, явившихся на праздник сына отца Диониса. На этом лице лежал отпечаток невинности, взывавшей к мужскому покровительству. Она бродила по пляжу отеля с бокалом шампанского в руке. Позже она принялась танцевать в ночи, не устояв перед восточными ритмами духового оркестра Салиевича. Она быстро захмелела. И все больше становилась похожа на дионисийский идеал: одинокая женщина в ночи, пришедшая в экстаз от танца и алкоголя, готовая очертя голову броситься в страстное приключение. Пьер Эдельман, тот самый посланник миллиардера, что принес известие о финансировании «Андерграунда», составил ей компанию. Эдельман тоже был одним из победителей вечера. Теперь перед ним стояла сложная задача: как наслаждаться своей победой и одновременно защищать эту красоту, эротичность которой вовсе не являлась вульгарной чертой характера? Скорее не эротичность, а чувствительная натура и сожаление о неудавшихся ролях подтолкнули ее напиться. Пьер танцевал вместе с актрисой, пока этот танец оставался в общепринятых нормах. Когда же она растянулась на песке, Эдельман заставил себя последовать за ней и улегся рядом, улыбаясь звездам.

* * *

Эта декадентская игра могла бы продолжаться бесконечно, если бы поблизости от места событий, напоминавшего сцену из фильма «Ночь» Микеланджело Антониони, не оказался один из тех типов, что являются роковыми в такого рода ситуациях. Грубое животное, спустившееся с наших гор.

— Дружище, давай не теряйся, трахни ее прямо сейчас! Я знаю этих штучек, с ними можно не церемониться, переходи прямо к делу, — бросил Педья Д. Бой, бывшая звезда югославского рок-н-ролла.

Никто не знает, как ему удалось проникнуть на праздник сына отца Диониса. Мне кажется, что актриса не сразу заметила его присутствие. Я всегда с презрением относился к грубости этих

динарских[106] горцев, которые с ходу набрасываются на женщин, похожих на их матерей. Наша актриса стала известной далеко не сразу после первой роли. Эту популярность она приобрела в эпоху, когда слава актеров все меньше основывалась на их ролях. Ален Делон сыграл в сотне никчемных фильмов, но так и остался Рокко режиссера Лукино Висконти. Теперь эта эпоха ушла в прошлое. Поскольку актриса не сыграла ролей, по-настоящему достойных ее, ее невинное лицо осталось нетронутым. Красивая, но разочарованная и невероятно соблазнительная. Педья, имевший совершенно другие представления о непринужденности, уже видел себя сжимающим в объятиях женщину с лицом ангела. Когда он ущипнул ее в очередной раз, она наконец его заметила и испугалась. Тогда Пьер схватил бокал с шампанским и швырнул его в Педью. Вино обрызгало еще нескольких людей, и телохранители Джонни бросились на защиту очаровательной гостьи. Драка началась, когда Стрибор и Джордж поняли, что наши соотечественники, включая отвратительного Педью, должны были в тот вечер оставаться под нашей защитой, даже если изначально телохранители хотели оградить известную актрису от Педьи. После обмена несколькими ударами праздничная атмосфера вечера превратилась в настоящий кавардак. У меня перед глазами возникла сцена с картины чешского художника Йозефа Ладе, который поэтично изобразил ресторанную драку: парящие в воздухе столы, стулья, бутылки. Бесполезно задаваться вопросом, нужно ли было все это начинать. Конечно же нет, но это произошло. Так же как в итоге всегда начинается война. С той лишь разницей, что здесь не было никого, кто мог бы на ней нажиться. Столь же бесполезно было спрашивать себя, следовало ли Стрибору и Джорджу бросаться на рыцарей-защитников знаменитой актрисы, которую никто бы из нас и пальцем не тронул. Мы были старыми знакомыми, и, если бы кто-нибудь обидел ее, Стрибор и Джордж защищали бы ее, как собственную сестру.

* * *

На сцене праздника сына отца Диониса возникла настоящая свалка. Здесь было мало элементов, характерных для классического драматического произведения. Справа актер Лазар Ристовски на моих глазах отправил кого-то в нокаут. Точно так же, как он проделал это в фильме «Андерграунд». Приятель Стрибора, Мики Хрсум, только что прибывший с боснийского фронта, бил исключительно головой. Всякому, кто приближался к

нему, он наносил удар с воплем: «Получай, поганый усташ!» Когда к нему подошел сын нашей парижской знакомой, чтобы попытаться его утихомирить, Мики одарил его все тем же ударом, также обозвав «поганым усташом», хотя французский парень понятия не имел, кто такие усташи. Стрибор в это время дрался с тремя типами, непонятно откуда взявшимися. Юный Кустурица разбил их в пух и прах, но когда они все трое бросились наутек, телохранители снова бросились на Стрибора. Майя, которая все видела — в то время, как я все еще пребывал в тумане от коктейля из снотворных и пива, — устремилась к этим типам, тащившим Стрибора к морю. Мама Майя, схватившая по пути стул, ударила обидчиков Стрибора с криком:

— Это мой сын! Отпустите моего сына, идиоты!

Именно в этот момент наверху лестницы показались жандармы. Разумеется, женщины ожидали, что они вмешаются и положат конец драке. Но ничего такого не произошло.

— Вот так вы позволили усташам убить в Марселе нашего короля Александра в тысяча девятьсот тридцать четвертом году! — крикнула им Майя, когда они повернули назад.

* * *

Это сравнение меня порадовало. Когда собственная жена в разгар сражения сравнивает тебя с королем, это чего-то стоит! Жаль, что критик из *«Times»* не слышал ее слов, чтобы процитировать в своей статье! Без этой драки я бы никогда не узнал, что Майя может сравнить меня с королем. Она редко делает комплименты в мой адрес. И это мне нравится. Поскольку я плохо переношу напыщенную похвалу. Когда меня начинают чересчур расхваливать, я не знаю, куда девать свои руки. Я предпочитаю более скромные комплименты, сделанные мимоходом. В этом сравнении с королем я находился в более выгодной позиции, чем наш монарх. В отличие от него, я мог себя защитить.

* * *

Джим Джармуш смотрел на «Золотую пальмовую ветвь», словно спрашивая себя: «Как можно таким образом праздновать победу на Каннском кинофестивале?» Его раздумья были прерваны Мики Майнойловичем, который схватил награду и засунул ее под свой смокинг, чтобы она была в безопасности.

Мики опасался, как бы кто-нибудь не задумал украсть золото. Во всей этой суматохе я не видел Джонни. Но мне была хорошо известна его манера наблюдать за происходящим. И я нисколько не сомневаюсь, что зрелище не оставило его равнодушным. Зная о его чувстве юмора, я уверен, что в тот вечер он не раз посмеялся от души.

* * *

Мой друг по общежитию в Праге, Вилко Филач, который курировал мои фильмы, должно быть, устал от моей дионисийской натуры. «От этого типа слишком много проблем», — наверняка подумал он, прежде чем покинуть пляж отеля «Мартинез» вместе с Франьей, женщиной своей жизни. Я понял, что он больше не видит со мной общего кинематографического будущего. Фильмы, которые мы сняли вместе, не были бы такими, какие они есть, без его внимательного взгляда, устремленного на кинопленку. Эта неуместная драка абсолютно не вязалась с его хорошим вкусом и жизненными целями. Во время съемок «Андерграунда» он делал прекрасные вещи, но уже подавал мне знаки, предвещавшие конец нашего сотрудничества. Я не мог его ни в чем упрекнуть и не мог произнести слова, которые разрушили бы нашу безграничную дружбу и общие творческие порывы. Я смотрел, как Вилко покидает пляж отеля «Маринез», обняв свою жену, — и понимал, что он уходит также из моей жизни.

* * *

Испуганная Дуня заплакала. Когда я заметил, как Майя наносит удары стулом по телохранителям, чтобы освободить Стрибора, я помчался ей на помощь. Дело было улажено, и сыну отца Диониса оставалось лишь поставить финальную точку в пиршестве. Концовка произошла как в классической пьесе, когда энергия конфликтующих сторон иссякла — или, точнее говоря, когда все участники немного утомились; к тому же здесь не было четко выраженных вражеских сторон. Затем по рядам гостей пробежал слух, что сюда специально заслали людей, которые спровоцировали этот конфликт. Происки спецслужб и все такое прочее.

Я думаю, что эта триумфальная ночь не могла бы состояться, если бы заразительное очищение «Андерграунда» не воплотилось

в жизнь. Я считаю важным это подчеркнуть, поскольку мне не раз повторяли, что я похож на брата Диониса, тогда как мне больше нравилось быть сыном отца Диониса.

* * *

Финалом второго тайма праздника сына отца Диониса стало появление молодого человека, торопливо сбегающего по лестнице, ведущей на пляж. Он чем-то напоминал камикадзе, которые, опоясавшись бомбами, бросаются на своих жертв. Но даже если предположить, что у него была бомба, он все равно не успел бы ею воспользоваться. Я сделал шаг в сторону и хладнокровно на полном ходу встретил его правой в челюсть. Это и стало окончанием драки, поскольку мы все испугались за жизнь молодого человека, когда его голова с размаху ударилась о пол. В очередной раз в своей жизни я вспомнил Достоевского.

— Неужели наказание настигнет меня сразу после преступления и этот вечер я закончу в тюрьме?

Я перенес бесчувственного молодого человека на один из столов. Мы побрызгали на него водой, к счастью, он довольно быстро открыл глаза, с ужасом посмотрел на меня и… бросился наутек. Это был один из трех типов, которые набросились на Стрибора, пока не вмешалась Майя.

* * *

Через пять дней после триумфа в Каннах моя мать потеряла сознание в своей квартире в Герцег-Нови. Полностью оправившись — а согласно утверждениям врачей, излечившись от рака груди, — теперь она страдала опухолью мозга. Мы с Майей сели на самолет, и в аэропорту Рисана нашли Сенку, которая сидела и курила сигарету. Увидев меня, она разрыдалась:

— Ну почему все это на меня свалилось, мой Эмир?

— Сенка, что бы это ни было, ты будешь жить! — ответил я, стараясь дедраматизировать ситуацию.

Сенка снова принялась плакать, но по тому, как она обняла меня, я почувствовал, что она мне поверила. Мы отвезли ее в центральную клинику Белграда, где ее прооперировал доктор Йоксимович. Опухоль была не злокачественной, и Сенка быстро пошла на поправку. Когда ее зашел навестить Нелле Карайлич, он не смог скрыть своей радости, увидев ее улыбающейся.

— Нелле, у тебя есть спички? — спросила она его.

— Тебя, Сенка, ничем не убьешь, — сделал вывод Нелле и с удовольствием дал ей прикурить.

* * *

По окончании военных действий палач, опрокинувший бюст Андрича, пожаловался журналистам, что война не принесла ему ничего, кроме осложнений. Он не получил ни медали, ни статуса ветерана войны. Тутумраци выбросили его за ненадобностью. Он не дождался помощи ни от Аллаха, ни от американцев. Потоки воды унесли его дом до самого Байина-Башта. Его желание затопить Сербию вплоть до Дединье не осуществилось. Он не осмеливался вернуться к себе в Незуке, поскольку судебные органы Республики Спрска[107] заочно приговорили его к пяти годам исправительных работ за разрушение бюста Иво Андрича. Сабанович заявил, что он сожалеет о содеянном, что его подтолкнули к этому тутумраци. За этот акт вандализма Бехмен и Ганич пообещали ему магазинчик на улице Дженетич Цикми в квартале Баскарсия. Но, несмотря на то что он выполнил свои обязательства по договору, он ничего не получил. Самым интересным в его случае было то, что теперь он считал Андрича более великим боснийцем, чем тутумраци, толкнувшие его на это преступление. «Я принял в этом участие, так как меня заверили, что это приведет нас в Европу!» — признался Сабанович, прежде чем уехать в Соединенные Штаты.

Я вспомнил о воспитательной мере, которая должна была заставить этого глупого Сабановича прочесть полное собрание сочинений Иво Андрича. Я по-прежнему считаю, что следует принимать подобные меры ко всем недалеким фанатикам. Быть может, это подействует хотя бы на них, раз невозможно добраться до Изетбеговича, который, уверовав в собственную безнаказанность, ополчился на нашего нобелевского лауреата. Президент уготовил Боснии новую жизнь. Он уже обращался к американцам с просьбой завершить войну и составить конституцию государства, в котором он был президентом, поэтому после стольких жертв вполне мог попросить их сварганить для него что-нибудь более интересное, чем протекторат!

* * *

Мне было непросто свыкнуться с мыслью, что я больше

никогда не вернусь в свой родной город. Не из чувства вины и не из-за избытка любви к долине, окруженной горами, где расположен Сараево.

Чтобы поставить точку в этой истории, после бесчисленных низостей, последовавших за этой войной, я должен рассказать о чем-то глубоко личном, главным виновником которого является кофе.

Мой родной город стал единственным в мире местом, переставшим предоставлять необходимые условия для выполнения важного ритуала, основной социальной привычки в моей жизни, связанной с моим восточным грехом. Моя единственная серьезная зависимость носит название «консенсуальный кофе». Это кофе, который пьется вместе с людьми, разделяющими ваши взгляды или хотя бы понимающими так же, как вы, смысл песни *«Rolling Stones» «Start me up».* Беседа вас пробуждает, и при этом ваши собеседники не принимаются доказывать каждый свое мнение. Этот утренний кофе не является демократичным. Вот почему я люблю консенсуальный кофе! Наступающий день, где бы ты ни находился, не имеет шансов начаться хорошо без этого кофе. Без такого ритуала день оказывается вконец испорченным. Считайте, что его просто нет. Пусть это суеверие чистой воды. Слушая меня, какой-нибудь хороший человек решил бы, что все мои рассуждения — не что иное, как ширма, за которой я прячу свое огромное желание вернуться на родину.

— Тебе снится Сараево? — спросил бы он меня.

— Единственный раз во сне я побывал в Сараеве. Это был кошмар: я сидел, съежившись на заднем сиденье машины без номерного знака, которая мчалась по знакомым улицам, заполненным незнакомыми людьми. И это меня потрясло.

* * *

Если бы каким-то чудом в одно прекрасное утро я оказался в Сараеве, то из любопытства отправился бы выпить чашечку кофе в «Сеталист». Для этого кофе, разумеется, был бы необходим консенсус, о котором я рассказывал. Чтобы мы не принялись обсуждать все заново. Ситуация могла бы оставаться под контролем только в том случае, если бы мы вели беседу как гуманисты. В стиле «я люблю все народы, не питаю ни к кому ненависти, отличаю добро от зла и т.п.». Если бы я рискнул, потягивая свой кофе, завести разговор о взаимном количестве жертв, консенсус бы мигом провалился, да и кофе вместе с ним.

Поскольку сербам нет прощения: именно мы, сербы, придумали эту войну, так же как и все остальные войны. Если бы меня ненароком занесло в отель «Европа» за второй чашечкой кофе, этот консенсус обязательно подразумевал бы, что все сербы должны быть «изгнаны в Россию». На улице Войводы Степы безо всяких дискуссий было бы четко и ясно сказано, что Гаврило Принцип был террористом. А я бы не смог пропустить мимо ушей подобные заявления. Поскольку, даже если Гаврило убил австрийского эрцгерцога не в Вене, а возле Миляцки, где эрцгерцог был оккупантом, кофе без консенсуса выпить невозможно. Когда я объяснил это одному из своих сараевских друзей, он удивился:

— Черт возьми, зачем тебе обязательно затрагивать такие сложные темы?! Пей спокойно свой кофе, не озвучивай свои мысли, и мир воцарится над Боснией! А потом иди себе своей дорогой!

Этот друг не понимал, что, даже когда я сижу молча, на самом деле я говорю. Я не разделяю лингвистического наследия Вука Караджича[108], девиз которого приобрел силу закона: «Пиши, как говоришь». У меня это правило звучит так: «Пиши, как думаешь!»

«Тот, кто заключил мир со смертью, говорит сердцем».

* * *

Я принес суп Сенке в белградскую клинику, где она поправляется после операции. Я признался ей, насколько меня удручает мысль о том, что я никогда больше не вернусь в Сараево. Она не понимает, откуда взялись эти неожиданные перемены в моем настроении. Она смотрит на меня удивленно, словно спрашивая: «Что это еще за новая причуда?» Моя мать знает, что я обладаю силой и логикой. Как она сама. Сенка дует на ложку, чтобы остудить суп. Делает глоток, затем пытается приободрить меня:

— Все они и мизинца твоего не стоят. А я вернусь туда, как только выйду из больницы. Я не собираюсь оставлять им свою квартиру, даже если умру!

Она снова замолкает, затем внимательно вглядывается в меня, пытаясь понять мою грусть.

— Ну почему это тебя так расстроило? — спрашивает она.

На самом деле моя мать, как и любая другая мать, старается удержать меня на краю депрессии.

— Я просто представил, что пришел выпить кофе в

«Сеталист». С Зораном Биланом и Пашей. Но в то же время я понимаю, что консенсусы там больше невозможны и я не смогу спокойно выпить с ними чашечку кофе.

При слове «консенсус» Сенка забывает о своем супе.

— Если ты заговорил о консенсусе, значит, здесь замешана политика.

— В некоторой степени.

— Боже мой, Эмир, иногда ты меня выводишь из себя! Есть в тебе хоть что-то, что не связано с политикой?

К моему горлу подступает ком, и я торопливо сглатываю, чтобы не расплакаться.

— Знаю… Ты хочешь сказать, что я — как мой отец?

— Нет, ты еще хуже, чем он, — отвечает Сенка, обнимая меня.

Я смеюсь, продолжая глотать слезы. Чтобы не огорчать Сенку.

На чьей ты стороне, сынок?

В Герцег-Нови, возле моря, где когда-то пролегала узкоколейка, стоит целый ряд поломанных скамеек. Здесь ребята-подростки и пьяные солдаты по вечерам упражняются в силе.

* * *

На одной из скамеек, возле туннеля, сидит моя мать. Первым делом она закуривает сигарету и устремляет взор к горизонту, за море. Затем она закрывает глаза. Моя Сенка уносится в мечты. Когда кто-то из знакомых старожилов или беженцев прогуливается по аллее вдоль моря, он замечает Сенку, дремлющую на скамейке.

— Сенка, с тобой все в порядке, может, тебе что-нибудь нужно? — спрашивает он.

Она открывает глаза:

— Нет-нет, все хорошо, просто я села немного отдохнуть и незаметно уснула.

Знакомые продолжают свой путь: старожилы возвращаются домой, беженцы направляются к своему временному жилью. Моя мать снова закрывает глаза и погружается в свои мысли, известные только ей.

* * *

Всякий раз, приезжая в Герцег-Нови, я чувствую себя словно в маленьком Сараеве. Вокруг лишь беженцы и бледные старики: почти вся молодежь эмигрировала в Канаду.

— Будь внимательнее, — предупреждает меня наш старый друг, — Сенка часто сидит на этой скамье возле сквера и спит. Бог ее хранит, она до сих пор не подхватила воспаление легких, которое может вызвать осложнения. Ведь у нее и так слабое здоровье.

* * *

Я всегда испытываю одинаковую радость, когда возвращаюсь в наш дом в Герцег-Нови. Возможно, я так счастлив оттого, что все в нем напоминает нашу жизнь в квартире Горицы. За

исключением того, что здесь не хватает еще полкомнаты. И разумеется, моего отца. Стены дышат нашими повседневными звуками, в открытое окно доносятся голоса детей, гоняющих футбольный мяч, на сковородке весело шкворчат оладьи, а я безмятежно сплю. Слышу лишь тихий шепот и раздающийся вдалеке глухой скрежет лифта. Стоя на пороге двери, Сенка выпроваживает соседок:

— Он спит, вчера очень поздно приехал из Парижа.

— Можно я приведу своего внука, чтобы он сфотографировался с Эмиром?

— Можно, но позже, дуреха! Подожди, пока мой ребенок выспится и восстановит свои силы!

* * *

— На чьей ты стороне, сынок? — неожиданно спрашивает меня мать, пока мы пьем наш утренний кофе.

— На твоей. На чьей же еще?

Она едва уловимо улыбается, наблюдая за мной краем глаза. Словно хочет выведать у меня страшную тайну. Я помню, что именно так Сенка прощупывала почву, когда хотела узнать, кто надоумил меня отправиться купаться в Илиджу без ее разрешения. Это было так давно…

На самом деле моя мать умеет задавать нужные вопросы. Она ловко начинает разговор исподволь. Хоть мне и известно, что она ценит сильных людей, верных своему слову, я не понимаю, почему сейчас она начинает разговор со слов:

— Наибольшее уважение у меня вызывает Владо Дапцевич…

Этот Владо — персонаж из реальной жизни, который похож на Владо Петровича, героя литературы и кино.

— Однажды он сказал, что любит Сталина, и за это провел двенадцать лет на каторге.

Моей матери он нравится вовсе не из-за Сталина. Она до сих пор сожалеет о временах Тито. Владо Дапцевич удостоился ее высочайшего почтения, потому что, согласно ее выражению, это «настоящий мужчина, со своими принципами». Когда он вышел из тюрьмы, журналист ежедневной коммунистической газеты «Победа» спросил его, не изменил ли он своего мнения.

— Я люблю Сталина, — без колебаний ответил Дапцевич.

Кто знает, действительно ли этот человек верил в то, что говорил. Но принцип есть принцип. Сказав что-то однажды, он не собирался отступаться от своих слов. «Настоящий мужчина, со своими принципами», — повторяла моя мать.

* * *

— Ну, так на чьей же ты стороне? — настаивает моя мать.

— На твоей, я тебе уже сказал. Если бы это было не так, ты бы знала это лучше меня, — ответил я ей со смехом.

Сенка тоже засмеялась.

— Ты прекрасно знаешь, о чем я тебя спрашиваю. Не прикидывайся дурачком, — продолжила она.

— Нет, не знаю.

Сенка обняла меня:

— На столе мармелад и масло, а там — поджаренный хлеб. Пойду заплачу за электричество, а потом немного прогуляюсь.

Все происходит так же, как по утрам моего детства. За исключением того, что тогда все эти указания были написаны на маленьких клочках бумаги, поскольку за два часа до моего ухода в школу мать уже направлялась к факультету гражданского строительства по аллее Косева.

Еще толком не проснувшись, я смотрю, как она вразвалочку направляется к морю по бульвару, где когда-то пролегала узкоколейка.

* * *

В Герцег-Нови самым дорогим для меня человеком является доктор Радмило Йованович, психиатр из Сараева. Подобно Сенке он тоже убивает время, ежедневно прогуливаясь по побережью. Он делает это на манер горцев, шагающих по берегу моря.

Одиннадцать лет назад этот самый доктор Йованович спас меня от моей первой депрессии. Я прервал съемки фильма «Папа в командировке», чтобы отправиться к нему на консультацию в Ягомир.

— Доктор, я больше не могу, — с ходу выпалил я.

Сначала он попросил меня присесть, затем задал вопрос:

— Что такого тяжелого вы делаете, что говорите «я больше не могу»?

— Фильм о том, как разрушилась семья в тысяча девятьсот сорок восьмом году.

Неожиданно для меня он разразился рыданиями. Настоящими и глубокими. Доктор буквально плакал горючими слезами. Я смутился и поискал глазами, нет ли в кабинете кого-нибудь еще. На секунду мне пришла в голову мысль, что, возможно, это какой-то метод терапии. Я вскочил со стула, обернулся. Никакой медсестры не было видно. И ничто не могло

остановить рыданий этого мужчины.

От моей депрессии не осталось и следа. Я подошел к доктору:

— Что с вами?

— Они сломали нам хребет… там, в «Голи-Оток», — ответил он, вытирая слезы. — Вы знаете, человеку потребовалось несколько миллионов лет, чтобы научиться стоять на ногах. А там брат переломил надвое хребет своему брату. И мы начали ползать, как далматские ящерицы.

* * *

Когда я закончил «Папу в командировке», доктор Йованович присутствовал на первом показе. Он снова плакал. На этот раз от радости. После смерти Тито заключенным лагеря «Голи-Оток» в некоторой степени вернули их гражданский статус. Однако это преступление никогда не привлекало внимания международной гуманистической мысли. Для всех это был всего лишь эпизод истории. И наша голгофа затерялась в сфере сложных взаимоотношений между русскими, сербами и православными черногорцами. «Голи-Оток» не числится в списке мифологических преступлений. Между тем лично мне кажется, что существуют исторические преступления, касательно которых колесо гуманистической мысли начинает буксовать в грязи. В последнее время принято интересоваться и заниматься лишь теми преступлениями, которые имеют прямую связь с прогрессивной идеологией. В этой драме, где замешан Сталин, молчание гуманистов о преступлениях «Голи-Оток» благополучно оправдали. Сегодня я горжусь своей дружбой с доктором Йовановичем. Своими слезами он исцелил мою депрессию.

* * *

Мы с матерью и доктором Йовановичем медленно прогуливаемся по берегу моря. Йованович говорит нам:

— Мурат был очень проницательным и умным человеком, но он не умел ни отделять главное от второстепенного, ни сохранять дистанцию по отношению к такому количеству событий. В жизни следует научиться некоторым маневрам и уметь их использовать. Не для того, чтобы развлекать окружающих, а для того, чтобы принимать не слишком близко к сердцу людей и ситуации.

— Вот видишь, я тебе говорила: политика не принесет тебе никакой пользы. Это не лучший вид спорта для людей со слабыми

нервами, — делает вывод моя мать, глаза и чувство юмора которой увеличиваются по мере того, как она стареет.

Мы прощаемся с доктором: он отправляется на свои консультации, а мы с матерью идем в сторону кладбища Савина. К могиле моего отца. Сенка призналась мне, что постоянно находит на могиле свежие цветы. Всякий раз, когда она приходит, чтобы украсить могилу цветами, кто-то ее опережает.

* * *

Мы с Сенкой, каждый со своей стороны, пытаемся скрывать свои слезы, чтобы не огорчать друг друга еще больше. Мы оплакиваем отсутствие Мурата. Кстати, я всегда считал, что глаза Сенки были такими большими оттого, что она много плакала. Я утешаю себя тем, что однажды мои глаза станут такими же крупными, как у нее. Господи, сколько же слез мы, Кустурицы, пролили за всю свою жизнь! Часто даже тогда, когда в этом не было особой необходимости.

* * *

Однажды вечером в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина один словенец выиграл медаль в австрийском городе Гармиш-Партенкирхен. Мы с отцом прыгали на диване, плача и крича от радости. Соседи выражали свое недовольство по поводу возникшего шума.

— Идите вы куда подальше со своими словенцами, — возмутилась моя мать, — вы мне диван сломаете!

Затем, ближе к вечеру, мы пролили бутылку вина на ковер, прикрытый прозрачной пленкой.

— Вот видишь, Эмир, — сказала мне Сенка, — а ты все время смеешься над моей манерой заботиться о вещах… Скажи, что было бы, если бы вино разлилось по ковру?

— Ничего! — ответил я.

— Да ты и вправду наглец, — разозлилась она. — Как это — «ничего», тебе известно, что для таких расходов мне приходится работать целый год?

— Я знаю, но ты видела торговца газетами, у которого нет ног? Вот это действительно трагедия, а твоя беда — просто мелодрама!

— Замолчи сейчас же! Как тебе не стыдно? Весь в отца!

В тот день, когда наши гандболисты выиграли на

Олимпийских играх в Мюнхене, мы также плакали, слушая наш гимн.

Среди всех наших слез мне особенно запомнилась одна сцена. Это случилось на пороге нашей квартиры в доме номер 9 по улице Каты Говорусич. По сараевскому телевидению «Евровидение» сообщило, что фильм «Папа в командировке» только что победил на Каннском фестивале. У нас как победы, так и поражения ознаменовываются теми же слезами, мы их не разделяем.

То же самое было, когда умер Тито. Со стадиона «Косево», где прервали матч «Сараево — Осиек», мы все помчались домой, на случай, если вдруг понадобимся, и чтобы наши близкие не волновались.

Когда «Папа в командировке» получил «Золотую пальмовую ветвь», мой кузен Эдо Нуманкадич прибежал к нам. Он обнял Сенку и тут же разрыдался. Глядя на эту сцену, Джим Джармуш наверняка решил бы, что эти двое оплакивают смерть близкого человека.

— Эдо, что случилось?

— Великое событие, дорогая Сенка! — ответил Эдо, рыдая еще сильнее.

На Балканах переживания не состоят из одной лишь радости или грусти, все эти эмоции, как правило, перемешаны. Поэтому в нашем драматическом искусстве нет разделения жанров. Здешние люди привыкли к тому, что великие события влекут за собой большие проблемы, и этим объясняется тот факт, что здесь их зачастую предпочитают избегать. Значимые происшествия туманят взор и выводят из равновесия. А поскольку они нарушают привычный образ жизни и, как правило, происходят, когда их не ждешь или не желаешь, чаще всего страдают самые честные и законопослушные граждане. Последовательность не является балканским качеством, все наши ценности и модели поведения привнесены извне. Как с Запада, так и с Востока. И когда наступают неожиданные перемены, нас никто не предупреждает, так что мы выглядим либо идиотами, либо свиньями. На следующий же день мы отказываемся от вчерашних идеалов во имя новых, более возвышенных. Жены отрекаются от своих мужей, поскольку Тито внезапно решает, что Сталин — плохой, несмотря на то что сам привил нам эту любовь. И вот мы умираем с именем Сталина на устах.

Именно это имела в виду моя мать, когда заявляла: «Этот Дапцевич — настоящий мужчина, со своими принципами», хотя она и не любила Сталина. И уважала Тито, несмотря на то что его яростно критиковал мои отец.

* * *

На кладбище Савина нет грязи, как на других боснийских кладбищах. Здесь можно посидеть, полюбоваться морем, вдохнуть аромат сосен, и, отправляясь домой, не придется счищать грязь с ботинок. По дороге, поднимающейся к кладбищу, мы с Сенкой отдыхаем на террасе, глядя на раскинувшееся внизу море. Сенка курит сигареты «Югославия», а я — кубинские сигары. Мы молчим.

— Ну, теперь скажи мне честно, на чьей ты стороне? — снова спрашивает Сенка, с улыбкой на губах. — Правда ли то, что рассказывают соседи?

— Мне бы очень хотелось быть на чьей-либо стороне. Я был бы даже готов умереть за кого-нибудь, как твой Дапцевич за Сталина.

— Это вовсе не мой Дапцевич. Он просто достоин уважения.

— Я имел в виду… чтобы после моей смерти обо мне тоже могли бы сказать: «Настоящий мужчина».

— Почему? Ведь ты не идиот?!

— Но, дорогая моя Сенка, этого недостаточно. Я хотел бы запечатлеть образ своего героя подобно тому, как Марадона вытатуировал на себе портрет Фиделя Кастро.

— Не рассказывай мне сказок! На чьей ты стороне? Соседки говорят мне: «Твой Эмир — человек Милошевича». Это так?

— Ты хочешь, чтобы я был искренним?

— Конечно хочу!

— Сенка моя, я мог бы тебя порадовать, да и себя тоже, ответив тебе «да». Когда он пришел к власти, я не сразу догадался о разделе мира.

— Как это? — спрашивает мать.

— Я сел в галошу, поскольку поверил в сказку о справедливости, тогда как на самом деле Запад уже начал завоевывать Восток. Что было вовсе не новостью, поскольку Восточная Европа никогда не покоряла Запад.

— Зачем ты об этом говорил? Ты мог просто молчать.

— Потому что я — идиот.

Сенка засмеялась.

— Политический? — спросила она.

— Именно.

— Господи, Эмир, а я-то считала тебя умным!

— Но я ведь не стал делать татуировку на плече, как Марадона. Потом на сцену вышла его жена, и у многих людей открылись глаза, когда он вернулся из Дейтона, изображая из себя обычного гражданина. Он во всеуслышание заявил, что

открыл для себя фирму *«Timberland»* и решил купить своему сыну нормальные ботинки!

* * *

Когда мы подходим к могиле моего отца, то обнаруживаем букет ирисов возле стелы.

— Ну что за идиот это делает?! Узнать бы кто это, руки бы ему поотрывала!

Она ставит цветы около портрета моего отца, вразвалочку идет к колонке, набирает воды и возвращается. И мы оба принимаемся наводить чистоту на могиле Мурата. Мы чистим камень щетками. А я, сам не знаю почему, вспоминаю, как Сенка терла мне спину кухонным мылом. Перед моим первым походом в школу, но также всякий раз, когда я возвращался с футбола.

Когда гранитный камень могилы моего отца начинает блестеть как зеркало, Сенка идет за своими сигаретами. Начинается наш привычный ритуал: Сенка закуривает сигарету, передает ее мне, и я кладу ее на край могилы. Чтобы Мурат покурил вместе с нами. Пока тлеет сигарета, мы молчим: мы ждем, когда пепел сигареты моего отца отделится от фильтра, и только после этого покидаем кладбище Савина. Я думаю о преимуществах моря. Да здравствует Средиземное море! Не нужно чистить ботинки: грязи на них нет. Подойдя к базарной площади, мы с Сенкой расстаемся на верхних ступеньках лестницы.

— Я пойду домой пешком, вдоль моря, — говорит она мне, — а ты, если вернешься поздно, возьми ключ, вдруг я уже буду спать.

Я смотрю, как она спускается по ступенькам и удаляется в сторону моря, затем медленным шагом подхожу к почтовому отделению и встаю там, где Сенка не может меня видеть, когда сидит на своей скамейке возле туннеля. На той самой скамейке рядом с узкоколейкой, где когда-то она сидела вместе с отцом. Она курила свои сигареты «Югославия», он смотрел вдаль, и оба боролись с болью, которую причинила им война. Жизненные невзгоды не обходили их стороной, но война была самой большей из них.

Теперь моя мать сидит на этой скамейке в одиночестве. Она закрывает глаза и погружается в мечты. Глядя на эту сцену, я спрашиваю себя, о чем может мечтать моя Сенка. Она не знает, что я стою здесь и наблюдаю за ней. Сенка не спит, как сказал мне один старый друг. Она курит, прикрыв глаза. Ее глаза

закрыты, но она не спит. Она словно ведет с кем-то только ей слышную беседу. И этот кто-то хорошо ей знаком. «Может, она теряет рассудок? — думаю я, глядя, как шевелятся ее губы. — Или она вступила в какую-нибудь секту?» Ну что за глупости приходят мне в голову! Горе мне! Пожилая дама не спеша завершает безмолвный диалог, встает, собирает свои вещи и направляется к дому.

* * *

Мы вместе смотрим вечерние теленовости, пока я поедаю оладьи. По телевизору не показывают ничего нового. Двусторонние отношения, санкции, отключение электричества и воды в Черногории. Необходимость сокращения ядерного вооружения в мире.

Сенка полна решимости довести до конца свое расследование о моей политической принадлежности.

— Ну теперь-то признайся честно, — настаивает она, — ты ведь знаешь, как говорят древние: признаться — это уже наполовину получить прощение. На чьей ты стороне? Есть ли доля правды в том, что рассказывает соседка, эта сплетница с одиннадцатого этажа, утверждающая, что ты с Милошевичем занимаешься бизнесом на Западе?

Я от души смеюсь над нелепой выдумкой. Однако мне не хочется, чтобы этот разговор, который можно озаглавить «На чьей ты стороне, сынок?», завершился ничем.

— Мне нравятся логичные и сильные люди, как и тебе, Сенка.

— Не шути, ты уверен, что он такой? Президенты Америки, России, Китая — сильные люди. Но только не президент Югославии.

* * *

Я познакомился с ним по телефону. В 1988 году должна была состояться премьера фильма «Время цыган». Пойти на этот разговор меня толкнула моя эгоцентричная натура — а когда речь идет о фильме, я вообще не могу ее сдерживать.

Директор *«Beograd Film»* Мунир Ласич не дал разрешение на то, чтобы премьера состоялась в центре «Сава»[109], тогда как все кинозалы Белграда были уже наполовину разрушены. Он предлагал вместо этого зал кинотеатра «Козара». Оля Варагич, продюсер фильма «Время цыган», знала, что только новый глава

Центрального Комитета Союза коммунистов Сербии сможет противостоять Ласичу и решить эту проблему.

— Мне стало известно, что вам нужна помощь, — раздался в трубке звучный голос.

Я находился в Нью-Йорке. Едва проснувшись, я взволнованно объяснил ему, что единственным местом, где может пройти настоящая и достойная премьера этого фильма, является центр «Сава».

И премьера состоялась в центре «Сава».

— Допустим, но зачем по таким вопросам нужно дергать первое лицо государства? — наивно спрашивает Сенка.

— Потому что второму никто подчиняться не хочет. Лишь слово первого имеет значение.

Сенка рассмеялась, а я вспомнил о «Папе в командировке». Если бы тогда не было Миры Ступицы, имевшей влияние на своего мужа Цвиетина Миятовича, бывшего в ту пору президентом, «Папа в командировке» никогда бы не увидел свет.

— На чьей ты стороне, сынок? Не уходи от темы.

— Когда Милошевич пришел к власти, словенцы первыми начали кричать, что на Балканах появился новый Гитлер.

— Так и есть, — говорит Сенка.

— Мне было сложно смириться с тем, что именно словенцы называли Милошевича Гитлером. Поскольку сейчас, из документальных фильмов, стало известно, что Гитлера встречали в Мариборе[110] как великого полководца. Они встречали его так, как позже принимали Тито, которого те же самые словенцы принялись пинать ногами, когда им приспичило войти в Европу. Чтобы туда попасть, следовало избавиться от византийского Белграда. А также пролить немного крови. Десяток обугленных коров, показанных по *CNN*, три-четыре горящие машины. Именно в этот момент во мне начал расти идиот.

— Ты хочешь сказать — политический идиот? — шутит Сенка.

Я ничего не имею против ее иронии.

— Именно. Отец говорил мне, что без Милошевича партизан клеймили бы прямо на улице.

— Мне нравилось, что он был настоящим югославом, — произносит Сенка.

— Еще одна причина для того, чтобы я был на его стороне.

— Тогда, сынок, скажи мне откровенно: ты ему что-нибудь должен?

— Я должен ему свою национальность, и это не пустяк!

— Перестань, пожалуйста, у тебя в Белграде полно друзей! Можно подумать, что это он дал тебе твой паспорт.

— Но без его ведома я бы его не получил.

— В мире нет ни одной страны, где тебе отказались бы выдать паспорт. Впрочем, ты можешь ему его вернуть.

— Да, Сенка, но я этого не хочу. Я хочу хоть немного походить на твоего Владо.

— Прежде всего, он не мой Владо. А во-вторых, мой мальчик, хватит делать из меня глупую упрямицу!

— Во всем этом, Сенка, есть одна несостыковка.

— Только одна? — насмешливо произносит Сенка.

— Со временем стало ясно, что он сильно отличается от того, кем казался вначале. Он выглядел человеком, имеющим идеалы, но на деле оказался обычным функционером.

— Совсем как твой дядя Любомир Райнвайн, муж Бибы. Единственное отличие, что Милошевич не носит усов.

— Да, что-то в этом роде. Когда я понял, что у него нет конкретного плана, во мне пустил ростки этот самый Владо. Настоящий мужчина, верный своим принципам. Никогда я не стану опровергать того, что сказал однажды, даже за большие деньги!

— И что же ты сказал?

— Что он хороший, разумеется!

— И тогда он им был?

— Он был день хорошим, день плохим. А я, бедная моя головушка, остаюсь верен своим словам, и неважно, что происходит на самом деле. Перевороты, без которых не бывает ни политических деятелей, ни политики, не имеют значения. Дело даже не в нем, а в тебе самом. Об этом пишет Андрич. Он тоже перешел на эту сторону. На сторону Востока. Потому что именно Восток страдает больше всего. Когда человек выбирает свой путь, логично, что он отправляется к тем, кто больше других нуждается в поддержке. В этой истории, моя Сенка, Милошевич был одинок, его никто не поддерживал, и мне это нравилось. Впрочем, в тысяча девятьсот четырнадцатом году Милошевича не было, а великий переворот все равно случился. В тысяча девятьсот сорок первом году его тоже не было, и какие творились ужасы!

— Это, мой мальчик, уже не политика. Это, как ты сам говоришь, мысли политического идиота!

Моя Сенка утешает меня, пока я продолжаю свое объяснение:

— Наедине он робко причесывал волосы своей жены, когда она ему это позволяла, тогда как в своем офисе он потешался над послами великих держав, словно держал в каждом кармане по атомной бомбе.

— И тебе это нравилось?

— Да.

— Это говорит о том, дорогой мой, что ты никогда не смог бы стать политическим деятелем!

* * *

После победы «Андерграунда» в Каннах меня в своем кабинете принял президент. Он был уже в сильном подпитии. Он размахивал руками, потрясая книгой своей жены Мирьяны Маркович «День и ночь» и цитируя ее мысли на английском: *«All these gays are nationalists»*[111]. Разумеется, он имел в виду Радована Караджича и прочих сербов, живущих за пределами Сербии. Пока он читал мне отрывки из книги, телефон звонил не переставая. Он не отвечал, когда я кивал ему в сторону аппарата, лишь отмахивался рукой, продолжая цитировать свою жену и осушая полные бокалы виски. К концу встречи он был совершенно пьян.

Каждое имя, которое я упоминал в тот вечер, снабжалось комментарием «Да он слабак!».

Я был не склонен испытывать уважение к президенту, который выражался подобным образом. Особенно когда в слабаков превратились все, кроме его жены, продолжавшей названивать по телефону накануне белградской премьеры «Андерграунда». Я думаю, он не решался поднять трубку, потому что для Мирьяны Маркович и ее сына Марко я был очень плохой компанией.

* * *

Мы с Сенкой идем на прогулку. На улице душно. Мы направляемся к скамейке возле туннеля. Октябрьское солнце печет, словно в августе. Не иначе, наступило глобальное потепление. Отныне Сенка знает, что ответ на ее вопрос «На чьей ты стороне?» ясен словно день. Не скрывая облегчения, она снова меня спрашивает:

— Так на чьей ты стороне, сынок? Скажи своей матери.

— Ни на чьей.

С взволнованным видом Сенка останавливается:

— Как это — ни на чьей? Надеюсь, что все-таки на моей!

— А может, все-таки на стороне Милошевича? — отвечаю я, чтобы поддержать шутку.

Она снова останавливается:

— Господи, какой же ты упрямец! Мы только во всем разобрались, а ты снова начинаешь свои глупости. Есть в тебе

хоть что-нибудь, что не связано с политикой?

— В моем отце не было, значит, и во мне нет.

Мать беззвучно плачет, затем улыбается и обнимает меня. Мы прощаемся. Пока я удаляюсь в сторону аэропорта, Сенка машет мне рукой. Затем, переваливаясь с боку на бок, она возвращается на свою сломанную скамейку, где они сидели с Муратом, коротая дни, когда превратились в беженцев.

Она курила сигареты «Югославия», а он с беспокойством вглядывался в горизонт, опасаясь третьего инфаркта, который стал бы для него синонимом конца. К несчастью, очень скоро все произошло именно так. Он умер от третьего инфаркта в самом начале войны в Боснии, и Сенка, храня ему верность, продолжала приходить на то же место.

Сенка садится на скамейку и тут же закрывает глаза. Перед ее взором предстает ее муж.

— До каких пор этот Ельцин будет разваливать самую крупную военную державу мира? У этого человека есть хоть капля совести? Или он просто ненормальный?

— Бог с тобой, Мурат, откуда мне знать это?

— Здесь нечего знать, Сенка, это видно невооруженным глазом!

— У меня есть более важные вещи, которые я буду делать или на которые буду смотреть, пока Ельцин разваливает Россию.

— Ты ничего не понимаешь, Сенка. Если такая держава рухнет, все полетит к чертям! Русские не должны быть слабыми!

— Но если ими управляет пьяница, как этот Ельцин, что им еще остается?

— А почему ты так настаиваешь на слове «пьяница»? Это случайно не намек? Ты ведь не хочешь, чтобы мы начали оскорблять друг друга?!

— Кто говорит об оскорблениях?

— Ты, когда упоминаешь об алкоголе!

— Да если б не этот проклятый алкоголь, ты бы сидел сейчас рядом со мной!

— Я вижу, что ты никогда ничего не поймешь в политике, Сенка!

— И слава богу!

— Где Эмир? — осведомляется мой отец, чтобы прекратить ссору.

— Он куда-то уехал со Стрибором заниматься музыкой.

— И что в этом хорошего? Он уже не в том возрасте, чтобы бренчать на гитаре!

— А что плохого? Стрибор всегда у него на глазах, ты же знаешь, какая нынче молодежь. А Стрибор, как и ты, не в

состоянии усидеть на месте!

— Майя приехала?

— Майя приезжала на Новый год. Она всю себя посвящает Дуне, обращается с ней как с принцессой.

— Мисо говорил о Дуне: в семье появилась настоящая дама. Как это чудесно иметь в семье даму! Дамы не ругаются, не носят грубых башмаков и конечно же не пьют пива. Она ведь такая?

— Даже лучше! Она говорит по-французски, словно это сербский. Эмир рассказывал, что она пишет истории, как настоящая писательница.

— Слава богу! А как дела у Мисо?

— С ним все в порядке, он проводит целые дни, рыбача на Дунае, а Дела, должно быть, отправилась в очередную туристическую поездку. Я ею восхищаюсь, она объездила весь мир!

Внезапно мой отец замолкает. Сенка беспокоится:

— Ты здесь, Мурат?

— Да, здесь. Мне надоела эта каторга, моя Сенка.

— Послушай, что я тебе расскажу, Мурат: вчера вечером я заснула раньше, чем обычно, и увидела тебя: ты звал меня с собой.

— И что ты ответила?

— Что я пока не готова, но, когда я приду, тебе больше не удастся от меня отделаться. Дорогой мой, наберись терпения, однажды и это закончится.

— Ты действительно в это веришь?

— Конечно, каторга не может длиться вечно.

— Но смерть-то длится, моя Сенка!

— Ничто не вечно, просто наберись терпения.

Прошептав моему отцу эти слова утешения, мать собрала свои курительные принадлежности, сложила их в сумку и направилась к туннелю по дороге, где когда-то змеилась узкоколейка.

В иллюминаторе «Боинга» *JAT*, следующего из Белграда в Париж, сияло солнце. Лучи, согревавшие меня, грели также туннель, по которому сейчас шла Сенка, направляясь к своей квартире в доме номер 8 по улице Норвецка. По мере того как она исчезала в полумраке, ее тень увеличивалась. Старая женщина шла к концу туннеля, в то время как дети с веселыми криками носились в пыли за мячом.

Я летел на высоте десять тысяч метров, ощущая, как все мое тело наполняется солнечным теплом, и думал, насколько верно когда-то заметил мой отец:

— Сынок, смерть — это непроверенный слух.

notes

Примечания

1

Густые уварные сливки, снятые с кипящего молока и слегка закисшие.

2

Такое название в НАТО дали бомбардировкам Сербии весной 1999 г.

3

В Сараеве, в Старом городе, по краям улиц с крутым склоном установлены каменные лестницы, чтобы было удобнее подниматься.

4

Броз Тито, Иосип (1892–1980) — лидер Югославии с конца Второй мировой войны до своей смерти, маршал (1943), президент страны с 1953 г. — *Примеч. пер.*

5

Jugoslovenski Aero Transport (JAT) — югославская государственная авиакомпания.

6

Член хорватского фашистского движения.

7

Бальнеогрязевой и климатический курорт в Боснии и Герцеговине, расположенный в 5 км от Сараева (связан с ним трамваем). — *Примеч. пер.*

8

Насер, Гамаль Адель (1918–1970) — президент Египта с 1956 по 1970 г. — *Прим. пер.*

9

Телеграфное агентство Новая Югославия, ТАНЮГ (Telegrafska agencija nova Jugoslavia, TANJUG), основано в 1943 г. — *Примеч. ред.*

10

«Голый остров» — самый жестокий лагерь, расположенный на небольшом острове в Адриатическом море, куда Тито отправил пятнадцать тысяч граждан, симпатизирующих Коминформу после разрыва отношений с СССР в 1948 г.

11

Торговый квартал Старого города.

12

В юности Броз Тито работал официантом. — *Примеч. пер.*

13

Информационное бюро коммунистических и рабочих партий (1947–1956) — международная коммунистическая организация.

14

Франц Фердинанд (1863–1914) — австрийский эрцгерцог, племянник императора Франца Иосифа I, наследник престола. С 1898 г. заместитель главнокомандующего, один из инициаторов аннексии Боснии и Герцеговины (1908). Убит в Сараеве членами конспиративной группы «Молодая Босния». — *Примеч. пер.*

15

Квартал в Сараево с австро-венгерской архитектурой конца XIX в.

Аэродром возле г. Сараево. — *Примеч. пер.*

17

Пьеса Эжена Ионеско (1909–1994), французского драматурга румынского происхождения, отвечающая принципам «театра абсурда». — *Примеч. пер.*

18

Название божества у североамериканских индейцев. — *Примеч. пер.*

Jugoslovenska Narodna Armja — Югославская народная армия.

Сливовая или иная фруктовая водка. — *Примеч. пер.*

21

Здесь небольшая путаница в датах. Юрий Гагарин погиб в марте 1968 г., футбольный клуб «Сараево» стал чемпионом Югославии в 1967 г., а вот песня «Дилайла» *(Delilah)* действительно взлетела на пик популярности в 1968-м. — *Примеч. ред.*

22

Сапог с острым носком и скошенным каблуком. — *Примеч. пер.*

23

Один из самых успешных исполнителей поп-музыки на территории бывшей Югославии. — *Примеч. пер.*

24

Город на северо-западе Боснии.

25

Спортивный центр в Сараеве.

26

Сербское монархистское движение, которое Тито обвинил в сотрудничестве с врагом.

27

Умозаключение, в котором из двух ранее установленных суждений, называемых посылками, получается третье суждение. — *Примеч. пер.*

28

Известная югославская актриса того времени.

29

Андрич, Иво (1892–1975), югославский прозаик и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1961 года. — *Примеч. пер.*

30

Название акций протеста, во время которых манифестанты имели обыкновение метать в административные здания и неугодных чиновников пакетами с йогуртом. — *Примеч. пер.*

31

Политическое движение, стихийно возникшее в Хорватии в начале 1970-х гг. и ставившее своей целью расширение прав хорватов в федерации СФРЮ. — *Примеч. пер.*

32

Грабал, Богумил (1914–1997), знаменитый чешский писатель-прозаик и поэт, номинант Нобелевской премии 1994 года. — *Примеч. пер.*

33

Повстанец-партизан на Балканах и в Венгрии в эпоху турецкого владычества. — *Примеч. пер.*

34

Управление государственной безопасности.

35

Итальянский актер, сценарист, продюсер и спортсмен. — *Примеч. пер.*

Весна *(итал.)*.

37

Диллинджер, Джон (1903–1934), американский преступник, грабитель банков, два раза бежавший из тюрьмы. — *Примем, пер.*

38

«Bijelo Dugme» («Белая Пуговица») — рок-группа из Боснии и Герцеговины. — *Примеч. пер.*

39

Ничейная земля *(англ.)*.

40

Михич, Гордан — сербский писатель и журналист, родился в Боснии в 1938 г., сценарист фильмов «Время цыган» и «Черная кошка, белый кот».

41

Обычай, состоящий в том, чтобы пролить несколько капель из своего бокала в память о покойном.

42

Коммунистическая партия Югославии.

43

Информационный журнал, в котором пишут статьи известные люди в области искусства, науки, спорта.

44

Новая волна, отличающаяся черным юмором.

Бецкович, Матия — член Коронного совета Сербии (Совет выступает за восстановление в Сербии парламентской монархии). — *Примеч. ред.*

46

Джилас, Милован (1911–1995) — югославский политический деятель, некоторое время занимал пост вице-президента страны (при И. Броз Тито); в 1954 г. за диссидентские взгляды смещен со всех постов, подвергся тюремному заключению. После освобождения занимался литературно-философским творчеством. Самая известная книга — «Новый класс», повествующая о партийной номенклатуре. — *Примеч. ред.*

47

Здесь следовало бы сказать «экс-президента», так как в указанное время президентом Югославии (председателем Президиума СФРЮ) был Мика Шпиляк. — *Примеч. ред.*

48

Михайлович-Михиз, Борислав — сербский писатель-националист, один из заключенных «Голи-Отока». — *Примеч. ред.*

49

Торговец скотом, добровольцем сражавшийся против Турции в конце XVIII в. по призыву Австрии.

50

Селимович, Меша (1910–1982) — боснийский писатель, автор романа «Дервиш и смерть».

51

Главные произведения писателя Иво Андрича.

52

Британцы, снявшие в 1974 г. культовую комедию «Монти Пайтон и Священный Грааль», высмеивающую набор человеческих ценностей. — *Примеч. ред.*

53

Прозвище Ненада Янковича, певца и композитора группы *«No Smoking Orchestra»*.

Остаться мне или уехать *(англ.)*.

55

Антифашистский совет народного освобождения Югославии, созданный в 1942 г. для управления территориями, контролируемыми партизанами.

Шувар, Стипе (1936–2004) — председатель Президиума ЦК Союза коммунистов Югославии в 1988–1989 гг. — *Примеч. ред.*

57

Эрих Хонеккер (1912–1994), немецкий политический деятель, многолетний руководитель ГДР. — *Примеч. пер.*

Руководители социалистических Румынии, Албании и Болгарии.

59

Гавел, Вацлав (1936–2011) — чешский писатель, драматург, диссидент, правозащитник и государственный деятель, последний президент Чехословакии (1989–1992) и первый президент Чехии (1993–2003). — *Примеч. пер.*

60

Капор, Момо (1937–2010) — сербский художник и писатель.

61

Ковацевич, Душан (род. 1948) — драматург, сценарист фильма «Андерграунд».

Следует уточнить этапы распада СФРЮ (по датам провозглашения независимости). 1. Македония — январь (принятие Декларации о государственном суверенитете)/сентябрь (по итогам референдума) 1991 г. 2. Хорватия — июнь 1991 г. 3. Словения — июнь (принятие Хартии о независимости)/октябрь (провозглашение независимости парламентом) 1991 г. 4. Босния и Герцеговина — апрель 1992 г. 5 и 6. Черногория (по итогам референдума) и Сербия (до этого образовывали Союзную Республику Югославия, провозглашенную в апреле 1992 г., затем, в 2003–2006 гг., конфедеративный Государственный Союз Сербии и Черногории) — июнь 2006 г. 7. Косово и Метохия — февраль 2008 г. — *Примеч. ред.*

63

Какой благородный народ! Они сражаются за свой бар. Никогда еще такого не видел *(англ.)*.

Это что, реклама к фильму ужасов? *(англ.)*

Это наш писатель, лауреат Нобелевской премии *(англ.)*.

За что же они его так? *(англ.)*

А откуда взялся этот журнал? *(англ.)*

68

Конституция 1974 года дала мусульманам Боснии мусульманскую национальность.

69

Но это же не смешно! *(англ.)*

Жуть какая-то! *(англ.)*

71

Я не знал, что вы производите так много оружия! *(англ.)*

Я тоже. Услышал об этом лишь несколько недель назад! *(англ.)*

73

Карвер, Раймонд (1938–1988) — американский поэт и новеллист. — *Примеч. пер.*

Слово, придуманное самим Эмиром Кустурицей для обозначения «интеллектуалов с насупленными бровями».

75

Это не самое лучшее из того, что он создал, но все же… *(англ.)*

Боюсь, это может повториться снова *(англ.)*.

Перевод О. Кутасова. — *Примеч. пер.*

78

Поразительно. Если это считается худшим, что же тогда лучшее? *(англ.)*

Это. А вот это… если где-то существуют другие миры, я послал бы им это произведение для изучения. Прекрасный пример тяжелой истории человеческого рода *(англ.)*.

Республика Сербская Крайня, бывшее непризнанное сербское государство на территории Республики Хорватия. — *Примеч. пер.*

81

Янкович, Ненад — певец, лидер группы *«No Smoking Orchestra»*, которая изначально (о 1981 г.) называлась *«Zabranjeno Pusenje»* («Не курить»). — *Примеч. ред.*

Вот видишь! *(англ.)*

Ты о чем? *(англ.)*

Мои друзья любят Лу Рида *(англ.)*.

85

Твоя мать Сенка спасла мне жизнь, она великая женщина! *(англ.)*

86

Сербский писатель и политический деятель, родился в 1921 г.

87

В 1990 г. Адил Зульфикарпашич основал Мусульманско-боснийскую организацию (МБО), в целом выступавшую против любого этнического доминирования. — *Примеч. ред.*

88

Партия демократического действия (боен. *Stranka Demokratske Akcije* — SDA) — национальная партия боснийских мусульман, основанная в 1989 г. Изетбеговичем.

89

Регион на юго-западе Сербии и севере Черногории, в основном населенный мусульманами.

90

Боснийская мусульманская дивизия, созданная по инициативе Гиммлера в 1943 г.

91

Театральное представление с элементами импровизации. — *Примеч. пер.*

Это связано с людьми из Сандьяка? — *Примеч. пер.*

93

Сегодня занятий не будет, у Эмира скончался отец *(англ.)*.

Жена эфенди, мусульманского чиновника.

95

Теннисный локоть *(англ.)* — воспаление суставной капсулы локтевого сустава, вызванное игрой в теннис. — *Примеч. пер.*

96

Православный обычай, празднование дня семейного святого.

Очень красиво, похоже на ваш дом в Високо *(англ.)*.

98

В тексте допущена неточность. Федерико Феллини скончался в Риме в октябре 1993 г. — *Примеч. ред.*

99

Юкич, Иван (1818–1857) — монах-францисканец, редактор «Босанского приятеля», первого литературного журнала в Боснии и Герцеговине. — *Примеч. ред.*

Batiment et Travaux Publics (франц.) — сектор строительства и общественных работ. — *Примеч. пер.*

101

Стефан Малый управлял Черногорией с 1767 по 1773 г., выдавая себя за русского царя Петра III.

102

Термин, введенный в 1840-х гг. австро-венгерскими националистическими деятелями для обозначения национально-освободительной борьбы славянских народов. — *Примеч. пер.*

103

Совет, созданный при престолонаследнике Александре Карагеоргиевиче, потомке королевской династии в Сербии, а затем в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (1918–1929) и Югославии (1929–1945). — *Примеч. ред.*

Модно *(англ.)*.

105

«Крутая» культура *(англ.)*.

106

Жители Динарских Альп, горного массива Балкан.

107

Сербская республика, одна из трех составляющих Боснии и Герцеговины.

108

Караджич, Вук Стефанович (1787–1864) — сербский писатель и лингвист.

109

Культурный и деловой центр Сербии, один из крупнейших в Европе, чья деятельность включает в себя организацию конгрессов и всех видов художественных встреч и событий. — *Примеч. пер.*

110

Второй по величине город Словении.

Все эти люди — националисты *(англ.)*.